

Колоде
Сергей



Всего 100
1908

Дорогая
Танюшка!

Поздравляю тебя с
днём рождения, желаю
тебе самых наилучших успехов в
твоей наилучшей жизни.

7 марта 1959 года. От Маши.

через 5 минут
возвратит
обратку.



Н. ПОПОВА

ПОДВОЗЧАЯ

Уральская быль

I

Отец у меня был несчастливый. Всю жизнь ему не-счастливилось. Где другим гладкая дорога, ему все пень да колода.

Он был молчаливый у нас, роста большого. Мать против него пугливой была, пичужкой. Я первый год в школу ходила, когда отец слег. Мама потом рассказывала: привез сено, а отметывать не стал. Переступил порог в избу, ка-а-к мотнуло! Он схватился за косяки и будто испугался — смотрит на маму, молчит. Потом посидел на лавке, провздыхался и до постели дошел. Мать пимы с него стащила, ревет. А он скинул чистую подушку, лег и сказал:

— Знать-то, мать, не встану.

С этого самого дня мы и начали нищать. Что выробит мать, тем и жили. А что ей выробить, когда, например, молотили по пятаку с овина.

Сначала мы лошадь продали, потом свинушку, потом хомут, сбрую... дровнишки там, телегу... Венчальное платье мать продала, сатинетовое стеганое одеяло.

Мотали, мотали и размотали все в недолгое время. Меня перестали в школу отпускать. Я дома и сварю,

и подмету, и отцу подам напиться или ведро, или что...

Плохо я управлялась. Поддену чугуна ухватом, а поднять — силенки нет. Однажды вздумала вытащить корчагу со щелоком, расплескала воду, и обдало меня паром. Отец видит, что я реву, сполз с кровати, помог. Потом сел на лавку и задрожал.

— Плохие мы с тобой стряпки, милая дочь. Придет мать — заругается.

Он в то время почему-то стыдился матери. Зашумит она надо мной, а отец лежит, будто виноватый, и только подмигивает мне: ничего, мол, Паня, пошумит да перестанет.

Однажды пришел к нам Кочеток. За что его так прозвали, не знаю. Такой был мужичонка шустрый, крутенький. Он не сеял, не пахал; он рыбу удил, да по покойникам читал, да бегал на посовушках — на побегушках. В городе сколько раз бывал. Звали его письма читать и ответы писать.

Пришел этот Кочеток и кричит с порога:

— Чего, Андрюша, развалился? Вставай, вставай, рыбачить пойдем. Гляди, какого налима тебе приволок! Ешь да оздоравливай.

— Отрыбачил я, — сказал отец.

— Вот я тебя поправлю, — говорит Кочеток. — Хозяюшка нам ушки сварит, а мы поглядим, откуда у рюмки ноги растут..

И вытащил из кармана шкалик и из-за пазухи другой.

Ну, выпили они, похлебали ухи. Отец разругался, слеза его прошибла. Тяжело ему было умирать, не пристроивши нас..

И сказал он тут, что продал бы тело свое и душу, чтобы нас успокоить.

— Да кому, — говорит, — меня надо? Разве — на подмылье...

Вдруг Кочеток вскочил, засуетился, ногами так и скет. Вначале мы не поняли, что с ним. Потом растолковал: в городе, в музее, скелеты покупают — сам видел, там скелет стоит, и за такое поругание дают большие деньги. Не всякий согласится, чтобы его тело в чану варили да косточки проволокой связывали и на поглядку выставляли...

Тут я взревела, кинулась к отцу, припала, сердчношко колотится, кричу на Кочетка:

— Я тебе такую пакость устрою! Такую пакость устрою!

И мать на него закричала. Но отец нас унял, приказал молчать, и стали они с Кочетком говорить об этом.

— Сотню дадут?

— Смело!

— А может и две?

— Быть может.

Думал, думал отец, ночи не спал, все считал чего-то на пальцах, а в воскресенье сказал Кочетку:

— Ну, грамотей, садись — пиши. Надумал.

Вот это письмо они и написали:

«Ваше благородие. Извините меня за такое прошение, о котором я много слышал от людей. Я много слышал, что многие люди продают свои кости, когда человек умирает, и так я бы хотел и оказать свое желание, если возможно и правда, то прошу дать ответ, какие условия, я хотел бы знать раньше. Остаюсь верный ваш будущий слуга Чирухин Андрей Васильев».

И горько и смешно... Вот они чего написали, грамотей!

А в уголке наискосок — это ответ от начальства: «Постановлено сообщить Чирухину, что в музее человеческий скелет есть, а во втором надобности нет и рекомендовать обратиться в университет».

Ну, уж дальше и сам Кочеток хода не знал.

Отец мой вскоре скончался. Очень жалела я тятю.

А мать мне наказала:

— Береги, Паня, это письмо. Большая вырастешь — вспомнишь, как для нас с тобой он душн не жалел.

II

Вот никак не пойму людей. Только начнут рассказывать о нужде или печали — и давай жаловаться. Терпеть не могу! Кого горе миновало? Никого. Так если все расхнычемся — не дай бог... Недаром говорится: посылно горе со смехами, непосильно со слезами. Бывает, пристукнет тебя горе, с ног свалит, — повоешь,

повоешь и опять вверх головой ходишь. Такой уж характер у меня. Вот и девчонкой была... В другой раз избидят тебя ребята, прокуксишься, а жаловаться не пойдешь.

Было мне девять лет, когда я пошла борноволочить. Зиму и лето жила в няньках, а весну и осень в борноволоках. Десяти лет на двух лошадях боронила: на передней верхом еду, а задняя за мной идет. В ту же весну Бобошин Викул подымал новь на лесном на пожарище. Меня послал прутики — березнячок — выдерживать. До кровавых мозолей доробилась... Зато вечером дадут тебе коровашек хлеба да туюсок молока — и задуваешь к маме, только пятки сверкают!

Мама моя в ту весну слегла и больше не поднялась. Билась я так до четырнадцати лет. А с четырнадцати стала жить прислугой у дьякона. Чернобородый был такой, веселый... По двенадцати батраков летом за стол садились. Я для всех стряпала. По два раза в день хлеб пекла, ворочала ведерные квашонки. Бывало, вечером налью себе чаю и засну сидя... Проснусь — чай простыл, тишина — все спят.

Потом перешла я к Викулу Бобошину.

Он считался первым в нашей Слободе. А Слобода была большая, богатая. В наших местах все держались земли, родила она хорошо. У кого нет своего хозяйства, — работали у кулаков. Викул Иванович по сто десятин засеивал. В Слободе были и тележники, и корзинщики, и гребенщики — гребни из рога резали... Все это Викул скупал и в город возил. Маслобойку имел, масло из конопляного семени жал. Не брезговал и ямщину гонять. Купец — не купец, а вроде того... Страшный богач. Дела вел большие.

Семья у него была: сам со старухой да сын Кольша с Анютой. Викул работников строжил, а перед старухой был тише воды. Она, говорят, сразу так повела себя, с первого дня. В его дела не совалась, а домом правила единолично. Он ее за красоту замуж взял. Ну, а в Викуле никакой красоты не было. Ножки имел короткие, косолапенькие, а туловище большое. Пригибушивал он к тому же... Так и поддался ей сразу.

Меня хозяева любили. Я весело работала. Хоть до смерти упластаюсь, а все посмеиваюсь да приговариваю.

Сам Викул меня не ругал, только уж посидеть, бывало, никогда не даст. А Оксinya Филипповна была неловкая: все ворчит, все ворчит, всем недовольна. Нищих терпеть не могла. У окна сидит, а сама не подает ни за что. «Панька! Беги подай, слышишь, нищие канючат». Чихала она очень противно: «Апчхай!» Стоит, бывало, у шестка и кричит мне: «Беги, Паиыка, суиь корчагу в печку». А долго ли самой суиуть? Ни в жизнь. Бежишь да и подумаешь: «Из тебя, толстомясая, три Паиыки выйдет». Аиюту, свою сиюху, она не любила. Сколько при людях говаривала: «Негожая у меня сиюшка, слабосильная». Вот тебе! Хоть стой, хоть падай. Кольша Бобошин первое время жену любил, заступался, а потом она ему надоела, бить стал.

Кольша у них, как орел, летел. Умел с человеком обойтись, уважить, а глаза глядели всегда с насмешкой. Вот только что говорит с тобой резонно и разумно, а уйдешь — он тебя всяко выдразнит, высмеет. Бойкий был. Что и делает! Попеть и поиграть, и поработать — везде первый был.

Ну вот, живу я у Бобошинных долго ли, мало ли. Стукинуло мне девятнадцать. Вижу — уходить придется. Стал Кольша со мной заигрывать. То хватит, то обнимет, будто в шутку, то похлопает.

Я ему говорю:

— Уходите, уходите, а то пощечину залеплю, что у тебя рожу раздует.

Он и попятится.

С той поры пошло у нас наперекор. Он старается меня подзудить, а я его. На ночь я стала запираяться на крючок. Думаю: «Уйти придется, а то он, окаянный, загубит меня».

Но скоро все переменялось.

Поехали мы хмелевать, хмель собирать. В крестьянском хозяйстве хмеля надо много. Он не только для пива идет. Опару делали на хмелевых дрожжах. Сваришь хмель, подболтаешь мукой, добавишь старого хмеля или дрожжей, они и подымутся. Пшеничные отруби зальешь горячей водой, а когда остынут, разведешь холодиенькой и добавишь хмелевых дрожжей. Опара подымется шапкой. Уж такой вкусный хлеб на этой опаре! Душистый, мягкий...

А в наших местах хмелевание вроде праздника было. До успенья, до пятнадцатого августа по-старому, никто не смел брать... Зарок был. Если у кого падет лошадь, соседи говорят: «Наверно, до успенья хмелевал».

Перед успеньем все готовят пойвы. Пойва — это мешок, в котором обручи вложены и пришиты к нему. Шишки в таком мешке не мнутся, и бросать их удобно в него.

В успенье к вечеру уезжают на хмелевые уголья целыми семьями.

Приедут, распрягут коней, похаживают, замечают, где больше шишек да где они крупнее. Гармошки заливаются, молодежь играет на лугу. А с двенадцати часов ночи, как запоет в Слободе петух, — по реке-то слышно, — все кидаются в согру, а согрой называют у нас заросли кустов по низине, — всяк кидается к своему кусту... Хмель ведь больше по кустам вьется. Вывалят из пойвы в телегу — и опять в согру. Некоторые по возу набирали. Ну, конечно, многие с пивом, с брагой приезжали. Так нахмеляются, что домой едут пластом, как мертвое тело.

Бобошин послал хмелевать Кольшу с Анютой, работника да меня.

Успенье считалось большим праздником. Хоть и в лес ехать, а всяк надел праздничную одежду. И я тоже. У меня было платье голубое с разводами, с усиками. Юбка широкая сборами, по подолу оборка. На голову подшалока белый надела, в косу ленточку... Честь честию.

Приехали мы поздно, — нас ведь не играть послали. Я все же немного попела с девицами, поиграла и пошла по сограм искать себе местечко.

Нашла. Уж до того были крупные шишки, до того пахучи, что как только я допьяна не нанюхалась! Обвил хмель черемуху над самой водой. Сажу, подпеваю, черемухи набрала, ягоды ем, сажу одна.

Стало темно, тихо. Слышу — песни на лугу. Река нет-нет всплеснет. Задумалась и не слыхала, как время прошлю.

Вот запел петух. Стала я ощутью шишки рвать и в пойву бросать. Слышу: сучья трещат, листья шуршат, кто-то идет ко мне. Я запела тихонько, голос подаю. Слышу, остановился невдалеке и тоже берет хмель.

— Ой, кто это?

Он мне отвечает:

— Свои. Ты чья?

— Андрея Чирухина. А ты чей? Не могу по голосу признать.

Он мне ответил. Это был Прокопий Чижов, молодой парень. Только что из солдат пришел. Слышать я про него слыхала, а видеть после солдатчины не приходилось.

Набрала я пойву, сходила опростала ее и опять на то же место пришла.

Рвем хмель, разговариваем. Он говорит тихо, разумно.

Обруснили куст, он зовет:

— Пойдем, Павла Андреевна, сюда. Я хорошие кусты заметил.

Я иду за ним и улыбаюсь. Меня по имени-отчеству он первый взвеличал.

Начало светать. Я жду. Мне интересно Прокопия посмотреть, какой он. Унес свою пойву, и что-то долго нет его.

Вот и заря разлилась...

На заре рыба играет, а река спит. Тишина, только в согре хрупоток стоят: люди ходят, сучки ломают. Меня в дрожь кинуло: роса пала. А от земли тепло идет.

Слышу, Прокопий продирается ко мне сквозь чащу.

Между кустов и веток еще темно. А листья так и сверкают.

И вот я вижу Прокопия. Идет на улыбочке. Сам кудреватый, долголицый, лицо чистое. В кубовой рубашке. Пристально смотрит на меня. Глаза, вижу, добрые. К волосам виточек хмеля прилип, над ухом шишка висит, сейчас вот помню...

У нас разговор почему-то оборвался. Берем шишки оба усердно. Потом вдруг я оступилась, выпустила пойву, сама за ветку поймалась. Хмель вывалился в реку. Не тонет, плавает, а достать нельзя.

Я говорю:

— Ой, хозяева заругаются!

А он молчком и высыпал весь хмель в мою пойву...

Вот этот Прокопий Чижов и стал моим суженым-ряженым. За него и вышла.

Сразу на ноги встать мы не могли.

Изба у него была плохая. Ни коровы, ни овечки званья не было. Жили мы дружно. Разве я когда напылю, а он все добром со мной. Был он видный, рослый. В жизни своей ни одного рубля не пропил!

Два года пробатрачили мы с ним у Викула, лошадь завели — Игренька.

Начали своим домом жить, да вдруг моего Проню взяли на германскую войну. Пошла опять к Викулу.

После этого Кольша совсем стыд потерял. До того дело дошло, что и верю пришлось его по щеке хлопнуть. Он думал, что если баба одна, так и делай, что хочешь... Да ие на ту нарвался!

Как-то Оксинья Филипповна говорит:

— Ой, Панька, уж ладно ли у вас с Кольшшкой? Он ведь у нас баской.

Я говорю:

— Отворотясь не нагладишься...

Она свое.

В конце концов я говорю:

— У меня свой мужик есть.

— Ну, где уж свой? Был бы живой, так написал бы.

А я в то время перестала получать от Прони письма.

Так мне стало обидно! Схватила юбку, — надо было подштаферку подшить, — а сквозь слезы не вижу. Тычу иголкой наугад. Хозяйка не унимается.

— Панька, ты бы хоть спросилась нитку-то брать. Никто мне ее даром не спрядет.

Я осердилась, дунула в стекло, погасила лампу и давай ложиться спать.

Нелегко было жить у Бобошинных. Старуха — негодь. Кольша проходу не дает. А сам старик год от году жаднее становится, все ему мало.

Например, в дождик все дома сидят, а он меня да пленного австрийца Осипа посылает гречиху жать.

— Тупайте, тупайте, гречиха воды не боится.

Вот тебе раз! Гречиха не боится, и мы не должны бояться.

По воскресеньям мы на крышу зерно пудовиками таскали, сушили.

Одна отрада была, одно утешенье — сбегаясь поворожить к бабушке Минодоре...

Ворожить было очень страшно. Зеркала у нее неясные, мутные. Она их наведет, поставит друг против дружки и велит смотреть... а там все рамочки и полосочки, как просека, все уже и уже. А в самом конце мелькает, дрожит... похоже, что стоит кто-то в шинели. Она мне все три года одно и то же повторяла:

— Живой, скоро придет, видишь — скоро!

Так и жила: поплачешь, попоешь да опять вверх головой ходишь.

Скрывать не стану, лез мне на ум Кольша, онились его бесстыжие глаза, но я держалась твердо.

Нарочно, бывало, пою — собиросничаю при нем:

Гуля-голубь, сизы крылышки,
Серебряный полет.
Полети-ка за Карпаты,
Где мой Пронюшка живет...

III

Весной, в восемнадцатом году, мой Прокопий Ефимыч пришел домой. Он большевиком стал, а я как была неосознательная, так и осталась.

Трудно ему пришлось со мной.

Первый день я опомниться не могла. Сразу в свою избу пошли. Бобошин задерживать не стал и рассчитался как следует: увидел у Проня красную-то ленту.

Проня взял тиски да топор, оторвал доску от окна. Хлынуло солнышко в нашу избушку, — я тогда только и поверила, что пришел мой мужик.

Набежали бабы, помогли мне стены обмести, пол выскоблить, баню вытопить. Кто картошки, кто хлеба тащит. «За вами не пропадет», — говорят. Спасибо им, помогли.

Проня с мужиками на дворе на травке сидел, газетку читали.

А мне все не терпится. Нет-нет, выскочу на крылечко. Бабы смеются: «Пришел, так уж никуда не девается». «Ну, Паня, завтра на ручке-то до полден проспишь!»

Сходили в баню, ночь пришла, а нам, конечно, не спится. Светать стало.

Наконец я говорю:

— Давай, Проня, спать. Ты с дороги да после бани... Спи, Проня.

А он не спит. Тут я схитрила.

— Постой, я окно отворю. Жарко...

Открыла окошечко, надышаться не могу. От радости слезы текут. Он зовет, а я будто не слышу. Наконец Проня заснул. Подошла к кровати, гляжу: он и не он. Темное лицо стало, суровое. Видно, что много перенес. Я стиснула зубы, руки сжала, думаю: «Ох ты, мой ты... незакатимый ты мой соколик!»

Очень уж любила я его!

Вышла на крылечко, сила так и ходит во мне.

Наш Игренька у свата жил,— хоть сейчас домой ведн. Вот я и думаю: «Все теперь будет, все наживем, есть в дому хозяин. Сена накосим, дров нарубим, осенью рожь поседем. Пойдут грибы — засушу, насолю. Черемухи смелю пуда два, боярки наберу, калнины. Хмелевать пойдем. Будет у нас и соленое, и сушеное, и пиво, и сусло, и кулага, как у добрых людей». Потом думаю: «Вот бы ягушечку, да козоньку, да курочек...» А у самой уж в мыслях: «Коровушку бы!»

По воду сходила. К рыбаку сбегала по свежую рыбу. Забежала к Бобошиным, табаку попросить. Самогонки чашку выпросила. Картошки сварила. Хрен заморила в стакане. Оделась, умылась и подшалок на плечи накнула, будто праздник.

А он к подшалку-то к этому и придрался:

— Откуда у тебя?

— Викул Иванович к празднику подарил.

А он посмотрел на меня вот так и спрашивает:

— За что он тебе дарил?

Я поняла, рассердилась. Обидно очень стало.

— Поди ты к чомору, если так.

Внжу, ему неловко.

— Ну, ладно, Паня, не куксись.

— Я по чужим мужикам не ходила, не шарилась.

— Да я знаю.

Тут мне стало смешно. Засмеялся и он. Потом я говорю:

— Завтра пойдем, Проня, дров порубим.

— Дай оглядеться, Паня.

«Ну, пусть отдохнет день-два»,— думаю.

А у него на уме совсем другое было.

К обеду пришел его дружок — Андрей Кудрин. Только что из города приехал. Узнал, что Проня здесь, и даже не оследился дома — к нам прибежал.

Обнялись они, выпили, закусили, наговориться не могут. Андрюша рассказывает, что и как в нашей Слободе, а Проня ему про войну.

Я сижу, а сердце мое начинает занывать, беспокоиться. «Вот, — думаю, — принесло немилого гостя!» Андрюша у нас по волости всеми делами ворочал, и я боялась, что он Проню моего втянет. Гляжу на него недобрыми глазами. Противно, как у него усы шевелятся. Усы у Андрюши прямо из носу росли. Очень он был волосатый! Сам росту маленького, а голос, как из бочки.

— Дружину вот обучать некому... Будешь, Проня?

А мой-то отвечает:

— Можно.

Поговорили они сколько-то, и Андрей опять спрашивает:

— Хлеб надо искать, в разверстку сдавать. Позарывали. Мы тебя выберем. Пойдешь?

— Отчего не пойти.

Я сижу — не дышу. «Господи, — думаю, — куда он свою головушку сует?»

А Андрюша свое:

— Да, брат Прокопий, видно, не отвоевались мы еще. Дутова искоренили, да, видно, будет еще таких. Вот чехи переворот сделали в Челябине. Слышал?

А мой:

— Слышал... Ну что ж, воевать так воевать.

Я думаю: «Не дам ввязаться! Ночная кукушка... перекукую».

И говорю им весело:

— Да будет вам, мужики, чего не надо говорить. Еще не навоевались! Выкушайте лучше вина да песню спойте.

— Не бойся-ко ты, не бойся, — говорит Андрюша. — До самой смерти ничего твоему Проне не будет. Недавно вот камнем мне в окошко запалили, да только геранку у Кати сшибли, больше ничего.

Он хохочет, а мое сердце занывает все сильнее.

Только проводили Андрюшу, я и давай своего мужика просить:

— Не к чему тебе ввязываться. Столько лет страдал да опять... Хозяйство надо подымать.

Ласкаюсь к нему, прошу, чтоб меня пожалел.

Прокопий молчал, молчал, да как оторвет с сердцем:

— Нельзя мне в стороне стоять.

— Да почему же, Проня?

— Я ведь, поди, коммунист.

Я так и заревела. У меня чуть свет из глаз не выкатился.

Ну, не дура ли я была?

IV

Очень обижалась я на Проню. Корю его:

— Думала, хозяин пришел... а как была сиротой, так и быюсь.

Он сам в хозяйство свое не вникал и других мужиков расстраивал.

Соседушка наш навозил лесу из монастырской рощи, начал баню да ворота строить. Вознес высокую перекладину. Мой говорит: «Что — обзаводишься хозяйством?» — «Да, хочу подзаняться». — «Давай подзаймись! Вот начнется война — у тебя и перекладина готова: есть куда повесить буржуазее...»

Ходил, хлеб искал, самогонные аппараты ломал... Ничего не страшился мой Прокопий Ефимыч.

Я говорю ему:

— Богатый-то, Проня, думает: «Не буду сеять, все одно отберут», а наш брат: «Зачем сеять? Все одно дадут». Вот никто и не посеет. Вам же хуже.

— Заставим лодырей, — отвечает Проня.

Я рассержусь и подкушу его:

— На то, видно, и свобода!

Раз мы чуть не подрались из-за Бобошиных. Я стала уговаривать:

— Ты бы, Проня, похлопотал насчет Викула Иваныча... все ж таки я у них жила... неловко.

— Брось дурака валять.

— Хорошо ли, Проня, сам подумай. Они меня кормили, одевали.

- Ну, их в озеро башкой!
- Хозяйка и то меня всяко выкорила.
- Плюнь ей в простакишные глаза.

Я рассердилась.

— Да что ты про себя думать стал? Править захотел? Не к рукам куделя! Андрюшка обведет тебя круг головы да в пазуху.

Он закричал:

— Не блажи!

Я закричала:

— Не засыкай рукава, не испугалась... Дался вам Викул да Викул... В чужих руках кусок больше кажется.

Прокопий не стерпел и замахнулся на меня.

Я так и взвилась. Молодая была, горячая... Не миновать бы драки, да ворота стукнули, вижу — соседка бежит. Ну, я и встала к печке, как ни в чем не бывало. Не станешь при чужом человеке своего мужика срамить. Никто не увидит, как помирились, а всяк знает, что пошумели. Из своего дома дыры затыкать надо, а не растыкать.

Я всегда за него стояла перед другими. Проню ругают, а я что, молчать буду? Ни в жизни!

Бывало, бабы говорят мне, что вот твой-то хлеб отбирает. Я отвечаю:

— Ой, бабы, вы бабы, горя будет вдвое, как белые придут. Вот ваши мужики разверстку не сдают, зажимаются, а без хлеба как наши воевать будут? Об этом вы подумайте.

— Бойчишься, потому что с вас взять нечего. Своего всякому жаль. Мы заработали, а коммунисты возьмут.

Я отвечаю тихонько:

— Ну, вот к слову, мы — коммунисты. А мы вашего не едим, свой кус гложем.

— А рабочим зачем хлеб травят?

Я им опять:

— Подумайте-ка, бабы, всяк на своей работе трудится. Надо накормить и рабочих.

— Больно нужно! Весь свет не накормишь.

Тут уж я рассердилась.

— А и верно, — говорю, — на кой ляд нам хлеб отдавать? Не отдадим, надольше хватит. Лучше на печке положим.

— Конечно, лучше.

— Верно, лучше. А слезет такой хозяин с печки щи хлебать, а щи-то несоленые. Из-за него, из-за лежня, на всю волость соли не отпустили.

Разгорячусь, бывало, до того, что прибегу домой и отдышаться не могу.

Проня спросит:

— Чего ты, горячка?

А я ему со зла:

— С бабами щепалась, все за вашу за власть.— Я в сердцах быстро говорила, так и секу. Меня за это «пулеметом» прозвали.

Вот так и жила в то время. С бабами поругаюсь, с Проней размолвлюсь... Сердце слышало, что нам плохо будет. А я и думать не хочу об этом, отгоняю думу, работаю, как собака. Пожоя себе не знала.

Я и по дрова, и на мельницу, и на покос, и по дому — и мужичью и бабью работу тащила на себе.

А Проня почти не жил дома.

Ему бы поговорить со мной тихонько, вразумить меня, а он в то время, видно, считал, что политика — не бабьего ума дело.

Сердило меня — они пальбу устроили в огороде.

Сидишь в борозде, полешь и слышишь: «Бери ровную мушку!», «Жми на хвост!» Мой Проня учил их. С парнями, с мальчишками занимался. Начертит углем мишень на бане — черный круг. Меня зло брало. Это ли хозяин — в свою баню палит!

Ох, и смех и грех... Утюг, бывало, мой возьмут. У одного дружинника, у Микишки, рука дрожала, так Проня ему велел с утюгом подзанияться, чтобы дрожи не было. Заставлял на весу держать тяжесть.

Так бы вскочила и закричала на них:

— Пошелте, пошелте отсюда, все гряды истоптали!

Только неправда это: гряд они не топтали, не озорничали.

Плохо мне жилось.

Работаю, реву и думаю: «Для чего это? Белые придут красных счищать и нас не помилуют».

Белых каждый день ждали.

Кулаки стали убегать, куда-то скрывались. И Викул и Кольша — оба убежали.

Приезжали к нам два солдата-агитатора. Ну, говорили и уехали. А наутро их нашли на тракте, на

пятой версте. Лежат рядышком. Одному на грудь записка приколата иголкой от боярки: «Пропали, собаки, хороните, кому родня». Ночью стало страшно на свой двор выйти. Накроют еще тебя тулупом и отмолят, как надо. Вечером перед окошком не садись: камнем свистнут.

Чуть было Андрюша Кудрин не погнб.

Поехал он в город — отряд просить на помощь. Ну, от волости до волости ехал на подводах. Только из Елани выехали за поскотину, ямщик и хотел его осадить, немецким шпионом обругал. Андрюша выхватил наган: «Это чем пахнет? Вези!» Так под прицелом и вез до другой волости.

Доехали до Полудницы, там Андрюшу спрашивают: «Ты не коммунист ли?» — «Коммунист». — «Плохо ваше дело. У нас вчера поручик Гурьянов отряд вербовал». — «Ничего, за мной большой отряд идет». — «Все ж так не ездят по тракту. Сторонкой-то спокойнее».

В город он съездил почти что зря. Там сами просили помощи из Екатеринбургa. Полк формировали. Андрюше сказали: «Оружия дадим, а людей нету. Управляйтесь сами». Ну, дали винтовок немудренских, пулемет, ленты, патроны. Андрюша уж промолчал, что из пулемета некому стрелять. Думает: «Научимся».

Отряд сблотившийся подходящий.

Наши слободские отрядники дома кормились, а деревенских человек по пяти прикрепляли к богатым мужикам, заставляли хозяев варить обед и ужин.

Вдруг узнали, что в Грязнухе свергнута советская власть.

Пошел наш отряд туда. Андрюша за командира.

Бандиты, увидев отряд, убежали, да не все. Одного заправилу поймали.

Андрюша допросил его, велел расстрелять и сказал:

— Грех беру на себя!

Потом созвал сход и говорит мужикам:

— Следить должны!

На колокольне у нас дежурные стояли день и ночь, а у поскотины — караул. Без пропуска ни взад, ни вперед не пройдешь.

Я однажды на покос иду, а пропуск не взяла, забыла. На часах у ворот Микнша стоял. Не пускает меня да и только. Думаю: «Одурел от жары, не узнал». В ту

пору так было жарко, что босой ногой на землю не ступи — шекотит подошву.

— Не узнал ли, чего ли? Не дурн, докашивать надо.

— Давай пропуск.

— Брось баловать. Ворочаться мне, что ли, за твоим за пропуском?

— Надо, так воротнись.

Знал свое дело Микнша!

— Да ну тебя к чомору, — отошла я от Микнши и перелезла через поскотину. А он стоит и не знает, что делать.

Худо ли, хорошо ли, сгребла я сено, скопчила и прошу Проню:

— Съездим, смечем зарод!

Проне стыдно стало передо мной, он пообещал на один день отпроситься да еще прихватить мужников. А в этот самый день белые-то и появились.

Как ударил набат да началась пальба, я от ума отстала.

Побежала к волости, а там отряд строится. Проня мне вот так махнул рукой, простился.

Но боя в тот день не было. Белая разведка наезжала. Пугнули их, они и ускакали.

С того дня совсем строго у нас стало. Везде караулы да дозоры. Отрядники спали в полглаза. Слышим-по-слышим — в Грязнухе опять белые. Вот беда-то! Отступать надо. А наши все надеются: «Вот подойдут отряды из города». Отступать от своего места не хочется.

Проня мой пулеметчиком стал. Пулемет свой он навывал «сеялкой».

Однажды я ему говорю:

— Что только и будет, Проня? Вот опять ты воюешь, здоровье тратишь. Я вся истряслась. Все думаю: набегут, снимут наши головушки. Рекруты у нас неученые.

— Помучатся, так научатся.

— Ну, а если белые набегут?

— Пусть сунутся. Я как запущу свою сеялку!

— А что одна твоя сеялка?

— Да мы их гранатами, как рыбу, глушить будем.

Успокоил меня, обнадежил. Я в ту ночь крепко спала. А утром проснулась от пальбы. Кинулась к окошку, вижу, по тракту полным-полно солдат идет.

Ноги у меня подсеклись. Села на лавку, обливаюсь слезами. Поняла, что нету наших, отступили. Проня не простился, ушел.

Сижу, читаю в уме «Живый в помощи вышнего», а мысли путаются, слова все позабыла. «Как же, — думаю, — он без меня отступил? Неужели нельзя было весть подать?»

V

Вскоре прибежала ко мне Андриюшина жена — Катя. Из глаз слезы, как горох...

— Ты что, Катя?

— Как не плакать? Ушли, нас оставили. Что нам теперь будет?

Села на лавку, ревет. А я хожу, прячу куда что. Был кусок духового мыла да тюричок черных ниток, я спустила их под крылечко. Пронины рубахи да свое платье снесла в баню под полук. И шубы туда же за-толкала.

Катя говорит:

— И мне надо прятать да самой куда-нибудь уйти. Уйдем, Паня.

Проводила я Катю, заперла двери, окошко, сижу. Прижалась, как заяц, не знаю, что делать. Вдруг вижу, — мимо окна кто-то мелькнул: «Не Проня ли?» Стучит. Я вышла тихонько в сенки, иду на пальчиках. А это был Кольша Бобошин. Рвет двери и говорит:

— Отворяй, Павла, покаешься, если не отопрешь.

Я откинула крючок: все-таки наш, слободской, чего его бояться...

Кольша схватил меня за руку, торопит:

— Айда скорее задами, пойдем к нам. У нас тебя не пошевелят.

Я думаю: «И верно, у них меня не потрогают». Ста-ла собираться. А он подошел ко мне, за плечи, вот так вот, повернул к себе, глядит в глаза:

— Будешь моей, Паня, сохраню.

Я как засмеюсь ему в лицо. Весь страх прошел. Он говорит:

— Тебя не помилуют, ты за советскую власть высказывалась. Подумай, пожалей свою голову.

А сам плечи мне стиснул и тянет к себе.

— Снасильничаешь — утоплюсь, — говорю я.

— Насильно мне тебя не надо. Да ты ведь, Паня, любишь меня. Я разве не вижу.

— Я, — говорю, — лучше душию козла полюблю. И в слезы.

Он отошел от меня, за скобку держится.

— Ну, пейяй на себя.

В тот же деиь всем нам, у кого в семье коммунисты, устронли дерку.

Аидрюшного отца насмерть застегали, а нас с Катей — до беспамятства. Я не сразу далась. Борюсь, глаза зажмурила, только кофта трещит. Всю избили, пока под шомпола легла.

Мие смёрть казалась слаще, чем такой стыд.

Опомнилась в сенках у бабушки Мииодоры. Меня берегом к ней притащили. Она на берегу жила.

Спасибо бабушке, не бросила меня. Ну, да она нам своя была, тетка моего тяти. Мазь варила, мазала мои раины. А там, где было не просечено, прикладывала картофельный сок. Натрет соку и приложит. Он хорошо жар вытягивает.

Да что греха таить, — я пошепчет, бывало, надо мной. Я хорошо знала... а сейчас только помню: «Зашей рабе божьей Павле раиу шелковой ниткой, булатной иглой, кость бы не ныла, кожа бы не шипела...»

Спасибо ей, она и лечила, и кормила, и убирала за мной.

Дней пять я неподвижно лёжала у нее в сенках.

Лежу, думаю: «Куда я деваюсь? Срам оставаться здесь драиной, а наши ушли — не догоишь».

А тут еще Кольша пришел вечером, стращает:

— Тебе не то еще будет. В тюрьму вас хотят садить. Будешь моей — сохраню.

Я говорю ему с усмешкой:

— У тебя разве нет своей-то?

Он отмахивается:

— Что мне она! Слушай, Паня, уедем в Сибирь, будем там жить.

— Ты что меня на грех наводишь? Я тебе не...

А Кольша перебивает:

— Развод у архирея выхлопочу... или сам Анну решу.

Не до смеха тогда было, а я рассмеялась.

— Мне тебя, Коля, не надо. У меня свой мужик есть, получше тебя. И не ходи сюда, Николай Викулович. Где у тебя стыд? Я тебя прогоняю, а ты идешь. Какой ты мужик после этого?

Тут он замолчал, повесил голову, брови сдвинул.

— Смотри, Паиыка! Я не я буду, если твоего Прокопия не зашибу.

Я говорю:

— Ищи ветра в поле!

Бабушка Минодора весь разговор слышала. И, только Кольша ушел, она мне говорит:

— Ты так хуже растравляешь его. Поманивай, он и будет поспокойнее.

— Видеть его не могу, бабушка.

— Вот обожди, вылечу тебя, и ты уйдешь в дальнюю деревню. Здесь все равно тебе не житье. Да и жить тебе не у чего.

И правда. Зерно у нас выгребли, окна и двери высадили. Пол даже изрубили.

Спосылала я бабушку в баньку. Ничего она под полком не нашла. Я среди дня тогда бегала с узлами-то. Какой-нибудь варнак подглядел да и украл.

Вскоре я вставать стала, а там и бродить начала. Сползала домой, повыла. Сердце во мне кипело. Так бы и спалила их, кулаков этих вредных!

И решила я к своим пробираться. Наши вот уже две недели стояли за Елаею, от нас двадцать верст.

Сшила себе кошель, как у нищейки, простилась с бабушкой, от Кати поклон приняла и пошла по тракту. «Иду, мол, по миру, работать не могу, жить не у чего.»

В тот день с утра парило. Курицы пурхались в песке, вороны по земле ходили,— по всему видно: дождик будет. Духота. Нет-нет, ветер подымет, гонит пыль навстречу. Потом упадет, и опять все тихо, только кузнечики трещат.

Места у нас ровные, плоские. Я иду, смотрю на поля, и так тяжело моему сердцу. Протянись война год-другой, совсем обесхлебает волость. Вой сколько пустшей лежит! Хоть и разубраны они цветами, а глядеть на них невесело. А если где и поднята пашня,— разве это хлеб? Гляжу и думаю: «Вот это, наверно, вдовый клин». Колоски заострились на четверть над землей, зерна щуплые, заносит их пылью. Чем взять такой колос — сер-

пом или литовкой? Хоть руками бери. Изморили мы землю, вот она и не стала родить.

На десятой версте бойкая речка бежит, Межница. Я спустилась на бережок, умылась, поела луку с хлебом. Речка булькает, от нее холодом тянет. Отдохнула я, повеселела. «Одна голова не бедна», — думаю. Как вспомню, что к Проне иду, так и опахнет радостью.

Отдохнула, вылезла на тракт, сенца потерябила из зарода, в обутки положила. Ногам стало легко, сухо. Разошлась, размялась, и боли не стало.

И не заметила, как до Еланн дошла.

Сначала показалась колокольня, потом мельница, потом и все село. Оно на ровном месте раскинулось. Справа — река, слева — бор.

Вижу, у поскотины стоит караул. Я своротила на межу, обошла лесом и переметнулась в чей-то гуменик. А оттуда в переулочек.

Подошла к самой плохонькой избушке, попросила напиться. Спрашиваю:

— Тетенька, у вас давно белые-то?

— Да недели с две.

— А много их?

— Бес их знает, везде мельтешат. А ты сама-то чья?

— Слободская. Пожар у нас был, погорелка.

И пошла я по селу с припевом:

— Сотворите святую милостину ради Христа.

А сама думаю: «Все выгляжу, высмотрю и нашим скажу».

Подавали плохо. Махнут рукой: «Бог подаст».

Обошла все село. И штаб видела, и кухню, и обоз, и солдат, — где что, в каком дворе. Мне говорят: «Нельзя», а я, как глупая, лезу со своим кошельком, выматриваю.

Потом вышла за поскотину и гляжу в ту сторону, где наши стоят. Вижу — мужики и бабы окопы роют. Тут же солдаты стоят, подгоняют.

Окопы тянутся вдоль села. Глубокая канава в полсаженн шириной. Землю клали валом перед окопом.

Мужики работают нехотя, молчком. И все на небо поглядывают. Солнышко к закату идет, а духота, как в полдень, даже еще глуше. Солнце пленкой затянуло. Полнеба закрыла туча черная, искрасна. Такая туча

никогда безо вреда не пройдет. Молния сияет, гром слышно.

Неподалеку от окопов, на горочке, стоят пушки. В первый раз в жизни их видела. Белые кругом натыкали веток, чтобы их не видно было.

Кустик за кустик, пошла я к лесу. Гром гремит, а я иду.

«Постой же,— думаю,— вот скажу нашим, где вы обогнездились и сколь чего у вас есть. Ужо вот!»

VI

Елань наши отбили ночью, пробрались в самый-то дождь через гуменник. На другой день до Слободы дошли. Слободу взяли. Но потом пришлось нам отступить. Катя Кудрина с нами уехала, свою дочь оставила у свекровки. Игренька мы с собой увели. Поставили мне на телегу ящики с патронами, пулемет. Стала я подвозчей.

В город приехали мы утром.

Меня дороги устрашали: широкие, пустые. Пыль до щеток коням доходила. Едешь, как по кошме.

Проехали мы через весь город. Нашему отряду приказали у моста стоять, мост охранять.

Сейчас помню это место.

Перед нами деревянный мост на столбах, за нами город. Налево от дороги тюрьма белокаменная, а направо пустырь — ни деревца, ни цветика, кроме курчьеи слепоты.

Наши бойцы залегли цепью вдоль берега. По тракту ушли разведчики. Немного погода из города привезли бочку с керосином, ведер в сорок, вкатили на мост, под бока плашки подложили. Велено было мост спалить, если белые будут напирать.

Их ждали с минуты на минуту.

В эту ночь они сделали прорыв на железнодорожной линии. В то же время оголился наш правый фланг: анархисты не захотели слушаться большевистских командиров и ушли. Вот и ждали, что белые наступят с двух сторон.

Распрягать лошадей не велено было. Я напоила Игреньку, рассупонила его, развожжала, мешок с овсом подвесила ему.

Приехала кухня, пообедали мы. Я легла на телегу, дремлю. Вдруг слышу шум... Вижу, идет сама собой, без лошади, машина. Это был броневик. Стучит, жужжит. Я испугалась. Игренька забеспокоился. Я слезла, затянула супонь, обвожжала его.

Броневик остановился, дверца открылась, выскочили пулеметчики. Говорят Андриюше Кудрину:

— Мы на мосту встанем.

А мне страшно. Все кажется: вот они вылезли, а машина сорвется с места, как дурная лошадь, затопчет нас.

Я тереблю Проню:

— Она как ходит?

— Ну как, электричеством.

— А как это?

— Почему я знаю, отстань...

Вижу, Проня пристраивает свою сеялку, направляет рылом на тот берег. Подтащил ящик с лентами, сдернул чехол и говорит мне через плечо:

— Ты на виду не торчи. Ищи какое-нибудь прикрытие.

Только успел сказать, слышим — выстрелы. Гонит на вершой из города человек. Подъехал к броневнику: — Айда на станцию, белые жмут!

Пулеметчики кинулись в броневик, только мы их и видели! Понеслась машина к городу — пыль столбом.

В тот же миг с другой стороны начали стрелять. Бежит наша разведка, на мосту только стукоток стоит.

Вот и над нами запосвистывало. На том берегу показались белые.

Андриюша скомандовал:

— Огонь!

Стали наши стрелять. Стреляли вначале недружно.

Вижу, Проня вдернул ленту и пустил очередь. Игренька мой задурнул, испугался. Я взяла его под уздцы, уговариваю:

— Игреньюшко, батюшко, обожди...

За пешими белыми появились повозки. Солдаты к мосту рвутся, палят в нас. У нас то один падает, то другой. Подводы сгрудились, мы не знаем, что делать, Андриюша кричит:

— Огонь! Огонь!

Смотрим, белые на мост бегут.

Тут Андрей махнул рукой. Микиша подпрыгнул к бочке и вышиб обухом днище. Керосин как хлынет! Микиша отбежал и кинул в лужу гранату. Белые уже на мост вступили. Граната кувырком да в керосин, да как ахнет! И начало пластать! Пламя заиграло, дым пошел.

Мой Игренько задрал башку, рвется из оглобель. Толкает меня. Я иду взад пятки. Затолкал меня в тюремный двор.

— Да чего мне с тобой делать, дурак!— говорю ему чуть не со слезами.

Наконец вывела я Игренька, смотрю и ничего понять не могу. Своих не узнаю. Бестолочь, суета какая-то. Строятся цепи, куда-то идут, вершины скачут, стрельба, «ура» кричат.

Потом все стихло. Нас, подвозчих, погнали в город на площадь. Тут меня и нашел Прокопий. Он пришел весь измазанный, как трубочист.

VII

В городе мы продержались до утра, пришлось нам уходить. Городские отряды грузились в вагоны, а мы пошли по тракту. Помню, около станции надо было с дороги сворачивать. Броневик испортился, и его гужом везли к вокзалу. Запрягли двенадцать лошадей, понужают их, кричат. Лошадки все в мыле, изнатужились, зубы оскалили. Я глядеть на них не могла.

А оставить машину никак нельзя. Такие-то машины да отдавать белым — пробросаешься.

Дошли мы до села. Солнце встало, птицы запели. Слышим, в городе звонят «во вся». Буржуи встречают белых.

Широка была дороженька, по которой мы отступали! Колеи пролегали в несколько рядов. Затянуло их травой. Посередине, по песочной дороге, по солище-пеку подводы шли, а пешие по опушке, в прохладе.

Телеги идут, скрипят, солище палит, морит, ко сну клонит. Еду, дремлю. Тряхнёт на нирке — прснусь, потом опять засну. Слышу, как песок шуршит, как кони ржут, как телеги скрипят, и в то же время сон вижу — тятя меня на коленях подбрасывает и приговаривает:

«По кочкам, по кочкам, по ныркам, бух в яму!» Потом словно поет кто-то:

Клубок катится,
Нитка тянется.
Клубок дале-дале-дале,
Нитка доле-доле-доле...

А тяжелая жара навалилась на темя, на спину...

Проснулась, когда до речки доехали, коней поить начали. Ветерком заподувало, и сон прошел. Я думаю: «И куда нас потащило? Едем от родных мест. Всего лишились: и дома, и хлеба, и последних пожитков». Взглянула на Проню. Он стоит высокий, спокойный, стоит покуривает. «Ничего! Повоюем, да и домой приедем. Кончится же когда-нибудь эта заваруха».

Катя Кудрина соскочила со своей телеги, подошла ко мне.

— Слышь, Паня, что я во сие видела,— Маруську свою. Будто ей полгода, она тянется, выгибается, а я, будто, глажу ее и приговариваю: «Потягушечки, порастушечки!» К чему бы это?

А сама вот-вот заплачет.

— Да ни к чему, Катя. Стосковалась, вот и снится.

— Бросила я ее...

— Ну вот, бросила. Бабушка лучше за ней доглядит, чем ты сама. Твоя Маруся не маленькая, шесть лет — полневесты!

Разговорила я ее.

Кончился сосновый лес и песок. Вышел тракт на широкие поля. Рожь стояла в самой поре. По бокам росли березы да стояли облупленные верстовые столбы. Тракт весь был избит ухабами.

Закрою глаза и вижу все это. Пыль. Полынью пахнет. Тяжелый был путь. Отступать никому не хотелось.

Шли мы наудачу. Наш отряд с другими отрядами связи не имел. Мы не знали, может, белые уже давно пересекли нашу дорогу, ждут.

Нас человек двести шло.

Патронов оставалось по две обоймы на брата.

Еды не стало. Овес вышел весь. В трудном положении мы оказались.

Однажды подошли к деревне и, как полагается, выслали разведку. Вот их нет, вот их нет.

Мы вошли, видим — улицы пустые, а наши разведчики лежат рядышком у колодца. Лошади тут же на полянке пасутся.

Бойцы закричали, зашумели, требуют убийц к стенке. А деревня как вымерла. Андрюша говорит:

— Кто сделал, тот руки-ноги не оставил... А задерживаться нам нельзя.

Положили убитых на телегу и двинулись дальше.

Отряд наш рос. Добровольцы в каждом селе находились.

— Ну-ка, запишите меня в вашу артель.

Каждый давал подписку, что будет подчиняться командиру и не будет брать у населения вещи и продукты бесплатно. Иные обижались:

— Да что я вор, что ли?

— В семье не без урода,— отвечал Андрюша.— Был у нас один, Ожигалов, ожег нас... Мы носим красную ленту, а Ожигалов опозорил этот знак, да еще отперся. Мы его расстреляли, и тебе, в случае, то же будет.

Это верно. Ребята и своих не щадили.

Всех труднее приходилось Андрюше. Мой и поговорит со мной, и поспит, а Катя своего вовсе не видела. Ведь он обо всем должен был заботиться: и о фуражке, и разведку выслать, да мало ли что. Все спать лягут, а он соберет бойцов поопытнее, и судят-рядят: как связаться с красивыми? как сохранить отряд? Белые следом катятся, как туча идут. Вот тут и призадумашься.

Однажды наши бойцы забунтовали:

«Не пойдем, да не пойдем, до которых пор отступать!»

В бой рвутся.

Андрюша их уговаривает:

— Нельзя на позиции встать, когда не знаем, что в тылу делается. Обождите, дойдем до своих и остановимся.

Бойцы шумят.

Тут Андрюха как вскочит! Выхватил наган да как закричит лихим голосом, затрясет головой:

— Я сам изменников стрелять буду!

Ребята спрашивают:

— Это кто же изменник-то?

— А кто мой приказ не исполнит, тот и есть предатель.

Проня говорит им резонио:

— Диктатура не для того, чтобы ее без толку обсуждать...

Хотя-нехотя подчинились.

Все думали: «Вот уж дойдем до Железенска и остановимся». Железенский завод по всей нашей хлебобородной полосе гремел. Железенские рабочие отряды в деревнях советскую власть укрепляли. Чуть кулаки начнут шевелиться — беднота и вызовет железенский отряд.

У нас на сердце полегче стало, как Железенск показался. Ребята поют идут. И лошади повеселее пошли.

Когда наш отряд пришел, там два полка формировались и эвакуация шла. Везли в тыл оборудование с военного завода, ценности, зерно.

Влили наш отряд в полк. Андрюша комротой стал. Дали нам боеприпасов, ожили мы.

Слышим, сильные бои идут у Екатеринбурга, но и он пал, и мы опять остались в пути, в отрыве. Ехали опять же не по железной дороге, а проселками да трактом.

Тут я насмотрелась всего.

То едем по ровному месту, то по камню, по увалам. Вдали над лесом синим валом стоят горы, — похоже, что это сгрудились облака.

И народ пошел другой.

В Смоляном, вижу, бабы простоволосые ходят, погородски: свериут шишку на затылке и железными шпильками приткнут ее. Только старухи одни и подвязывались по-нашему, по-бабы.

Воздух в Смоляном был прелестный, бором пахло, но земля здесь родила плохо. И надел был махонький. Мужики уходили, кто в Екатеринбург, кто в Железенск, да работали на крупчатых и раструсных мельницах. А кто дома жил — колеса, колесные ободья ладили, деревянные лопаты... да мало ли что еще.

Днем мы в Смоляном с хозяйкой сделали постирушку, нашим бойцам постирали, а вечером пошли полоסקать. Она указала на берег и говорит:

— А вон там подземная пещера идет на целых на три версты. В одной пещере деревянный крест, а в дру-

гой икона святителя Николая, а в третьей ключ с водой.

Я издивилась вся. Очень мне захотелось туда сходить, но некогда было. Главное — никто ее не рыл, сама сделалась.

А то помню другое село, еще ближе к Екатеринбургу. Стоит оно в логу, при реке. Там я встретила знакомого пимоката. Он каждую осень приходил в нашу Слободу, балагур такой, смешит, а сам не смеется, брови нахмурит. Из этого села пимокаты по всему Уралу ходили. Тамошние девицы в город в прислуги уходили да на каменной кудельке работали.

Потом узнала я про эту про кудельку. Не сравнишь с нашей, с крестьянской, которую прядем. Девки недавно там песни пели:

На куделечке, на моечке,
На желтом на песке
Проводила свою молодость
Во горе, во тоске.

Куделькой называли асбест. Из него ведь можно рубахи шить. Он в огне не горит. Такой пластиночками, волоконцами, камень. Только очень уж было надо сажать работать там. В разрезе часто глаза увечили, а на сортировке да на фабрике грудь портили. Нагло-тается асбестовой пыли — как тут чахотке не быть? Придет с работы — весь белой пылью обсыпан, как мельник.

А ведь страхасс-то не было тогда!

Я это село еще запомнила из-за воды.

Река зацвела у них. Она до того мелка — курица перебредет. Воду берут из колодцев. Жесткая, с известью, колодечная-то вода. Холсты белить — лучше и не надо. А стирать — не приведи господи!

Мы с Катей да с другими бабами постирушки устраивали на каждой стоянке, — все кого-нибудь и обмоешь.

В одном селе хорошая церковь была. Большущая. Ограда с мраморными столбами и железными решетками. Вокруг церкви мраморные памятники на могилах выглядывают из зелени. Я на один памятник наглядеться не могла: белый ангел стоит на одной ноге, крылья расправил и рукой вот так вот... Скажи, даже ноготки на ноге, как у живого.

Жители в этом селе на каменных работах трудились. В полуверсте в шахтах горновой камень для доменных печей добывали. Вблизи в горах ломали камень для карнизов да для мощения улиц. За горой всякие пески рыли, а из-под песков — черный камень — наждак да руду.

Вблизи села стояли крупчатые мельницы да мешочная фабрика. И туда народ шел на заработки.

Потом ехали мы по сплошному лесу. Таких лесов в наших местах нет. У нас леса веселые, березовые, а здесь сосна да пихта. Ехать было хорошо. Скажешь слово — отдается. Воздух очень приятный: ни пыли, ни жары. Грибами пахнет. То ключик увидишь, то услышишь — речка булькает. Тут и там лежит бурелом, — вот этакие лесины, — мохом обрастает. Которое дерево как мост через речку легло — красота!

Мне сказывали, что в самой глубине леса стоит прииск Самоцвет, копи, где драгоценные камни копают: камешки с горошинку стоят столько-то сот.

Когда уж и не помню, проезжали мы по угольным копям.

Черным там черно. Люди и те черным харкают. Муку-то они какую принимали! Лежит на боку в черной грязи и рубит каелкой породу. Пыль глаза ест. Там, под землей, даже спичкой чиркнуть нельзя. Погасла лампочка — ползи ощупью. А попробуй зажги спичку — огонь как рванет, как вышибет деревянные подпорки! Сначала воздух загорит, угольная пыль, потом уголь — и изжаришься!

«Вот, — думаю, — мученик народ! Нет, у нас в деревне легче. Летом, правда, работаем от зари до зари, но зато на вольном воздухе».

VIII

Шли мы, шли, плутали мы, плутали по лесам да по дорогам. Сегодня нас в одно место пошлют, завтра — в другое. Привыкли слышать, как пули повизгивают. Выдержали бой. Белые нас потрепали немного. В августе мы вышли к Режевскому заводу. Потом наш полк послали в наступление к Ирбиту, потом к Алапайхе, а оттуда к Тагилу.

За это время я насмотрелась всячины — голова кругом шла.

Еще в Железеиске перетасовали нас, рабочих влили. Тут я рабочих поближе узнала.

Я вот все рассказываю про наш отряд, про крестьянский, — подумать можно, что мы-то Колчака и разбили. На деле было не так. Главная сила была в рабочих, в партийцах, они нас, крестьян, вели за собой. От этого не отопрешься.

Комадиром полка у нас был умница парень по фамилии Талаинки. Такой был удивительный: на плечах хоть оглобли гни!

Комиссар и комадир с нами часто беседовали, газеты читали. У меня, да и у всех нас, глаза стали раскрываться шире.

Привыкла я в дороге к бездомной жизни. Еду — попеваю. Где остановимся ночевать — тут и мой дом, хотя бы в поле под кустиком. Уж Проня жаловаться на меня не приходилось. На шее не висела, руки не связывала.

Насмотрелась я и геройства, и смертей всяких, и плохого, и хорошего. Вот заняли мы одну станцию, белых прогнали. Они успели тут каких-нибудь полдня похозяйничать. Смотрим — окоп, а в окопе мертвые красноармейцы. Пустых гильз кругом видимо-невидимо. Стояли, значит, до последнего выстрела. Нашли одиого еще живого, он у Микиши на руках и дух испустил. Успел все-таки рассказать, как они бились, и родным привет послал. Знали эти герои, что смерть подходит, а дрались, чтобы хоть на час, хоть на два задержать белых, не допустить на станцию.

Очень мне их жалко было. Все больше молодые. Лежат, кто ничком, кто к небу лицом, кто скорчился, а кто и сидит. «Ох ты, — думаю, — жизни не пожалели!» И мне это удивительно и страшно показалось.

По несколько дней, бывало, стояли на одном месте. Если в деревне стоим, а не в лесу, я и постираю, и хозяйке помогу. Микиша иногда на гармошке сыграет, мы, бабы, споем, словно и не на войне.

В конце августа случилось у меня несчастье: Проня потерялся. Ночью он стоял в секрете, и поймали одного белого офицера — тот в разведку вышел. Прокопий привел его к Андриюше, а Андриюша велел к товарищу Таланкину в штаб увезти, в деревню рядом. В штабе

офицера раздели, допросили, одежду отдали Проне. А он у меня весь обносился, ходил, как реможник, весь в заплатках. Прокопий оторвал погоны и оделся в офицерскую одежду. Да недолго он в ней покрасовался. Взял расписку в получении офицера, пошел, а на обратном пути и сбился в темноте с дороги... и попал к белым. Привели они его к себе, расписку отобрали, раздели донага и посадили в амбар. Утром спрашивают:

— Пойдешь к нам служить?

А партийный документ он в секрет с собой не носил, у Андриюши оставлял, они и не знают, с кем говорят.

Проня подумал-подумал. «Скажи, что не пойду,— кончат; лучше соглашусь и потом убегу от них, от проклятников».

Они ему дали самую худую одежонку и послали в обоз. Лошадь дали, а оружие не доверили. Он видит — следят за ним, и притаился до поры, до времени.

А к вечеру белых из деревни вышибли, и они пустились бежать. У Прони на телеге мука была, а тут еще пулемет сунули, «Максим», на колесиках такой.

Проня видит — суматоха, удобная минута. Взял полено и вышиб пальцы из колеса. Ехать стало невозможно. Он для вида суетился около телеги, а сам загородил своей подводой поскотинные ворота. За ним чуть не весь обоз сгрудился. Кричат, орут, а толку нет. Тут их и накрыли. Сгоряча и Проне моему попало. Помяли его свои и опять в тот же амбар угодил. Только к утру кое-как разобрались. Спросили по телефону Андриюшу и отпустили моего... да еще с «Максимом» и лошадьёу в придачу.

А я первое утро жду-пожду — нет Прокопия. Протомилась до ночи. Андриюша узнал, что Проня ушел из штаба и потерялся. Я — тужить. Не сплю вторую ночь, хожу от окна к окну.

Утром пошла его искать. Никому не сказала, будь что будет. Только поднялась на горку за поскотиной — вижу: катит-копотит. За ним пыль столбом. Батюшки! Избитый весь, в синевицах, глаз заплаыл, а сам смеется. Соскочил, прижал меня, вот так вот схватил и долго не отпускает.

А ветер дует, шумит, солнце светит.

Вот праздник нам был, светло воскресенье!

А вскоре — стыдно сознаться — я дурить начала.

Не ко времени эта дурь забилаь мне в голову, что поделаешь.

Вздумала я Проню своего ревновать.

У нас в обозе была рыжая женщина, Марфа Потоскуева. Она до войны на торфянике работала и сама себя звала «Марфушка-торфушка». Бойчилась она очень, слова всяко коверкала. Любила поиграть с ребятами. Запоет песню, поет с визгом, приухнет, по коленку себя щелкнет. Разухабистая баба. А слова у ее песни печальные, не так бы ее петь:

На болоте мы живем,
По карьеру ходим,
Годовые праздники
Во слезах проводим.

Стала я замечать, что она пялится перед Проней, смеется с ним. Я ей вид подала, что мне неприятно, но Марфе хоть бы что.

Однажды Микиша играл на гармошке, а молодые ребята плясали: с пятки на носок, выковыривай песок. А мы на завалинке сидели. Потом стали собиροшничать, петь. Я спою, Марфа споет, Катя споет, друг после дружки. Вдруг вижу, она глядит на Проню, голову загнула, как пристяжка. Я думаю: «Ах ты, дрянь ты...» А она запела, глядя на моего мужика:

Отчего конфетка сладка,
В ей накладен был анис,
Отчего стою за красных,
Мой миленок — коммунист.

Ребятам понравилось, засмеялись, а я как на углях сижу. Моя очередь пришла, я пою, гляжу на Проню:

Я ко ключику иду,
Колечко на воду кладу.
Колечко радугой по дну,
Люби, бессовестный, одну.

Никто не понял, а Марфа поняла. Глаза у нее заблистели. Поет:

Девки чули на качуле,
Что мне милый говорил,
Говорил, наказывал,
Люби меня — не сказывай.

А я... у меня голос чуть не обрывается:

Дорога моя подружка,
Дорога и милая,
Доверяю я тебе,
Люби моего милого.
Люби мои облюбочки,
Целованные губочки.

Подумала бы я, дура, хоть то, что Прокопий мой никогда в плохом не был замечен. Марфа свою продолжает,— в пику мне:

Хорошо грузочки брать,
Которы под листочками,
Хорошо таких любить,
Которы с кудеречками.

Тут уж все смекнули, в чем дело. Один Проня сидит, смеется. Катя отступилась, не поет. Я все это вижу, понимаю, но не стыдно мне народа. Ярость меня обуяла. Разорвала бы Марфу, так бы ей и наподдавала! Пою:

Поиграйте, поиграйте,
Хорошо играете.
Ваше сердце на спокойе,
Про мое не знаете.

Да как закричу на Проню:

— Чем песни играть, починил бы хомут Игреньку! Хозяин! Только бы с молодыми играть!

Убежала на сеновал, пала на сено и выревелась там.

Реву — думаю: «Сколько, поди, баб перевел без меня!..» Не знаю, что на меня накатило, заблуждала... Слезла с сеновала, лицо опухло, в волосах — труха. Стыд, срам.

А Марфа со мной потом подружилась. Она после говорила: «Не надо было мне твоего Проню, а было лестно, что такая красивая бабочка забоялась...»

Марфушка не злая была, только уж очень ей несчастливило в жизни.

В осенях стояли мы под Алапаихой. Потом погнали нас к Тагилу, и начались бои. Белым хотелось отрезать путь первой дивизии, разделить ее со второй-то. Тогда бы вся Третья армия пострадала.

Один раз довелось мне видеть такое дело — век не забуду.

Проня мой сидит, запустил свою сеялку, а белые за полотном укрылись, за насыпью, и тоже строчат. Наши ребята цепью легли на опушке, а между насыпью и лесом стоит и молчит второй наш пулемет, который Проня у белых достал. Рядом с пулеметом лежат убитые номера. Наши только что отступили к лесу...

Белым нельзя подойти к пулемету и нашим нельзя. Я гляжу, что будет. Знаю, ребята не попустят. Пулеметов у нас не лишка.

Как сейчас это помню, всю картину. Микиша с другим бойцом начинают машинкой истрелянные ленты. Цепь лежит, уставила винтовки. А рабочий Козин Василий разбивает цинковые ящики с патронами.

Вдруг он, товарищ Козин, бросил молоток, встал и побежал к пулемету.

Не добежал всего двух шагов. Сунулся вперед головой и не встал.

Вот поднимается второй человек. Идет военным шагом, подняв голову. Наши стреляют залпами, ровно бы белым нельзя и головы высунуть... Пошел, схватил пулемет, поволок его. Тот покатился на колесиках. Вдруг выстрел откуда-то сбоку. Сел наш храбрец, уткнулся головой в спинку пулемета и затих.

Встает третий, огляделся, лег и пополз от кустика к кусту. Но не дополз и он.

Гляжу, подымается мой Прокопий. Я ойкнула, потом зубы стиснула, стою, думаю: «Мой-то чем хуже других?» Стою и не дышу.

А Проня идет, прикрываясь щитком, снятым с пулемета. Я хочу ему крикнуть: «Голову-то закрывай!», а у меня и голоса нет.

Идет ровным шагом.

Наша цепь дала бешеный обстрел. Ограждают его. Проня все ближе к пулемету, все ближе к пулемету. Все ближе. Сделал два прыжка, подскочил к нему и швырнул в белых гадов гранату. На полотне загрохотало, началась суматоха.

А он как пал на колени, да повернул к белым пулемет, да как запустит... Лента-то раньше в него была вдернута. А я стою и только одно повторяю:

— Живой... живой...

Пустит очередь и спятится. Пустит и спятится.

Наши «ура» кричат. Белые кроют залпами, Андрюша бежит по цепи, охрип, орет.

И вдруг враг как пошел валом! Бегут, падают, кричат. И наши поднялись им навстречу.

— В гранаты! В гранаты!

Не выдержали белые, спятились.

Вот какой случай был под Тагилом.

IX

Наши дрались, себя не жалели, но белые все же их теснили. Долго мы отступали. Досадно было и обидно. Зайдем деревню или завод, а нам командиры приказывают отступать. Ведь если фронт неровный, умеючи воевать надо. Выскочишь за свою линию, тут тебе и карачун будет. Но многие этого не понимали и обижались.

Трудно нам приходилось.

У них солдаты обученные и обмундированные, и ели они всласть... У них в руках Сибирь и уральские хлебные места. А мы отступали холодные и голодные... Не было ни корма, ни боевых припасов.

Да что греха таить, измены были. Теперь-то мы знаем, что Троцкий, например, измену делал, а тогда не знали.

Зато уж те, кто шел, себя не жалея, еще крепче да злее дсались. Ведь не поверишь, что наши делали. На своих руках орудия по болоту тащили, к лошадям припрягались. Плоты плотили, через реки переправляясь. Слани из жердей через болото клали. Дорогу в дремучем лесу прорубали. По двое суток голодали, а на третьи в бой рвались...

Эх, да что говорить! Не выдаючи не поймешь, что может вытерпеть народ за свою родную землю.

По трупам, по болотам, по каменистым горам шли мы, кровью своей Урал поливая...

Четыре дня пробирались мы через леса и реки от Тагила к Кушве. На дворе стоял октябрь. С нами отступали целые семьи. И вот, когда замаялись наши лошади в кушвинских лесах, не пошли, товарищ Таланкин велел их заколоть и вечером сварить. Мы ведь и махану были рады в то время. Артиллерию коман-

дир велел везти на свежих беженских лошадях. Бабы — в слезы. Легко ли им было с ребятами-то?

Андрюша говорит:

— Кому жалко барахла, пусть у белых остается, а мы пойдем дальше.

Бабы с горькими слезами согласились отдать лошадей, бросили свои пожитки и пошли налегке.

Ребят было жалко, кабы не бела армия, сидели бы они в теплой избе, вырезывали бы, осенним делом, из репы да моркови всякие фигурки... Погода стояла страшная. Туман, дождь сечет, дуют из гнилого угла холодные ветры...

Сижу, бывало, дрожу, губы холодные, руки синие. Едва вожжи держу. Проня спросит:

— Жива ли? Отгаркнись.

— Что мне сделается, — говорю я, а у самой зуб на зуб не попадет.

— Промокла?

— Ничего, не облиняю.

— Ты у меня как топор за поясом — везде со мной.

Я говорю:

— Ну, а как ино?

Вида не подаю, что трудно, его не расстраиваю.

Помню перевал, где мы через Урал переходили.

На перевале лес редкий, криули, а не деревья стоят. Вершины обломаны. Местами — голо. Стоят обгоревшие стволы на черных плешинах. Мертво, тихо, только ветер шумит. Горы вдаль уходят, в серый туман. Очень тоскливо.

Время шло да шло. Пересела я с телеги на сани. Выдали нам лимы, полушубки. Я ровно счет дням потеряла в ту пору.

Вот закроешь глаза и вспоминаешь.

Месяц как врезан в небо. Снег словно пеплом посыпан. Кругом пустынные поля. Стоят березы, похожие на траву-мятлику, и кое-где шаперятся голые черемухи. И сама себе кажешься в этой пустыне козьявкой.

Игренька закуржавел, холка торчит перед твоими глазами, покачивается. Тебя ко сну клонит.

В санях за мной груда ящиков да закутанный в шубное одеяло «Максим».

Редко нам удавалось попариться в бане и отдохнуть денек-другой. Такой отдых за праздник считали.

В мороз юбки, промокшие от снега, замерзли и до крови резали ноги. Очень жалко было Игреньюшка. Мы-то понимаем, за что маемся, нам легче, а скотина страдает и не знает, за что. Игренька плечи сбил, так я выпросила в лазарете вазелина и мажу ему... Хомут переменяла, добилась. Скотину я всегда жалела. Из-за этого жаленья чуть в руки белым не попалась.

Хозяйка, у которой мы стояли в деревне Углевой, меня попросила:

— Съезди по сено, будь такая добрая, скотина с голоду поддыхает, а я, видишь, не могу.

Ее ревматизмом скрючило.

Я и уехала, ни у кого не спросившись.

Ну, нашла ее покос, навила возище и еду обратно. А белые в то время Углеву заняли и выставили свои караулы. Видят, сено везу, пропустили, даже не спросили, чья такая. А я молчу, конечно, у меня только сердце захолонуло. Хозяйка перепугалась:

— Оставайся, я тебя спрячу.

Я отвечаю:

— Нет, догоню своих.

— Куда ты поедешь? Останься!

А как же я останусь? У меня в санях полно патронов и бомб. Не белым же их отдавать. Она уговаривает, а я Игренька перепрыгаю.

Будь, что будет.

Наши отступили к селу Переборинскому. До этого села по тракту десять верст, а проселком и семи не будет. Я решила ехать проселком. Хозяйка мне наказала:

— Поворачивай налево, на второй сверток.

Страху во мне тогда не было. Отчаянность на меня нашла. «Так не достанется же вам!» — думаю.

Подъезжаю к польским воротам, вида не подаю, еду как ни в чем не бывало, а гляжу во все глаза. Дорога впереди пустая. От ворот — и под гору. Подъезжаю шажком к заставе, под шалью бомбу спрятала.

— Пропуск!

— Ваша подвозчая, — отвечаю им.

Я одной рукой вложила капсуль и сделала размах.

Бомба зашипела. Я ее как брошу! Да как ухну на Игреньку! Да как ожгу кнутом!

Он и понес.

Слышу — взрыв, выстрелы. Не оглядываюсь. Стоял туман — все равно ничего не увидишь. В тот день так холодно было, что слеза на лету леденилась.

А дорога с раскатами, с нырками. В тот год снег был струистый, а дороги высокие. Так к урожаю горюха бывает.

Мчит мой Игренька, сани на ребро становятся, на отводину. Думаю: «Смертонька!» Стала его успокаивать, тпрукаю, ласково говорю с ним. Смотрю, он пошел тише, водит боками, озирается. Свернула я с тракта на втором своротке. Дорога пошла убродная, малоезжая.

Непохоже на проселок. Все-таки еду.

Въехала в еловый лес, в мертвую тишь. Ветки гнутся под снегом. Еловые семенушки, как сережки, висят. В тот год их было на диво много, да крупные-прекрупные. По добру-поздорову такие семенушки предвещают, что яровые будут ядренные... но уж до яровых ли, когда землю пашет не соха, а орудия?

Выехала на елань. Стога стоят, покосная избушка. Над трубой дымок. Кругом елани лес высокий, белый. От мороза сучки пощелкивают.

А дорога моя кончилась. Дальше следу нету. Только лыжня вьется через всю елань.

Стала думать, что мне делать. Ехать обратно — страшно, может быть, они по тракту выслали погоню. Ехать в Переборинское по целому снегу — боюсь, не доехать. Игренька устал, я замерзла.

Решила, пережду до вечера. Скоро, мол, смеркнется. Тогда выеду на тракт и доберусь до своих.

Взяла бомбу с воза и спрятала под шаль. Иду в избушку: надо узнать, кто там греется.

Вошла, со свету ничего не вижу. Говорю:

— Бог помочь!

А мне ответ:

— Да Павла Андреевна! Да ты ли это, Паня?

А это Кольша Бобошин. Он во время наступления отбил, лыжа у него перед самой избушкой сломалась, на пень наехал. Сидит, мается, сращивает лыжу, а сросить не может. И идти днем боится. Отсиживается, сидит.

Ну его-то я не побоялась. Завела Игренька в остожье, развожжала, к сену поставила, покрыла попоной.

В избушке было жарко, но я шаль не скинула, сижу. Когда Кольша немного опомнился, начинает разговор:

— Ну, как здравствуешь?

— А ты как странствуешь,— отвечаю,— не надоела ли чужая сторона?

И спрашиваю в свой черед:

— Ну, как, нашу Слободу не очень позорили?

— Ничего, зачем зорить... А твой Прокопий Ефимыч где?

— Жив, здоров, тебе кланяется.

Кольша, помедлив, говорит:

— Все равно моей будешь, рано или поздно.

— Ни в жизнь не буду.

— Не зарекайся, Павла Андреевна, твой Прокопий не вечный.

— А ты вечный? Все на войне, неизвестно, чья голова крепче.

— Только бы мне с ним в бою встретиться. Уж я бы по нему ударил!

— Ну что ж, ударь, попробуй, только как бы отдачи не получилось.

Кольша стал выпытывать, как я сюда попала. Я ему говорю, что везу муку и отстала от своих. Кто его знает... любовь — любовью, а скажи ему, что в санях у меня бомбы да патроны,— он меня прикончит и все белым увезет.

Сидим, разговариваем, как приятели, смешком да шуточкой, даром что он белый. Вот мало-помалу начал Кольша подвигаться ко мне, начал лишнее говорить. Я вижу — дело плохо, избушечка маленькая, деваться некуда и говорю:

— Видишь бомбу? Убери руки-то, а то я брошу. Пусть тебя и меня разорвет в таком случае. Сиди лучше хорошенько.

Хворост в печке прогорел, стало смеркаться, мы вышли из избушки. Обвожжала я Игренька, взяла в руки бомбу и говорю:

— Иди вперед, а то худо будет.

Он усмехнулся и пошел, а за ним и я поехала.

И скажи... Он идет спиной ко мне, а я все его бесовственные глаза вижу. В душу, проклятый, глядел... умел...

Добрались до тракта. Я говорю:
— Ну, тебе направо, мне налево.
Он говорит:
— До свиданья.
— К нам в гости... об наш угол брюхо чесать.
Он смеется.
— Не любил бы тебя — не ушла бы живой...
Я не знаю, что сказать ему. Рассмеялась и укатила.

Х

В Переборинском мы стояли долго. Близилось рождество, а о празднике никто и не вспоминал. Дома бы в это время скоблила да мыла, да гладила. Сырчики бы морозила, масло бы копила... А здесь знай свое: подвози патроны, да ходи за Игреньком, да стирай на своих ребят, да почиивай.

Стояли мы, как на позиции.

Первая наша бригада занимала такую линию: Зубова — Витая — Переборинское — Загорное. Дальше с правой руки стояла железная дивизия, а с левой — части второй бригады.

Всего труднее приходилось нашему полку. Он стоял у самого села, заслонял от белых тракт и не подпускал их к железной дороге. На линии были вырыты окопы, и наши ребята по очереди там сидели.

Сердце мрет, как вспомню это проклятое Переборинское. До того как мы пришли, оно несколько раз из рук в руки переходило.

Война совсем измаяла жителей. От снарядов сгорело много домов. Тут и там чернели пожарища, припорошенные снегом. Много было нежилых домов, в окнах ни огонька, у ворот ни следочка. Да ночью и жилой дом не сразу распознаешь. Люди изб не топят, отсиживаются в подпольях. Жилой дом только и узнаешь по реву некормленного скота в пригонах.

А уж если где мигает огонь, дым из трубы идет, — так и знай, здесь бойцы живут.

А до войны это ли было не село!

Дома стоят привольно, улицы широкие, место веселое. Возле садочки, палисадники. Мода у них была — украшать все резьбой. Над крыльцом резьба, по крыше,

по краям, резьба, на наличниках резьба, словно кружево. Переборинские мастера везде свои узоры выводили: и на дугах, и на прястницах, и на вальках, и на шкапчиках. Народ жил здесь чисто и привольно.

А Проня мой там заскучал.

— Колесим, как худое колесо. Все впровал идет. Ни шиша мы не победим.

Я ему говорю:

— Да уж здоров ли ты, Проня? Не простыл ли ты?

А он свое:

— Отвоюем место, кровью польем, а командиры нас назад ведут. Наши орлы, как львы, дерутся, а топчешься все на одном месте. Эх, дай-ка нам волю!..

Андрюша ему объясняет:

— От тебя ли я слышу, Прокопий? Уже понимать перестал? Напролом идти нельзя. В тыл зайдут тебе. Заскочишь вперед, а другие части отстанут.

Проня спорит:

— На то и командиры, чтобы отсталых подгонять... Дай-ка мне дивизию!..

— То-то бы настряпал,— говорит Андрюша.

Я говорю тихонько:

— С горы-то, Проня, виднее... Они уж знают, что к чему.

А он свое:

— Душа не терпит отступать!

Нет, он недаром так тосковал! У него сердце слышало... Будь она проклята эта Переборинская слобода, век бы ее не видать!

В то утро, когда беда пришла, мне почему-то очень весело было. Запрягаю Игренька, наговариваю ему всячину, углаживаю, хлопаю его...

Солнышко проглянуло — еще веселее стало.

С пригорка вижу кладбищенскую церковь, за ней невдали окопы. Вправо лежало большое село. К окопам полем — рукой подать, но я ездил мимо кладбища. Там дорога шла под прикрытием: от белых заслоняли нас сосновые рощицы и пригорок. А полем ехать — как на ладошке. Да и неудобно. Все оно снарядами изрыто. Торчат на нем столбики, обрывки колючей проволоки. А в церкви всегда народ.

Легко раненные там подводы дожидаются. Тяжело раненных туда же приносят с позиции. Там и печку то-

пили, и кто-нибудь из сестер дежурил, чаще всего Марфа, — она уже два месяца в лазарете работала.

Еду я трюнь-трюнь, не тороплюсь. Солнце играет. Выстрелов не слышно. Красота! Вот и кладбище. Обнесено оно низкой оградой из дикого серого камня. Церковь выкрашена под малахит, и на ней, как опоясочка, белая резьба.

Еду и вижу Марфу. Выскочит на паперть, повернется, скроется, опять выскочит. Увидела меня, замахала рукой, бежит к ограде.

— Иди, Паня, простись с мужиком-то...

Я сразу не поняла. Вылезла из санок, привязала лошадь. Да как хлопну руками... как побегу!

В церкви было темно... а может, это у меня в глазах помутилось. Но, скажи, все до капельки помню. Ни на чего не глядела в то время, а все запомнила. Стены бурые. В стенах по три узких окна прорезано, рядом, без простенков. Пол деревянный, тоже бурый. Пахнет воском, позолота мигает на вратах.

А мой Прокопий лежит на соломе у черной круглой печки, глаза закрыты. Руки голые. На груди повязка. На повязке кровь багрится.

Я припала к нему. Он открыл глаза и говорит невинно:

— Не реви!

Я слезы глотаю, сдерживаюсь.

— Слышишь, Марфа, выкидывай к чомору ящики из кошевки... постели соломы... Я его одену. Обожди, Проня, я тебя увезу.

А Марфа:

— Да уж не трогай ты его, Паня.

Прокопий закашлялся, посинел. На повязке еще больше крови выступило.

Я заторопилась, засуетилась. Что-то бы спросить у него, сказать ему... и все позабыла. Не знаю, что сказать, за что схватиться. А сидеть сложа руки, когда он помирает, не могу.

— Давай, Марфа, повезем его.

А он шею вытянул, занкал, в горле у него заиграло. Тут я — хлесть на пол. Реву.

— На кого покидаешь? В тягости я, в тягости ведь я... Вдруг дверь хлопнула, и сердитый голос спрашивает:

— Здесь подвозчая?

Встала я на коленки. Стою на коленках, а меня шатает, голову обносит. Вижу, как в тумане, стоит передо мной наш, нашей роты, боец. Лицо у него воспаленное, глаза сердитые, правая рука на перевязи.

— Белый лезет, а стрелять нечем. Одни гранаты скоро останутся. Езжай!

Я показываю на Прокопия: муж, мол, муж...

Боец говорит помягче:

— Тут не только муж. Всю роту сомнут. Ехать надо, баба.

А я все на коленках стою.

Потом поднялась кое-как, пошла к двери. Да как заворочусь! Пала на солому рядом с Проней... Думаю: «Нáродно ты мой родной. Нáродно — родной».

И вдруг вижу...

Нет, хоть не вижу, врать не стану, видения мне не было. А вдруг подумала, что вот белые сейчас, как валы, припадая и подымаясь, катятся на наши окопы.

От Прони уйти — сил нету. А своих как на убой отдашь?.. «Господи, не разорваться мне», — думаю.

Сама не помню, как выбежала из церкви, как лошадь отвязала. А может, не я и отвязывала... не знаю.

Слышу — палят залпами. Гранаты рвутся. Видно, наши в гранаты пошли. Долгой дорогой ехать некогда.

Стою стойком, передергиваю вожжи, реву во весь голос. Мчится мой Игренька по полю, по кочкам, храпит, колотит по передку кошевки копытами... Только стукоток стоит.

А Проня не дождался меня, помер.

XI

Похоронили мы его.

Ходила я в те дни, словно пустая. Не знала, куда деваться. Повыть — и то не повыла над ним. Не могла.

Придет Андрюша, посидит со мной, а говорить не об чем.

Его в ту пору свое горе гнуло, сугорбиться стал. Оба мы с ним в одно время овдовели. Катя у него от тифа померла.

А тут вскоре узнали, что Пермь белым сдана. Совсем тошно стало... не провздыхаешь. Говорить — рот

не разевается. По всей ночи я просиживала под своей печальной под оконенкой, под кручинным под окошечком. Все спят, в избе жарко, месяц светит, а я сижу.

Все в памяти перевела: и как мы хмелевали, и как женились, и как жила... А слез все нету.

Думаю: «Скатятся с гор белы снега, реки разольются, раскукуется в бору кукушечка... А Проне моему не мять свежей травоньки, не услышит он ни топоту кониного, ни звону колоколиного».

Думаю так, а не плачу.

«Не на льду ли я обломила?... Пустым-пусто кругом. Наперед себя посмотрю, назад оглянусь — нейдет мой Проня, не катится. Не сойтись нам ни в полюшке, ни в беседушке, ни на жаркой постелюшке».

Думаю я так, а не заплачу. Закаменела.

Сижу однажды, гляжу в небо синее, небо вышнее. Улицы пустые. Село словно вымерло. На небе ни облачка, ни звездочки. Один месяц стоит большущий, как зеркало, ясный.

И вдруг представилось мне...

Не рассказать, как представилось.

Что слышала, что видела — все смешалось.

Припомнила те дикие горы, те замшелые леса, да бойкие реки, да села и заводы, через которые лег наш трудный путь. Припомнила наши хлебные места, светлые озера, зеленые луга...

Вспомнилось, как один боец, башкир, рассказывал о горящей горе. Растет на ней вишенья, а на одном склоне мертвым-мертво, из трещин идет жар сухой. Ночью в непогоду светит он красным заревом. Бьет из горы лечебная живая вода.

Да мало ли чудес у нас!

Есть ли где еще на свете такая земля? Родит ли так?

Есть ли где еще на белом светичке такие богатства? Чудеса такие?

Дай-ка все богатства народу!

До сей поры как народ надсаживался, как израбывался! Углежогги да шахтеры-угольщики чернедью харкали. Мраморщики от чахотки гибли. Малахитчики — зеленые бороды — тоже в могилу глядели. А на горячей работе, а на кудельке, а на каменной ломке — разве не изводился народ?

Дай-ка ему все богатства! Всем хватит, все будут сыты, заживут чисто и весело. Всяк для себя в охотку потрудится.

Вот за что мой Прокопий шел.

Разве бы мы с ним не пробились вдвоем-то? Разве бы не заработали для себя?

Он за всех боролся.

Первый раз это до самого сердца дошло.

Слышу, в груди отмякло, оттаяло, поднялось к горлу и хлынуло слезами.

Плачу и думаю: «Потружусь для народа. Мне ничего не надо. Мое что было — все кончилось».

И тятя почему-то припомнился... Как, умирая, он скелет свой продавал.

А самой все легче, легче. Ровно воссияло передо мной, ровно небо передо мной открылось.

Наутро иду к товарищу Таланкину.

— Пошлите меня разведчицей или в лазарет, за ранеными ходить.

Послали меня в лазарет.

XII

Кто как хочет, пусть так и думает. Я понимаю, что когда женщину на самолет, на машину допускают, доверяют ей, — это нам, бабам, почет. А все же мое мнение такое: на войне первое наше место — в лазарете. Я пришла в лазарет санитаркой ничему не обученная, а с первого же дня повела себя так, точно веки там была. Сердце всякого изучит, к кому как подступиться. Конечно, наклейку на лекарстве прочитать или капли в глаз пустить — это не умела. А вот пульс, к примеру, научилась смотреть. У самой у кисти жилочку нащупай, надави и слушай пальцами. Если больной в жару, она скоро-скоро колотится, с напором, а перед смертью — чуть слышно, тоненько.

Если больной затужит, растоскуется, его лекарствами не поправишь. Вот тут мы, бабы, и нужны. Сумей его разговорить, успокоить, обнадежь его. Больной человек — что ребенок, обидеть легко и утешить нетрудно. Одному я по всей ночи сказки рассказывала, а с другим все об его жене разговаривала. Я ее похвалю, он и рад. Да всего не вспомнишь.

Сколько их перемерло на моих руках! Каждого обряжу, уберу, каждого жалко.

Писем одних сколько накопилось. Читала я в то время, можно сказать, между черным бело-то, а писала совсем худо. Но все же много писем писала.

Послать их по адресу было нельзя. Мы стояли тогда под Глазовым, а бойцы родиной сами с Урала. Их родные места в то время были заняты белыми. Но я выполнила свое обещание. Кактолько Урал освободился, я послала все эти письма. И приписочки от себя сделала: когда помер, кому перед смертью кланялся, кого вспоминал.

Ну, о том, как на Урал приезжали товарищ Сталин с товарищем Дзержинским, как измену искоренили да как наши в наступление пошли,— вы лучше меня знаете.

Я все время в лазарете пробыла. И Игренька мой при лазарете работал. Продукты возил и все, что придется.

В марте заразилась я тифом, слегла. От жару у меня выкидыш случился, думали — не встану. Но я — живучая, все это перенесла, и в июне меня выписали из палаты.

Поправлялась я плохо. Тиф повлиял на сердце и на ноги — ноги опухли. Комиссия признала меня негодной. Велела мне ехать домой и хлопотать пенсией.

Запрягла я Игренька, попрощалась с персоналом и поехала. Тележку мне дали.

Долго ли, коротко ли ехала... Под Пермью догнала свою часть. Азинская дивизия уже освободила Екатеринбург и наши родные места. Вместе со своими я дошла до Екатеринбурга.

По страшной дороге мы шли. Мосты сломаны, пути разобраны, стоят пожарища, лежат вверх ногами вагоны да паровозы. Вот она какая разруха-то! Страшное это дело, не приведи бог видеть!

Но бойцы шли весело.

Лето выдалось ведренное, дождинки шли вовремя. Все кругом ярко зеленело, и все будто радовалось нашей победе. А я ехала невеселая. Еще одно горе прибавилось: сказали мне, что Андрюша под Глазовом убит.

В Екатеринбурге мы попрощались. Наша часть по железной дороге за Тюмень пошла, а нам с Игренькой оставалось еще двести верст до своей Слободы.

На прощанье наши слободские поклонов надавали, а Микиша наказал:

— Давай езжай! Напиши нам, что осталось и как идет работа и кто саботажничает.

Он выправился, такой стал ловкий, статный. Я ему говорю:

— А помнишь, у тебя рука дрожала, мой уют на весу держал?

Прослезились мы оба, замолчали, потом он сказал:

— Так пиши, Павла Андреевна! Мы и издали оберегать тебя будем.

И руку мне крепко сдавил, потряс.

Пошли знакомые места. И хоть никто меня не ждет, хоть еду к пустому дому, а хочется скорее приехать, все будто кто-то подгоняет. Остановлюсь, покормлю Игренька — и дальше.

Вот и Елань — осталось двадцать верст. Вот и речка Межница, что на десятой версте. Вот и наша Слобода.

Меня прямо кидало в жар и холод, не помню, как въехала в село. «К бабушке Минодоре, больше некуда». Еду мимо своей избушки. Игренька заржал, приворачивает.

— Нет, батюшко Игреньшко, не домой, — говорю ему и погоняю.

А ему неохота, пошел шагом. Поди, думает по-своему: «Мимо дома проехали, неужто опять колесить по худой дороге?»

Своротила в переулоч, вижу — ребята играют. С ними бегала и Андрюшина дочка Маруся. Бежит с вертушкой — с трещоткой против ветра. Ребята кричат ей.

— Вот твоя мама едет.

А я Марусю сразу и не узнала: она подросла, вытянулась, волосы стали длинные. Девке семь лет стукнуло.

Я остановила Игренька. Маруся кинулась ко мне, но тут же встала, как вкопанная.

— Ой, это не мама.

И заплакала.

Вижу, ребенок не в обиходе. Спрашиваю:

— Бабушка-то здорова ли?

Маруся еще пуще заревела. А ребята вперебой мне рассказывают, что Марусина бабушка недавно умерла и что Марусю скоро в приют повезут.

Я соскочила с телеги, обняла ее, волосенки отвела от лица. Она спрашивает шепотком:

— А скоро моя мама придет?

— Я твоя мама,— говорю ей.

— Нет, ты — тетя Паня.

Я говорю:

— Мама твоя не скоро придет. Велела тебе со мной жить. Пойдешь? Я тебя любить буду.

Она вот так головкой качнула: не то «да», не то «нет».

Я взяла ее под мышки и посадила на свою телегу.

XIII

Домой я приехала к успенью, в середине августа, через десять дней после того, как белых из наших мест прогнали.

Вскорости возникла в Слободе партийная организация под названием волком РКП(б). Это был волостной комитет. Секретарем работал военком — боевой парень из железенских рабочих, грамотный, очень красивый.

Время было тяжелое. Наша волость не голодала, но жилось трудно. В разверстку брали и хлеб, и мясо, и шерсть. Не велели масло жать из конопли да из льна. За самогон преследовали. Городу надо и то и се, армии надо и то и се. Но многие мужики не сознавали этого, а бабы, так те что и делали!..

Я стала щепаться за советскую власть, и за это многие неосознательные меня невзлюбили.

По правде сказать, порой бывало горько. Раздумаешься: «Вот воевали, Проня погиб, а за что?»

Военком, спасибо ему, умел поднять упавший дух.

— Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Это у него поговорка была. И еще одна:

— Ленин видит далеко!

Жилось мне нелегко.

На первое время нас с Марусей бабушка Минодора приютила. Паек нам дали — два пуда пшеничной муки. Больше ничего у нас не было. За что ни хвати, по то и в люди покати.

Но я не падала духом. Силы во мне прибыло. Опять вверх головой хожу. Зарабатывала, голодом не сиживали. Осенью мне помогли землю засеять, дом починили, дров из ограды бежавшего купца Зеленина дали, рубашки-перемывашки...

Ну, я в благодарность безотказно шла, куда пошлют, в какую комиссию или что. Я хоть беспартийная, но считалась верной и надежной.

Село наше жило по-новому.

Женские собрания стали устраивать, баб сговаривали учиться на ликбезе. В поповском доме народный дом устроили. Учительницы да исполкомовские служащие, сам военком, продагент стали спектакли играть, а наши девушки и парни еще стеснялись. Как будешь играть — засмеют свои-то! Но ходили в народный дом охотно.

Открыли вторую школу в бобошинском доме, внизу. Я Марусю в школу отдала.

В школе неразбериха была. Ребята белой глиной на липовых крашеных дощечках писали. Перемажутся, бывало, все. Дров нехватало. Ребята в иной день не раздевались, ковыряли замерзшие чернила. Узнаешь об этом, пойдешь к тому, чья очередь дров везти, подгоняешь. На тебя обижаются.

А Бобошины опять распыхались. Кольша давио уже из тюрьмы вышел. Опять по дохе себе завели, в суконных поддевках опять ходят...

Кольша меня в покое оставил. Встретится, шапку снимет, а в глаза не глядит. Слышно, он часто пировал. Анюту бил смертным боем, потом совсем прогнал. С худыми бабешками водился. Отца-матери нисколько не боялся.

XIV

И вот моя жизнь опять переломилась.

Я зря языком не трепала, не болтала без толку, но уж на собрании что думаю, то и скажу. Если кто беззаконничает, я доносить на него не пойду, а возьму и

при всем честном народе выложу. «Ты вот так-то делаешь, а от этого вред».

Вот многие меня и невзлюбили.

На чьей душе грех — я не знаю. Только однажды в ноябре сделали надо мной злое дело.

Иду я вечером домой. Вдруг двое набежали сзади, заворотили мне юбку на голову, завязали «петухом» и отпустили. Это в насмешку делается. Тут и руками ничего не поделаешь и глазами ничего не увидишь. Иди, как слепая. Как свой дом найти? Куда постучаться? Да и как в таком виде постучишься? Раньше только потрепушек петухами-то пускали.

Стыд.

Иду молчком, ощупываю ногами дорогу, кричать боюсь. Боюсь встретить кого-нибудь — разнесут о моем великом позорище на всю волость.

И вот слышу, снег хрустит, кто-то навстречу идет, посвистывает. Я присела среди дороги.

— Что за чудо за такое?

Слышу веселый Колькин голос. Похлопал меня, шутки ради, и стал развязывать «петуха».

— Ну-ка, над чьей над такой подфигурили?

Развязал. Я встала, гляжу на него. А еще не очень темно было, смеркалось.

У него и рот разинулся. Так и развел руками. А у меня горло перехватило. Шепотком сказала ему: «Спасибо». Хочу идти, а ноги не идут.

Он видит, я валюсь, подхватил меня и повел береженько к дому. Я едва перебираю ногами, молчу. Он говорит:

— Не думай, Павла Андреевна, языком трепать не стану.

Я опять:

— Спасибо, Коля.

Он как сдавит мне руку.

— Я бы этому подлецу, кто так сделал, шею бы свернул.

Привел меня в избу. Темно. Маруси нету. Кольша посадил меня на лавку, спичками чиркает, ходит по избе, как хозяин. Лампу нашел, зажег, окошки завесил и сел на голбчик против меня.

Я молчу, плачу тихонько. Он вытащил из кармана бутылку водки и поставил на стол.

— Выпей, Павла Андреевна, ноги натри и на печь ложись, а то, смотри, как бы худо не было. Ну, счастливо оставаться.

И ушел.

Я выпила вина, ноги натерла, как он велел. Залезла на печку. Сразу меня разморило, разбило. И так мне стало обидно, что вот нету в доме мужика, некому меня приласкать, утешить некому.

Сколько дней после того я ходила с беспокойным сердцем! Но сплетен никаких не пошло. Не проболтался Николай.

С той поры стал он похаживать, на окошечки поглядывать. Когда Маруси нет — и завернет ко мне.

А мне уж неловко зубоскалить над ним, как прежде. Не могу. Вот так и началось...

А ведь потихоньку-помаленьку и до большого дойдешь.

К весне разговоры пошли, что он ко мне ходит. А я уж не могу отстать.

Наверно, он подсыпал мне что-нибудь.

Советская власть правильно знахарок искореняет. Так и надо. Много они людей перепортили.

Он все уговаривал венчаться.

— Пальцем не пошевелю никогда и другим в обиду не дам. Каждую зиму новые пимы будут. Пуховую шаль куплю.

Наклонится к уху, руку жмет, шепчет:

— Баушничать сам буду... дохнуть никому не дам, ветру венуть... Что молчишь?

— А что язык маять? Пойди ты от меня, грех мирской!

А сама так бы и кинулась ему на шею. Что на меня нашло? Мысль надвое колется. Ведь уж сколько лет я думаю по-советскому. Ведь мне за кулака, за лишенца идти, — все равно что в прежнее время за некрещеного. Да это стыд! Как на людей после этого глядеть? Да Проня в гробу перевернется. Лучше уж головой в омут...

Думаю вот так про себя, а увижу — и рванет к нему. Нет его долго, я сама не своя: от окошка к окошку хожу, жду.

Весной совсем сошла с ума. На Марусю огрызаюсь.

Начну что-нибудь делать и забудусь, ровно засну и руки опущу, стою. Ото всех отбилась. На каждого гляжу с подозрением. На собрания не стала ходить.

Он мне говорит:

— Моя будешь.

А я отрицаю:

— Это в трубе углем писано.

Иногда дам поцеловать себя. А ему мало:

— Киселем гостя не употчуеть!

Я рассорюсь, прогоню его, «советским купцом» обзову.

Раз он мне дрова колол, и рука у него сфальшивила.

Я ему со злобой и со смехом:

— Не секи ногу-то, убыток понесешь.

Он поглядел так серьезно:

— Эй, не играй, кошка, с углем, лапки обожжешь...

Да как бросит топор, как схватит меня, сожмет, ядохнуть не могу. И стоим так посередь ограды, всем на смех. Хорошо, что хоть Маруся моя этого сраму не видела.

Словом, вьется Николай надо мной, ждет, как ворон кости.

Я на полу стлала свою кошомку. Дверь в сенки открываю. Все мне душно. Лежу, бывало, и сплю и не сплю. Вижу и дверь, и темные сенки, и полосы от месяца на полу. Гляжу, на лавке будто сидит Николай, руками манит меня... Гармошка где-то играет, за сердце берет. От реки будто холодком тянет. А сердце затокает-затокает и оборвется, сожмется в комок. Очнусь — лежу одна, в избе душно, дверь в сенки открыта, месяц светит.

Вот до чего довел меня Николай Бобошин!

Но всему на свете бывает конец. И эта канитель кончилась.

Однажды я с утра ушла в поле допалывать рожь. Мало оставалось, Марусю с собой не взяла. К полудню кончила, иду домой. Вижу — Кольша навстречу. Он ходил свои хлеба смотреть. Пошли мы рядом.

А день был удивительный. Жарко, на небе ни тучки, а нет-нет и пробрызнет дождичек. Крупный, drobный, шел он с перевалочками. Солнце даже не попритускнет. А дождик идет. Жар от земли струится, — глазами

видишь этот пар. Ястреб-канию летает в воздухе высоко и канючит:

— Пить-а!

Вышли мы на крутой бережок, Кольша меня все в лес тянет, а я не иду.

Говорю ему:

— Только и думаешь, как меня обдурить.

— Это ты меня обдурила,— отвечает он.— Кани��люсь с тобой, как с невестой.

Сели на бережок. Кругом ни души. Птицы поют, кузнечики трещат. Ветерок дует и упадет, дует и упадет. Опять золотой дождичек брызнул и стих.

Я говорю:

— Солнце и дождь — к утопленику.

— А вот не пойдешь за меня, я тебя и утоплю.

Сам обнял и тихонько тянет к себе.

— А мог бы ты меня утопить?— спрашиваю, голову ему на плечо склонивши.— А ведь не утопил бы! Ушла бы к другому мужику, ты бы ведь ничего не сделал.

— Попробуй, уйди.

Я смеюсь. И вдруг выронила такие слова... как только у меня язык повернулся!

— Вот Прокопия тоже сулился убить...

Слышу — дрогнуло его плечо.

Подняла голову. Он в глаза не смотрит, тербит пояс.

Очень уж я его вызнала. Все поняла сразу.

Вскочила на ноги. Он тоже встал.

— Так это ты меня осиротил?

Молчит.

— Ты, вариак?

Молчит, сапогом землю копает.

Я закричала и толкнула его в грудь.

Он покачнулся, стоит передо мной, как воды в рот набрал. Своими глазами глядит на меня, а из глаз точно вся сила ушла. Руки опустил, стоит передо мной.

Я заворотилась, пошла, как во сне. А дождичек, как золото, капает, капает кругом... Зажмурилась бы да так бы не разомкнула глаза.

Он зовет:

— Паня!

Я иду. Слышу, бежит за мной.

— Павла Андреевна!

Я остановилась.

— Паня, с собой покончу, если не простишь.

Я говорю тихо:

— Черту баран, да не ободран.

Во мне все словно отболело, заглохло в то время.

Николай сказал:

— Ну, больше меня не увидишь.

XV

Всего тяжелее то горе изнашивать, которого стыдишься.

Проню своего сменяла — на кого?.. На кулака, на злодея. Да скажи бы кто мне раньше, в жизнь бы не повернула! Да как еще у меня ума хватило не поддаться ему?

Очень тяжело мне в ту пору было. Горе косицы побелию.

Ну, говорить об этом нечего. Сколько ни болело, да умерло.

Кольшин след простыл. Он тогда и верно куда-то девался. Где он свою голову сложил — не знаю. Старик Бобошин умер. Отобрали ихнее имение, и Окснью Филипповна пошла по миру. Я ей всегда подавала. И каждый раз вспомню про себя: «Панька, подай милостину, слышишь, нищие канючат». Вот как все перевернулось! Потом Окснью Филипповну к себе Анюта взяла, Кольшина жена. Она из беднячек была, ее не пошевелили, знали, сколько она в бобошинском доме горя износила...

Когда колхоз начали организовывать, я говорю:

— Я бы ничего, ровно, и пошла бы.

Маруся в ладоши захлопала.

— Ай да мама у меня! Ай да мама у меня!

А были и такие, которые пугали:

— Выдают кишки-то, так будешь знать!

Я была заместителем уполномоченного сельсовета.

А уполномоченный был молодой, робкий. Бывало, придут к нему, а он спрячется.

С тридцать первого года пошла работать я в животноводческую бригаду телятницей в нашем колхозе, в «Светлом пути».

Ударничала. Через мои руки двести семьдесят телят прошло, стали все коровами. Прирост у них подходящий: от семисот до тысячи ста граммов в сутки.

Телята эти чисто как ребята.

Придешь утром, они и кинутся к тебе, чуть с ног тебя не собьют. Если начнешь ласкать одного, другой его отталкивает, бодает своим безрогим-то лбом.

В охотку возишься с ними, не видишь, как и время идет: почистишь кормушки, корму задашь, напоишь их по группам и выпустишь на прогулку. Мило-дорого смотреть на них, на упитанных и веселых. Чешу их щеткой, подмываю, меняю подстилки. Да мало ли дела! Не игра ведь — работа.

Боже сохрани, захворает кто, — дома сидеть не можешь. Вон Турик болел, так я и на праздник в городе не осталась. Лежал он, головы не подымал. А все же я его выходила. Курсов не проходила, но думаю так: было бы раденье. Здесь ведь бороться легче, здесь пули не летят, снаряды не рвутся...

Люди меня не обегают. Выбрали в сельский суд да в ревкомиссию. Знают, что я, если замечу непорядки, — выложу все начистоту, хоть кум ты мне будь, хоть кто. Правда, не шепажусь, как в молодые годы, а выскажу все твердо, рассчитаюсь — и больше нет ничего!

XVI

В воскресенье управляюсь я в телятнике и вижу, бежит ко мне Лидушка, Марусина дочка. Бежит со всех ног, в белых носочках, в белых башмачках. Я еще полюбовалась на нее. Обняла она меня, припала.

Я говорю:

— Зачем бегаешь сломя голову? Видишь, как задохлась.

Она слова сказать не может. Думаю: «Что-то неладно... не обидел ли ее кто?»

— Кто тебя?

— Радио войну объявило... Гитлер напал.

Меня как по голове ударило.

Мне давно этот Гитлер, как бельмо в глазу. Ходит, как щука, заглатывает мелкие-то царства.

Но щука, она не наскочит на большую рыбу,— знает, которая пройдет в глотку и которая застрянет. А Гитлера, видно, бог пограбил умом-то. «Дай,— думает,— проглочу Советскую страну!» Ну, так что же, попробуй, щука, проглоти осетра! Попробуй!

Что земля наша в трудных боях отвоевана и кровью полита,— мы помним и дети наши не забудут. Никому мы ее не отдадим. Никакой силе не согнуть нас. Нет такой силы на свете!

Все во мне заволновалось. Не помню, как и кончила работу. Сколько раз начну что-нибудь делать и забудусь, ровно засну, и руки опущу, стою, все меня скребет чего-то, куда-то тянет меня.

В деревне только и разговоров о войне. Кто добровольцем собирается, кто обязательства берет... Пошли мы, лошадок посмотрели. Я ведь вот про кониеферму-то ничего не сказала. А наша кониеферма у всех на виду. Растит коней для Красной Армии. Сядь на такого коня — он так и заплешет, заиграет под тобой... Красота!

В тот день зятю повестку принесли. Маруся, вижу, затуманилась, но держится твердо.

Промаялась я до вечера. Ровно бы скребет меня по сердцу, не дает покоя, не знаю, что мне надо.

А день долгий, конца ему нету. Вся измаялась.

Вечером семья моя рано легла спать: завтра ведь отправлять зятя, надо с солнышком вставать. Затихли все.

А я вышла на крылечко, села на ступеньку, людгорюнилась. Навалилась на меня тоска,— что хочешь делай.

Новый наш дом на веселом месте стоит, на крутояре. И туда видать далеко и сюда...

Гляжу на село. Не узнать, какое было.

Только река осталась прежней.

Гляжу на нее. Отвечивает она, катится тихо, как во сне. На заре вода спит, а рыба играет: нет-нет, всплеснет. Катится речка и что дальше, то уже кажется. Изгибается и пропадает в кустах... В тех кустах, в тех сограх мы с Проней хмелевали, в те согры с тятей по воскресеньям по черемуху ходили.

Раздумалась, тятю вспомнила, Проию, бабушку Миодору, Аидрюшу с Катей... И вижу и не вижу нашу Слободу.

Ровно все стоит, как стоит... а через это проступает прежнее наше селение. Там вон — стрельчатая церковь, бобошинский дом в малиновой краске с белыми наличниками, а на отставе наша старая косая избушка с палисадничком да черемухой.

Вот сужу, перебираю свою жизнь, а тоска растет и растет. И не сидится мне, и ничто мне не мило, и руки дела просят, душа рвется. «Будь я сейчас молодая, — наделала бы делов. Уж я нашла бы себе место! Оставила бы по себе памятку».

И вдруг пришло мне в голову...

Чего же я, нескладная, горюю? Чего плачусь на свою старость?

Верно, немолодая я. Да силы-то ведь во мне не убыло! Кто меня обраковал? Кто похаял? Кто меня приневолит дома сидеть? Замену я себе на ферме вырастила. Дома и без меня управятся...

Лети, куда хочешь, Павла Андреевна... Лети! Вольная ты птица. И все пути перед тобой лежат.

И пошла я в лазарет!





Е. ФЕЙЕРАБЕНД

КАК В СЕЛЕ ХЛЕБ ПЕКЛИ

Храп коней, надсадный скрип колес —
К белым притащился их обоз,
Видно, дождались они муки:
На телегах — грудями мешки.
И хозяйке каждой в тот же час
Белой властью строгий даи приказ.
Саблями грозились беляки:
— Хлеба до утра нам напеки!
А к утру в селе — в разгаре бой.
Оглушило все вокруг пальбой,
И от тяжких взрывов за гумном
Небо опоясалось огнем.
А когда затеплился рассвет —
Красные в селе, а белых нет:
Бросив все, оставили село,
След мучною пылью замело.
И входили в избы на постой
Наши — в шлемах с красною звездой.
Тот курил, другой ласкал детей,
Третий рану бинтовал плотней,
Стиснув зубы, заглушая боль...
Вдруг хозяйка вносит хлеб да соль.
Говорят красноармейцы ей:
— Что с тобой, хозяйка? Не красней!
От души тебя благодарим!
А хозяйка отвечает им:

— Если б я, родные, вас ждала,
Разве так бы стряпала, пекла?
Исполняла я чужой приказ —
Больно хлеб не пышен этот раз!
А бойцы смеются — любо им:
— Мы тебя, хозяйка, извиним!
Это мы шутя переживем,
Подгорелый хлеб пережужем.
Мы не баре, мы крепки нутром.
Все мы перебором, перетрем,
Перемелем всякую муку,
А хребет сломаем беляку!





Д. АЛЕКСЕЕВ

ДОРОГОЙ ЛЕГЕНДАРНОГО РЕЙДА

О черк

«Смерть витала над вами, и ожесточенный враг готовился поглотить одинокую горстку храб-рецов, но ваша стойкость и храбрость сохранили вас для новых побед над врагом.

...Ваши героические подвиги не будут забыты социалистической Советской Республикой».

(Из приветствия Реввоенсовета Республики партизанам Южно-Уральского отряда В. К. Блюхе-ра. Сентябрь, 1918 год.)

...В тот август на Урале было на редкость сухо, солнечно и тепло. Но не радовало это воинов, тех, кто остался в глубоком вражеском тылу, кто не пожелал перед лицом смертельной опасности сложить оружие, предать своих братьев по классу.

Однако растерянности не было. В рядах бойцов на-ходился испытанный и закаленный в борьбе больше-вик — Василий Константинович Блюхер. Ему, бывшему рабочему, бывшему солдату, доверили партизаны быть своим командующим. И молодой пролетарский полко-водец сумел сплотить их разрозненные отряды в

организованную и могучую боевую силу и повести к победе.

Это было 5 августа 1918 года, в день, когда сводный Южно-Уральский отряд партизанской армии покинул старинный Белорецкий завод и пошел по горным дорогам, по области, охваченной восстанием казачества и белогвардейцев, на север, на соединение с регулярными частями Красной Армии.

Так возник уральский железный поток, так начался беспримерный в истории партизанский рейд. В течение полутора месяцев, претерпевая лишения и голод, формируясь и разбивая многочисленного и отлично вооруженного противника, армия Блюхера, проделав полуторатысячеверстный переход, добилась своей цели, с победой вышла из окружения. Конец знаменитого похода уральских партизан — это начало боевой славы легендарной 30-й стрелковой имени ВЦИК дивизии. Это о ней и поныне поют в строю советские воины:

От голубых уральских вод
К боям Чонгарской переправы
Пришла 30-я вперед
В пламени и славе!

* * *

... С тех героических дней прошло почти 40 лет. Но и поныне живы в памяти благодарного народа подвиги отважных партизан Урала. Ветераны легендарного рейда и теперь желанные гости на заводах и в колхозах, в молодежных общежитиях и в воинских частях. Их воспоминания издают наши издательства, об их былых походах пишут книги поэты и писатели. Примечательным событием лета 1957 года явилась организация Челябинским обкомом партии и Политуправлением Уральского военного округа специальной военно-исторической экспедиции по местам боев партизанской армии В. К. Блюхера.

Большие и почетные задачи стояли перед экспедицией. Ей было поручено воссоздать правдивую историю похода доблестных южноуральских партизан. Одновременно с этим шло изучение и уточнение на местах всех

подробностей крупных боев и сражений. Работники экспедиции выявляли новых героев славного рейда, знакомились с тем, как местные органы власти заботятся о ветеранах гражданской войны, что делают для увековечения памяти погибших героев. Успеху работы особенно способствовало то, что в состав экспедиции, кроме научных сотрудников уральских музеев и студентов-историков, вошло восемь военных консультантов — ветеранов похода партизанской армии.

Около 1500 километров прошли участники нового похода по дороге бывшего рейда, и почти в каждом населенном пункте на пути следования они останавливались для встреч со старыми большевиками и соратниками отважных партизан, для того чтобы поведать местным жителям всю правду о героях борьбы за Советскую власть. Побывали ветераны бывших боев и во многих частях и подразделениях Уральского военного округа. Эти встречи были особенно горячими, волнующими. Долго будут помнить о них и седоусые гвардейцы Октября, и молодые советские воины.

Всего таких встреч было свыше ста, и присутствовало на них в общей сложности более 10 тысяч человек.

Так проедем же, товарищи, вместе с экспедицией по местам бывших сражений, послушаем рассказы наших славных стариков, воскресим в своей памяти незабываемые страницы революционной истории.

О ПЕРВОМ УРАЛЬСКОМ

Из Свердловска машины экспедиции шли почти пустыми. Основные ее участники еще были в Челябинске и Магнитогорске. Туда же с разных мест должны были съехаться и наши военные консультанты. Однако шоферы особо не газовали, осторожничали на трясках местах. Им уже было о ком заботиться. В головной машине, оборудованной под клубный автобус, ехал седоусый, осанистый мужчина. Это — Яков Михайлович Кривошеков. В 1-ом Уральском полку РККА он прошел путь от командира роты до помощника командира полка.

В начале мая 1918 года, когда обострилась обстановка на Дутовском фронте, полк в полном составе

вошел в сводный отряд Василия Константиновича Блюхера и выехал в сторону Оренбурга.

— А был наш командир истинным пролетарием, — увлекшись, стал рассказывать товарищ Кривошеков. — Родился Василий Константинович в пошехонской деревушке близ Рыбинска. В детстве послужил мальчиком на побегушках, изведal непосильный труд у заводчика Берга. После работал слесарем в Мытищах. Там и в тюрьму царскую попал, за организацию забастовки.

А потом первая мировая война. На фронте Василий Константинович отличался храбростью, два Георгия и две медали заслужил. В одном из боев осколки гранаты раздробили ему левое бедро, тяжелые раны получил он в оба предплечья. Боли от ран долго не давали покоя, но Василий Константинович никогда не жаловался. Даже не все близкие друзья знали, какие тяжелые увечья имел их командир.

В 1916 году Василий Константинович стал большевиком. После Февральской революции вел партийную работу в Самарском гарнизоне. В ноябре 1917 года стал членом Самарского ревкома, руководил которым В. В. Куйбышев.

— А как же на Урале оказался Василий Константинович?

— Да прямо можно сказать по личному распоряжению Владимира Ильича... Дутовские казаки захватили Оренбург и стали угрожать Челябинску. Тогда-то Ленин и предложил самарским большевикам послать на помощь уральцам вооруженный отряд.

Немалых трудов стоило добраться до Челябинска. После Миасса стали все чаще попадаться белоказаки. Чтобы обмануть их, Блюхер приказал написать мелом на теплушках «демобилизованные». Под таким видом самарцы и прибыли в Челябинск. Здесь был создан ревком, председателем его стал В. К. Блюхер.

Вспомнил Яков Михайлович и то, с какими трудностями добирался красный Уральский отряд до Оренбурга, как отбросил от его стен банды Дутова, как узнали там страшную весть о мятеже чехословацкого корпуса. Красные части оказались отрезанными от центра республики, в сплошном окружении врагов. Собралось совещание командиров. Мнения высказыва-

лись разные. Один предлагали двигаться по железной дороге на Ташкент. Путь этот был менее опасным, но, пойдя на юг, наши части отклонились бы от активной борьбы с контрреволюцией на Восточном фронте. Васильи Константинович, как и его боевые товарищи Н. Д. Кашнин и М. В. Калмыков, держался иного мнения. Они повели свои части к Белорецку, чтобы пробиться из окружения и соединиться с Красной Армией.

— Так вот для нас, уральцев, из-под Оренбурга с июня восемнадцатого года и начался поход по вражеским тылам,— заключает рассказ Яков Михайлович.— А закончили мы свою боевую дорогу далеко — у самого Черного моря. Ну, об этом после. Вот Челябинск. Ох, и громадный же он стал..

На другой день утром мы направились в Челябинский краеведческий музей. Здесь — штаб экспедиции.

Только подошли к главному входу музея, как со ступеней поднялся навстречу пожилой мужчина на костылях. Кто он, этот человек? Почему вдруг Яков Михайлович обнял его? Скупы, но крепки мужские объятия. Перед Яковом Михайловичем стоял бывший его боец Георгий Петрович Старицын. Шесть раз был ранен этот мужественный воин и все шесть раз неизменно возвращался в полк. Лишь в седьмой раз этого сделать не смог. После Чонгара, в боях с басмачами под Ферганой, Георгий Петрович потерял ногу и вышел из армии, как говорят, «по чистой».

Много лет прошло с последней встречи, реки воды утекли, но не забыл ветеран-уралец своего боевого командира. Узнав из газет о приезде в город Якова Михайловича Кривошекова, он поспешил встретить его. Не забыл и командир своего бойца.

У СОКОЛОВСКИХ ПАРТИЗАН

В краеведческий музей тем временем пришла телеграмма: из Москвы в Челябинск вылетел бывший комиссар полка имени Степана Разина полковник в отставке А. Б. Вдовин. Почти тогда же раздался телефонный звонок из Уйского зерносовхоза.

— Вылетел? — спросили бывшие партизаны села Соколовки.

— Так точно.

— Выезжаем и мы.

Самолет коснулся уральской земли. Давно не бывал на ней заслуженный ветеран, давно не видел дорогих лиц боевых друзей. Но что это за старики подходят к трапу. Ба! Да это же лхне конники разникого полка!

— Костя! Миша! Да вы-то как здесь? Постарели, постарели, дружки,— восклицает отставной полковник.

— Да и ты хорош, Александр Борисович. В седину-то с чего ударился?— говорят бывшие командиры сотен Богатырев и Слинкин. Тут же и партизанский артиллерист Карпов и другие славные соколовцы.

— Это еще не все, Александр Борисович,— с хитрецей говорит Константин Алексеевич Богатырев.— Старичков наших дома пришлось оставить. Ждут, что навестишь их. Вот, почитай-ка.

Директор Уйского зерносовхоза товарищ Дейнека и парторг товарищ Малахов от имени пятитысячного коллектива труженников приглашали комиссара доблестных разницев побывать у них, на центральной усадьбе совхоза.

Много дел было впереди у Александра Борисовича, но не мог он устоять перед таким приглашением, не мог отказаться от поездки на родину бойцов, с которыми сражался за власть Советов и кому лично из своих рук вручал в далеком восемнадцатом году партийные билеты.

...Пока мчит совхозный автобус с гостем и старыми партизанами по проселкам и рощицам, перенесемся в прошлое, познакомимся с теми славными делами, которые вписали эти люди в историю гражданской войны на Южном Урале.

...После Великого Октября в село Соколовку бывшей Уйской станицы стали прибывать фронтовики. Это были уже не те казаки, какими являлись они до первой мировой войны. Идя в горнило сражений бок о бок с рабочими и крестьянами в серых солдатских шинелях, уральские казаки многое поняли, многому научились. Основная их масса под влиянием большевиков-ленинцев не захотела мириться с дурной славой «нагаечников», которую снискали их отцы в пятом кровавом году, и твердо становилась на новый путь. Некоторые успели поработать в полковых и сотенных

казацких комитетах, которыми руководили большевики.

Бывший станичник села Соколовки Константин Богатырев был избран даже председателем полкового казачьего комитета, а его односельчане Слинкин и Губин являлись членами таких же комитетов в других полках. Произошли за время войны изменения и в самой Соколовке. Большую работу проделал сельский учитель коммунист А. П. Коковин. Он создал в Соколовке станичный и сельский Советы, выборы в которые были проведены тайным голосованием.

Богатеи из окрестных сел не скрывали своей вражды к делам соколовцев. Зная, что одним им трудно будет выстоять в кольце врагов, станичники послали А. П. Коковина в Троицк для связи с большевиками города.

Вскоре он вернулся, в спешном порядке собрал фронтовиков и революционно настроенную молодежь и объявил, что красному Троицку грозят белочехи, надо готовиться к решительным действиям. На собрании была объявлена запись добровольцев. Таких оказалось 50 человек. Перед выездом из села красные партизаны открытым голосованием избрали своим командиром Михаила Алексеевича Слипкина, а его помощником Константином Богатыревым.

Прорвавшись сквозь кольцо белоказаков, партизаны Соколовки прибыли в Троицк и составили первую сотню полка имени Степана Разина, с которым прошли весь славный боевой путь.

* * *

...Вот и Соколовка — по-казацки просторное и раскидистое село.

В парке центральной усадьбы совхоза Александра Борисовича поджидали старики-соколовцы товарищи Кашеев, Маслов, Демин и Захаров. Многому научился от них молодой тогда комиссар Вдовин. Постарели учителя, совершенно седым стал и их ученик. Но черты лица любимых бойцов памятливы и дороги комиссару...

Вот Никифор Парфеинович Захаров. В полк имени Степана Разина он пришел, как говорят, воскресшим из мертвых. В момент Дутовского восстания Никифор

Парфенович находился в Оренбурге. Он был членом Оренбургского губисполкома и комиссаром по казачьим делам. За такое Дутов не миловал. Попал под смертную казнь Никифор Захаров. Рубили его «линками», в упор прошивали пулями, а после бросили в общую кучу трупов. Но могучий организм землепашца выдюжил; выполз Никифор Парфеныч из незасыпанной могилы. Рабочие города выходили его.

Ушел Захаров к красным, стал первым сотенным в разинском полку и героически сражался до победы над белогвардейцами и интервентами.

...Воспоминания на время пришлось отложить, гостей и партизан пригласили на общесовхозный митинг. На него прибыли секретарь райкома КПСС товарищ Катаев и председатель райисполкома товарищ Гринев. Выступали комиссар Вдовин, бывший сотенный Захаров, командир части особого назначения Богатырев. Горячи и взволнованны были их рассказы, но не менее волнующими оказались выступления и тех, кто говорил о сегодняшней славе бывших казаков-партизан, о трудовой славе их детей и внуков.

Многие из бывших ветеранов являются сейчас персональными пенсионерами, но ни один из них не стоит в стороне от общих дел односельчан, все трудятся. Таков, например, Павел Осипович Глазов, член КПСС с 1918 года. Он, потомственный рабочий Кусинского завода, в гражданскую войну был партизаном в отряде Блюхера, а в период коллективизации в числе первых 25-тысячников выехал на село и трудится здесь до сегодняшнего дня.

Под стать старикам и люди младшего поколения. Вот Луговских Николай Ефимович. Он начал трудовую жизнь уже при Советской власти и слывет сейчас лучшим изобретателем и рационализатором в районе. От его предложений, внедренных в жизнь, совхоз получил около 2 миллионов рублей экономии. Труд мастера-самоучки по заслугам отмечен. На его груди два ордена.

Отличается и совхозный комсомол. Это благодаря его усилиям совхоз поднял тысячи гектаров целины и добился в прошлом году невиданного ранее урожая — собрал 1 миллион 200 тысяч пудов зерна. Сейчас молодежь взялась за крутой подъем животноводства. Цель

у юношей и девушек одна: быть и в этой борьбе первыми.

С радостными чувствами покидал бывший комиссар места, где живут его фронтовые друзья, где героически трудятся их сыновья, дочери и внуки.

ТАК ЗАРОЖДАЛАСЬ СЛАВА ТОМИНЦЕВ

Вслед за автобусом соколовских партизан в путь из Челябинска выступили и остальные члены экспедиции. Машины мчат по Троицкому шоссе. Деревня Синеглазово. Здесь нам сворачивать вправо и держать курс на бывшую Николаевку, которая зовется теперь селом Красным.

...Крутой обомшелый берег реки, раскидистые ветлы над приземистыми домиками. Вроде, ничего необычного тут быть и не могло. Но у села своя боевая биография. До революции оно было одним из немногих крестьянских сел в этой округе. Ежегодно из Николаевки уходило в царскую армию до 500 рекрутов. Подсмеивались над ними многие «из царевых любимчиков» (так величали мужики казаков близлежащих станиц). Говорили со смехом: «Какие из вас воины получатся, горе одно». Да нет, ошибались. Может, и не так уж блестяще дрались солдаты этого села за царя-самодержца, но зато, когда дело дошло, чтобы за свою власть, за Советы постоять, показали себя по-настоящему.

...Приветливо встретили военно-историческую экспедицию жители села, и, конечно, центром общего внимания сразу же стал их земляк — наш военный консультант Г. И. Пивоваров, бывший помощник командира батареи Троицкого отряда. На беседу о былых походах собрались в сельском клубе. Его стены слышали 39 лет тому назад голос Василия Константиновича Блюхера, приезжавшего в село на митинг. На встречу пришли и старые и малые. «Старички» вспоминали о тех днях, когда они создавали первый революционный комитет, первые красные боевые дружины, о том, как помогали бить дутовцев отрядам Блюхера, как дрались под Троицком и в других памятных местах. Кто-то принес старые фотографии периода 1918—1919 годов. С них на нас глядят молодые brave ребята, в лихо залом-

ленных папахах, в шинелях, полушубках, а то и просто в обыкновенных штатских пиджаках. Но у каждого из них винтовка с примкнутым штыком, на боку шашка, за поясом гранаты.

— Это кто же такие?— спрашивает кто-то из нас.

— А это мы... Собственнолично...

Старики, вспомнив партизанскую молодость, расправляют плечи, приосаниваются. И мы без труда узнаем в них тех, кто изображен на этих выцветших, тронутых печатью времени снимках...

— Помню,— рассказывает Григорий Иванович Пивоваров,— как казачий полковник Полювников, собравший большой отряд белых под Троицком, послал I съезду городского Совета ультиматум: «Именем Дутова я требую убрать Советы».

Предупреждение было хотя и наглым, но грозным. У контрреволюции в то время имелись большие силы. Однако красные дружины троичан не остались без поддержки. На подавление белогвардейских повстанцев поспешил из Челябинска красногвардейский отряд под командованием Василия Константиновича Блюхера. Красные бойцы двигались эшелонам, но вблизи Николаевки им пришлось остановиться. Путь впереди оказался разрушенным. Его можно было бы и восстановить, да вот еще беда: в паровозах истек запас воды, а водонапорная башня взорвана.

Узнав о затруднениях красногвардейцев, Николаевский ревком сразу же послал всех, кто был в силах, на ремонт пути и подвоз воды к паровозам.

Занятная была эта картина. Никто из села не видел ранее подобного зрелища. Со всех сторон спешили к железной дороге повозки с бочками. Густая пыль, не оседая, стояла по всем дорогам, а повозки все шли и шли. Сколько их было — и не сосчитать.

Замысел врага сорвался. Дружными усилиями красногвардейцев и крестьян путь был восстановлен, а паровозы досыта наполнились водой. Отряд Блюхера снова пошел вперед. А следом за ним, через Нижне-Увельск на Троицк ушли и красносельские дружинники. Крепко они помогли своему будущему командиру, хорошо и он отблагодарил их за труды. У дружинников крайне мало было оружия, и Блюхер распорядился выдать им 150 добротных винтовок.

Теперь той же дорогой и в том же направлении движется наша экспедиция.

Вот и Троицк. Мы на вокзале. Его старинное здание было свидетелем многих событий. Отсюда в конце мая 1918 года, когда белочехи захватили Челябинск, троичане двинули на врага свой отряд, состоявший из бойцов 17-го Уральского полка, Троицкой батареи и двух сотен кавалеристов.

Спустя полмесяца белогвардейцы при поддержке мятежных чехов начали наступление на Троицк. Вперед по рельсам они двинули бронепоезд. Он мчался на полных парах к станции, разрывая воздух пулеметными очередями и артиллерийскими залпами. Нашей пехоте к такому «чудовищу» было трудно подступиться. По приказу командира второй железнодорожной дружины товарища Летагина машинист Мотов пошел навстречу бронепоезду. В ста метрах от него отважный боец выпрыгнул с паровоза. Прошла минута, две, и гигантские машины, столкнувшись, покатились под откос.

У врага было еще много сил. Его пехота пошла тремя густыми цепями к станции и потеснила наших. Первый успех вскружил голову пьяным воякам. Они посчитали победу обеспеченной, но ошиблись. При новой атаке красновардейцы оказали сопротивление, да такое, что враг вновь оказался отброшенным за город.

К этому времени в городе окончательно закончилось формирование сводного Троицкого отряда под общим командованием Николая Дмитриевича Томина. В него, кроме 17-го Уральского полка и Троицкой батареи, вошел и 1-й Оренбургский социалистический казачий полк имени Степана Разина.

Не было предела мужеству и отваге троичан в суровых боях с врагами Советской власти, и в этом они всегда равнялись на своего командира — народного героя Николая Дмитриевича Томина.

Его воинскому уменью была обязана вся партизанская армия. Это томинцы шли всю горную дорогу в арьергарде, принимая на себя каждодневно удары озверелых преследователей. И не было случая, чтобы дрогнули троичане, чтобы их командир растерялся и не нашел бы способа отбросить врага.

В славиой 30-й дивизии Николай Дмитриевич командовал конницей. Сколько смелых и дерзких рейдов провели его конники! После разгрома Колчака Томии на Польском фронте. Здесь ему пришлось пережить горечь поражения под Варшавой и быть интернированным в Пруссии. Но отважный уральский казак не пожелал жить в плену. При переезде прусской границы он выпрыгнул на полном ходу из эшелона и вернулся в Советскую Россию.

И снова герой бьется с врагами революции, громит банды Булак-Булаховича и Антонова, ведет своих бойцов на штурм Спасска и Волочаевки. Там, на Тихом океане, окончилась для Советской Республики жестокая гражданская война, но не кончилась боевая страда для Николая Томина. В 1924 году он снова на коне, бьется на афганской границе с басмачами. Там и настигла героя вражья пуля, там и оборвалась его славная жизнь.

По-томиински, отважно и дерзко дрались в боях и многие другие бойцы и командиры Троицкого отряда. С одним из них, с Дмитрием Алексеевичем Тарассаковым, бывшим вначале командиром сотни, а потом и командиром полка имени Степана Разина, нам довелось прожить вместе много походных дней. В Троицке си примкнул к нашей экспедиции. Неразговорчивым, замкнутым казался вначале Дмитрий Алексеевич. Ну, думали, о других скупой рассказывает, а о себе и подавно слова не вымолвит. Но ошиблись. Разошелся однажды наш Дмитрий Алексеевич, показал себя прямо-таки оратором. Вот что он рассказал.

— Я, товарищи, начал воинскую службу в 1911 году в лейб-гвардии сводном казачьем полку. Обязанности у нас были самые «почетные»: нам доверялось охранять не кого-нибудь, а самого царя и его семейство. Признаться, некоторые гордились «такой честью», кичились привилегиями и, как говорится, живота своего готовы были не пожалеть за царя-батюшку.

Но вот разразилась первая мировая война. Может, и страшиовато было Николаю без телохранителей, не знаю, но и нас он оторвал от себя, бросил на фронт. И то брожение, которое началось среди рядовых казаков после кровавого пятого года, усилилось. Особенно стало расти недовольство, когда наш полк начали перебрасы-

вать с фронта на фронт, подставляя под самые сильные удары врага. В полку уже открыто заговорили об измене в правительстве, а действовавшие подпольно большевики сумели направить наше возмущение по правильному руслу.

К февралю 1917 года бывший лейб-гвардии его величества полк был одним из самых революционных в действующей армии. Не сумели мы угодить и временщику Керенскому. По его приказу полк отправили в Оренбург, где нас должны были распустить по станицам. Но передовые казаки и не думали прекращать начатой революционной борьбы. Разъезжаясь, мы уговорились вести работу на местах по созданию красных казачьих дружин.

Я, в частности, с Никифором Захаровым, Андреем Пасынковым и другими товарищами выехал в Троицкий уезд. Работали, агитировали вначале по домам, а 5 марта 1918 года на уездном съезде постановили создать социалистический казачий имени Степана Разина полк. В его рядах и провоевал всю гражданскую. После освобождения Троицка от белых в 1919 году я некоторое время работал председателем ЧК, а в 1921 году, приняв командование полком имени Степана Разина, двинулся на Китайскую границу громить басмачей.

Кончилась гражданская война, началась в наших селах мирная советская жизнь. И теперь бывшие бойцы-разинцы в обозе не прятались, шли на самые трудные участки советского строительства. Мне даже посчастливилось быть первым председателем колхоза в той самой Бобровке, в которой я когда-то подавлял белоказачье восстание.

Готовили из меня царские генералы защитника их прогнившего строя, а вышло наоборот. Я, как и тысячи революционных казаков, поднял оружие против господ и хозяев, стал защитником и строителем своего, народного строя, своей, Советской власти.

НА ГОРЕ ИЗВОЗ

Из Троицка экспедиция начала продвижение на запад. И чем ближе мы приближались к Верхнеуральску, тем чаще приходилось останавливаться в селах, а то и просто в открытом поле. Это были не обычные леса, не

обычные холмики и речушкн. Здесь шли бон, здесь лилась партизанская кровь.

... И наконец еще один подъем по крутому склону, и перед нами город, раскинувшийся на широкой пойме голубого Урала.

В 1918 году Верхнеуральск был местом жестокой борьбы революционно-настроенного казачества с белогвардейцами. Здесь формировался многотысячный партизанский отряд братьев Каширных, который сыграл значительную роль в походе Южно-Уральской армии по вражеским тылам.

Но ведь Николай Дмитриевич и Иван Дмитриевич Каширины были казачьими офицерами, а их отец Дмитрий Иванович много лет ходил в станичных атаманах Верхнеуральска? Что же побудило их перейти на сторону Советской власти и стать красными полковниками?

Эти вопросы не были неожиданностью для другого нашего консультанта Сергея Ивановича Попова — первого председателя Верхнеуральского Совдепа. Много интересного сумел он сообщить о славной семье Каширных. Вспомнил старый большевик, как морозной январской ночью восемнадцатого года он вместе с другими членами Совета попал в руки дутовцев. Под конвоем привели арестованных в дом старшины войскового круга. Всю ночь круг обсуждал «преступления» руководителей Советской власти. Одни предлагали сгноить их в тюрьме, другие настаивали на немедленном расстреле. Лишь двое — станичный атаман Каширин и казак Кузьма Саидырев — выступили в их защиту. Оба пользовались большим авторитетом среди казачества, и Дутов вынужден был освободить членов Совдепа из-под ареста.

Так в первый раз послужил революции старый казак Дмитрий Иванович Каширин. Его сыновья Николай и Иван еще на фронте стали на сторону восставшего народа. В разгул дутовщины братья-офицеры скрывались на хуторах, уклоняясь от мобилизации в белую банду. А в марте 1918 года, когда Верхнеуральск снова стал советским, пришли с сотней казаков в штаб красных и заявили, что поддерживают большевиков и намерены бороться за народ. Тогда же братья Каширины получили первые задания Советской власти. Николай

Дмитриевич с небольшим отрядом был послан в Оренбург за оружием, а Иван Дмитриевич стал командовать пехотой красных верхнеуральцев. После с помощью Д. И. Каширина были созданы и красные конные сотни.

... На вершине Каменной сопки высятся глыбы, похожие на закаменелых мамонтов. С высоты хорошо просматривается вся местность. Позади — город, впереди, справа и слева убегают вдаль черные ленты дорог. Каменная сопка — ключевая позиция к Верхнеуральску с восточной стороны. Здесь-то ранней весной 1918 года и заняли оборону красногвардейцы.

Дутовцы начали наступление на город с трех направлений — со стороны поселка Красинский и из станций Магнитная и Урляды. Основной удар наносился из Красинска на Каменную сопку. Защитники Советской власти сумели выдержать первые атаки, и не пройти бы дутовцам через Каменную сопку, если б не конница. Белоказаки проскочили на конях слева и справа за сопку. Красный отряд попал в полукольцо и отошел к городу.

Новые позиции были заняты в районе кладбища. Численный перевес оставался на стороне врага. Отдельные командиры уже высказывали мысль, что пора сдавать город и уходить в горы. Однако члены Совдепа, председателем которого оставался С. И. Попов, наш нынешний консультант, настояли на том, чтобы подготовиться к боям на улицах города. В уличных боях конница, как известно, теряет многие свои преимущества. Дутов понял это и, не приняв боя, снял осаду города.

В это время к верхнеуральцам подоспели на помощь рабочие отряды из Уфы и Белорецка под командованием М. Кадомцева и А. Чеверева. Совместными усилиями они выбили Дутова из поселка Красинский и угнали далеко за Верхнеуральск.

Ненадолго стихли над городом раскаты орудий и дробь винтовочных выстрелов. Вспыхнул мятеж чешского корпуса. Соединившись с мятежниками, белогвардейцы повели новое наступление. Пал Троицк, теснимые врагом верхнеуральцы вернулись к родному городу. Достаточных сил для его обороны не было, и каширинцы вместе с присоединившимся к ним троичским отрядом Николая Томина начали отход к Белорецку.

Но не все бойцы ушли из города. На западной его окраине в буренинском саду остался отряд члена Верхнеуральского Совдепа Николая Леонова. Ему поручили прикрывать отход товарищей. И пока были живы бойцы, враг не прошел их рубеж. Дрались они героически и пали все до одного под клинками белоказаков.

Но и на этом не кончилась боевая эпопея Верхнеуральска. Через три недели его окрестности стали ареной многодневной битвы семи тысяч красных партизан с двадцатипяти тысячной ордой врагов. Предыстория этого сражения такова. После прибытия в Белорецк отрядов Ивана Каширина и Николая Томина туда же пришли из Оренбурга отряды Василия Блюхера и Николая Каширина. Вместе с красногвардейцами рабочего Белорецка эти отряды создали сводную Южно-Уральскую партизанскую армию, командование которой приняло решение пробиться на соединение с частями Красной Армии в районе Екатеринбурга.

Во второй половине июля армия выступила в поход на Верхнеуральск, с тем чтобы оттуда идти через Миасс к Екатеринбургу. Троицкий отряд развивал удар севернее озера Изунгулова. Верхнеуральский — от Абзаковой на Рахметов хутор и озеро Бугадак.

В десяти километрах от Белорецка части Ивана Каширина и Николая Томина встретились с противником. Партизанские орудия начали долбить позиции белогвардейцев, казаков и чехословаков. Семь дней не смолкала по хребтам гор орудийная канонада. У горы Березовой партизаны сбили врага к реке Урал и овладели хутором Вязовым. Путь к Верхнеуральску и горе Извоз был открыт.

Вершина этой горы, увенчанная обелиском в честь красных партизан, явилась следующим пунктом работы экспедиции.

... Машина тяжело поднялась вверх по крутому склону. Мы вступили на землю, столь обильно орошенную в прошлом кровью красных бойцов. Тесной группой, в торжественной задумчивости застыли ветераны у обелиска. А после здесь же развернулась оживленная беседа. Товарищи Вдовин, Пивоваров, Тарасенков горячо говорили о храбрости и решительности бойцов отряда Николая Томина, который действуя в составе 17-го Уральского и имени Степана Разина полков, обо-

шел Извоз с севера и прорвался к Уралу. Представители отряда братьев Кашириных товарищи Попов и Вандышев с волнением вспоминали о мужестве и отваге верхнеуральских конников, которые, спешившись, пошли на Извоз лобовой атакой. Этот удар был нанесен в тесном взаимодействии с бойцами Верхнеуральского стрелкового полка, которые, наступая от поселка Бугадак, пробились к Уралу южнее Извоза.

Местность не позволяла одним броском достать противника. Днем цепи верхнеуральцев находились под постоянным воздействием артиллерии противника, которая была с Каменной сопки. Лишь ночью красные бойцы вплотную приблизились к горе. Но сил для решительного штурма не хватало.

— Эх, храбрые каширинцы! — кричали из окопов белаяки. — Извоза взять не можете, не видать вам и Верхнеуральска.

Но нет, ошибся враг! У красной партизанской армии был сильный и могучий резерв. На Вятских хуторах стоял отряд Василия Константиновича Блюхера — закаленные в боях рабочие 1-го Уральского полка и бойцы Баймакского рабочего отряда. Командиром одной из рот в этом отряде был товарищ Кривошеков, с кем мы начали нынешний путь из Свердловска. Пока шла речь о начальных этапах боя, он отмалчивался. Но когда заговорили о решающем штурме Извоза, зажегся, рассказал о действиях блюхеровского отряда, который, выйдя из резерва, ринулся смелой атакой по Белорецкой дороге и вместе с другими отрядами сбросил белых с Извоза и прогнал их за Урал.

В завершающие часы штурма Извоза командованию стало известно, что Екатеринбург захвачен белыми. Пробираться дальше на восток стало бесполезным. Тяжесть этих минут усугубилась выходом из строя главного Николая Каширина, которого ранило в бою. А еще спустя некоторое время пришла весть о предательстве штабных командиров Енборисова, Каюкова и Пичугина, которые с небольшой кучкой трусов перебежали к Дутову.

Временно в командование армией вступил И. Д. Каширин. Посоветовавшись с командирами отрядов и полков, он отдал приказ отступить в Белорецк. По полученным сведениям части Красной Армии вели бои в

районе Кунгура. Следовательно, теперь уже целесообразнее было пробиваться именно в этом направлении. Тем более, что из Богоявленского и Архангельского заводов пришли сообщения о наличии там больших отрядов вооруженных рабочих, большого запаса оружия и боеприпасов.

В ночь на 1 августа начался организованный отход красных частей из-под Верхнеуральска. Внезапною налету белой конницы подверглась 6-я рота Верхнеуральского полка. Но она избежала разгрома благодаря мужеству пулеметчика Евлампия Бачурина. Зайня удобную позицию, он задержал белоказаков. Те были вынуждены спешиться. Два их взвода ползком двинулись в обход пулемета. Но когда враги оказались рядом, Бачурин придавил своим телом пулемет, вставил запал в гранату и подорвал себя вместе с группой беляков.

Снова по белорецкому тракту движутся южноуральские партизаны, отражая непрерывные атаки противника, ведя арьергардные бои.

На собравшемся в Белорецке заседании военного совета были приняты очень важные решения. Прежде всего Н. Д. Каширин, из-за ранения выбывший из строя, поставил вопрос о выборе нового главкома. Кого? Н. Д. Каширин и многие другие командиры горячо рекомендовали избрать командующим В. К. Блюхера — рабочего, члена большевистской партии, имеющего уже значительный боевой опыт, пользующегося большим авторитетом в отряде. Предложение Н. Д. Каширина было принято.

Избрав командующего, военный совет окончательно решил вопрос о новом направлении движения отряда. Было решено идти через горы, в направлении на Кунгур, где Красная Армия вела бои с противником. Предстояла большая и трудная дорога. Под огнем противника надо было преодолевать хребты и реки, идти горными тропами, лесными дорогами...

* * *

... Покидая гору Извоз, нельзя не вспомнить и еще об одном событии, совершившемся на ней совсем недавно. 2 июня 1957 года сюда, на открытие обелиска в

память об исторических боях съехалось до 10 тысяч трудящихся Челябинской области и Башкирской АССР. Среди них было около 500 уральских партизан, сражавшихся на Извозе, а после участвовавших в легендарном походе под командованием Блюхера и братьев Кашниных. Много в тот день было памятных встреч, много было рассказано о славных делах партизанских, долго звучали песни про былые походы...

СЛАВА БЕЛОРЕЦКА

— Октябрь в Белоречке прошел почти бескровно. Сильная партийная организация, руководил которой испытанный большевик-ленинец П. В. Точисский, быстро совершила переворот и передала власть в руки Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Но вокруг было неспокойно. Оренбургский диктатор Дутов пошел войной на Советы. В городе стал формироваться первый красновардейский отряд. Я, трое моих братьев и сестра Екатерина в числе первых записались в него.

Создали мы не только свою рабочую пехоту, но и красную кавалерию. Мне посчастливилось быть организатором Белорецкого конного отряда и командовать им. Первые бои с дутовцами мы приняли вдали от города, близ станции Магнитная, после дрались с белыми у станции Кропачево...

Но тут Григорий Дмитриевич Штырляев, бывший командир белорецких конников, чей рассказ слушали мы от самого Верхнеуральска, умолк, приподнялся с сиденья, глянул по сторонам и взволнованно произнес:

— Вот и приехал. Полюбуйтесь, хороша картина!

Огромный завод, за плотиной — широкий пруд, горы, одинокая сосенка над речной стремниной.

Перед нами Белорецк, один из славных городов Южного Урала. Сердце его — старейший в стране металлургический комбинат. Двести с лишним лет белорецчане начали плавить здесь чугун, ковать железо.

Труд металлургов был тяжелым, подневольным. Но через горнило суровых испытаний несли они веру в счастливое будущее. Ни пули, ни тюрьмы, ни каторга не задушили в них свободолюбия.

Вон справа вдали высится поросшая лесом гора. Это знаменитая Марткина гора. Здесь в годы первой революции рабочие собирались на маевки. Руководил ими тогда бежавший из ссылки Василий Косоротов. Его помощниками были Федор Алексеев, Дмитрий Штырляев (отец нашего рассказчика) и другие крепкие духом рабочие-большевики. На этой горе начинал службу революции с обязанностей связного Федор Сызрайкин, будущий командир красных отрядов, ныне известный советский ученый.

Боевым центром революционного движения был Белорецк и в годы перед Великим Октябрем. По заданию ЦК партии в конце 1916 года сюда прибыл Павел Варфоломеевич Точисский. Он был одним из организаторов первых марксистских кружков среди петербургских рабочих, в 1905 году дрался на баррикадах Красной Пресни, побывал на каторге и в ссылках. Его хорошо знал В. И. Ленин, он был близким другом Я. М. Свердлов.

С присущей ему энергией Павел Варфоломеевич взялся за укрепление белорецкой партийной организации, за активизацию ее деятельности. Особенно проявил себя Точисский в период борьбы с дутовщиной.

Весной и летом 1918 года на Белорецком заводе было сформировано и отправлено на фронты гражданской войны более 10 красногвардейских отрядов.

Это в Белорецке при прямом участии и помощи П. В. Точисского был создан красногвардейский отряд, послуживший ядром для создания целой армии верхнеуральских партизан. Около 4 тысяч бойцов дала молодой Советской республике городская партийная организация. Белоречане ходили на Дутова и на белочехов, сражались под Самарой и Уфой, под Златоустом и Юрюзанью, на Тирляиском заводе и Катаве, под Верхнеуральском и в станице Магнитной.

К лету 1918 году рабочий Белорецк был на Южном Урале почти единственным советским островом среди вражеского окружения. В начале июля сюда вступили отряды Ивана Каширина и Николая Томина, вынужденные сдать неприятелю Верхнеуральск. Тогда же в Белорецк из-под далекого Оренбурга спешили отряды Василия Блюхера и Николая Каширина. В Белорецке

и слились воедино главные силы южноуральских партизан. Здесь сформировалась сводная партизанская армия с единым командованием во главе.

Однако дни великого единения партизанских сил были омрачены трагическим событием. В ночь с 17 на 18 июля, когда в Белорецке оставалось менее сотни рабочих-большевиков, когда партизаны Верхнеуральского и Троицкого отрядов отбивались на окраинах города от рвавшихся в него белогвардейцев, когда отрядам Блюхера и Николая Каширина оставался последний переход до Белорецка, грянул воровской выстрел в окно квартиры Павла Варфоломеевича Точисского. Эсеры-предатели не ограничились убийством. Ворвавшись в квартиру, бандиты схватили труп большевика, чтобы сжечь его...

Но гибель руководителя белорецких большевиков не поколебала единства революционных рабочих, крестьян и казаков. На другой день они тесными рядами выступили из города на восток — на Верхнеуральск. Рабочие Екатеринбурга и Белорецка шли одной дорогой с красными казаками Верхнеуральска и Троицка, шли, чтобы разгромить белогвардейские орды и выйти на соединение с родной Рабоче-Крестьянской Красной Армией.

5 августа 1918 года последний отряд красных партизан покинул Белорецк и двинулся вслед за главными силами в горы хмурого Ала-Тау. Вот она, эта дорога, по ней сейчас идут машины нашей экспедиции — через плотину, мимо заводских корпусов и дальше вверх, на подъем...

Все таким же тесным кольцом вздымаются над городом зубцами хребтов горы, все так же стремительно несет свои воды красавица Белая. Но далеко не все осталось здесь прежним. Горы, воды, земля те же, а город не тот. С каждым новым годом он все более молодеет, обновляется.

Новый, невиданный ранее подъем переживает в эти дни промышленность города. Теперь здесь не завод, а целый металлургический комбинат. Его продукция занимает солидное место в Башкирском экономическом районе.

А пройдите по центру города — прямо-таки новый Магнитогорск. Дворцы культуры, многоэтажные жилые

дома, три средних специальных учебных заведения, новые больницы, школы...

А скоро, очень скоро город получит свой вокзал, свою станцию ширококолейной железной дороги. Ее полотно уже вплотную подступило к городу со стороны Магнитогорска. Близок день, когда стальные рельсы побегут еще дальше, на запад, вдоль той самой дороги, по которой двигался железный поток партизанской армии.

...Мы за Белорецком. Экспедиция вступила на горную дорогу партизанской армии. Река Нура. Теперь только считай перевалы... Так же, как и в былые годы, слева шумит Белая, справа громоздятся хребты Ала-Тау. По этой тяжелой дороге, ведущей на Стерлитамак, пробивались главные силы партизан. Фланговым и арьергардному отрядам приходилось труднее. Они шли через горные вершины напрямик, сбивая врага, оседлавшего перевалы. Тянули бойцы тяжелые пулеметы, надрываясь, поднимали на кручи орудия, срывались, падали в пропасти.

Вот показались Каменные утесы. Причудливы они по своей красоте, таких не встретишь и на Кавказе. Но партизанам некогда было любоваться их красотой. Эти утесы — последнее серьезное препятствие на горной дороге. За ними — степь, широкая, раздольная. Однако ровная местность и для врага сподручнее.

Так оно и случилось. При подходе к селу Макарово Верхнеуральский казачий полк сразу же подвергся нападению белогвардейцев и чехов. Командир полка Семен Петрович Голунов (он сейчас проживает в Свердловске) не растерялся, сумел лавиной обрушить своих конников на головы белым. Те дрогнули и отступили. Верхнеуральцы сразу же изменили направление и, миновав Петровское, пошли на Богоявленский завод.

С отступившими беляками бой завязали главные силы отряда. Они выбили врага из Петровского и погнали его на Стерлитамак. У белых создалась видимость, что партизаны главный удар будут наносить именно в этом направлении. Такое намерение действительно было. Но Василий Константинович Блюхер смело отказался от этого плана и, пока белые готовились к обороне города, направил отряды вслед за Верхнеуральским полком на Богоявленский завод.

Пребывание южноуральцев в селе Петровском укрепило их ряды. В этом районе действовало немало красногвардейских отрядов, в которые входили трудящиеся самого Петровского и соседних сел — Паэловки, Тимошевки, Бердашлы. С помощью богоявленских рабочих они выдержали все испытания и сохранили силы. Теперь эти отряды, командирами которых были ныне здравствующие Александр Могильников и Лука Ревунов, влились в партизанскую армию и в ее рядах пошли выручать рабочих Богоявленского завода.

Район Богоявленского и Архангельского заводов был партизанской республикой. Контрреволюционеры делали все, чтобы потопить в крови свободолюбивый рабочий край. Экспедиционные карательные отряды шли один за другим и так же один за другим громились и рассеивались бойцами партизанской республики.

Первый отряд карателей рабочие разбили в селе Буруново, второй уничтожили на берегу Белой, а потом сами начали совершать рейды по тылам врага. 3 августа в бою за Михайловку-Кагадач они рассеяли отряд белых в 500 штыков и 200 сабель, позднее у села Охлебинино уничтожили роту противника.

Ко времени выхода из гор партизанской армии Блюхера белые повели против рабочих Богоявленска и Архангельска решительное наступление. Отчаянно, героически отбивались красногвардейцы, но надежд на успех было мало. Только помощь извне могла спасти доблестный рабочий отряд. Руководитель богоявленских большевиков Михаил Васильевич Калмыков завязал связь с отрядами Блюхера, и южноуральцы поспешили на помощь.

Горячей и радостной была эта встреча. Когда южноуральцы вступили в Богоявленск, над зданием ревкома гордо реял алый стяг. Несмотря ни на что, удержали его мужественные рабочие в своих сильных руках и под этим боевым знаменем влились в партизанскую армию. Полторы тысячи пехотинцев и 300 кавалеристов дали богоявленцы, образовав новый полк партизанской армии. Его командиром стал Михаил Васильевич Калмыков — будущий комбриг 30-й дивизии, герой Чонгара.

Существенную помощь оказали богоявленцы партизанам и в пополнении боеприпасов. У них на заводе было организовано производство винтовочных и пуле-

метных пуль. Руководил этим Александр Александрович Беляков. Им же был налажен ремонт пулеметов.

После короткого отдыха партизанская армия стала продвигаться дальше на север. Снова завязались упорные, кровопролитные бои, но инициатива уже окончательно перешла в руки южноуральцев. Во второй половине августа отряды вступили в Архангельский завод и приняли в свои ряды еще 300 рабочих-красногвардейцев.

Пребывание в заводских районах чрезвычайно плодотворно сказалось на укреплении боеспособности партизанской армии. Ее численность теперь возросла до 15 тысяч бойцов, почти 20 процентов составляли коммунисты.

Но обольщаться успехами было рано. Белогвардейцы старались все туже стянуть огненное кольцо вокруг партизан. Так, 18 августа под Ирныкшами белые внезапно наскочили на партизанские обозы. Лошади, сбежавшие от отчаянной перестрелки, заметались по улицам. Поднялся переполох, обоз вразнобой начал отступать. Но в это время в бой вступил интернациональный батальон мадьяр. Он принял на себя удар и сдерживал противника до тех пор, пока не подоспел отряд Николая Томина. В этом бою был и В. К. Блюхер. Осколком снаряда убило под ним лошадь, за смертью упал ординарец, но Василий Константинович хладнокровно продолжал руководить действиями партизан.

Одновременно шел упорный бой и за деревню Зилим. Он длился три дня. Главком бросил сюда Богоявленский, 1-й Уральский, Стерлитамакский полки, Архангельский отряд и Верхнеуральскую кавалерию. Белогвардейцы не выдержали такого натиска.

К вечеру 20 августа разыгрался бой в районе Бердина Поляна, а ночью партизаны начали форсирование реки Сим. Переправа наводилась под огнем противника. Но потерь больших не было. Выручила находчивость Ивана Дмитриевича Каширина, который с двумя сотнями своих казаков перешел реку ниже переправы и неожиданно ударил по белым с фланга.

Новая жаркая схватка произошла на правом берегу реки Сим. Белых было более 7 тысяч; у них в изобилии имелись патроны и снаряды. Партизаны же смогли выставить против них всего лишь 4 тысячи бойцов, кото-

рыё должны были беречь каждый патрон и не могли рассчитывать на поддержку артиллерии, остающейся без боеприпасов. Но мужеству белорецких, верхнеуральских пехотинцев, конников из отряда Николая Томина и Григория Штырляева не было предела. Штыками и клинками они пробивались сквозь белые цепи и открыли отряду путь к железной дороге. Партизанские полки устремились на станцию Иглино.

...Придет время, и на этом горном пути, на берегах уральских рек поднимутся гордые обелиски и памятники в честь ратных подвигов доблестных красных партизан.

ВЫХОД ИЗ ОКРУЖЕНИЯ

Поселок станции Иглино расположен в зеленой долине, зажатой с трех сторон высокими, крутыми холмами. Сейчас эти холмы и долина ласкают взор зреющими хлебами, цветными коврами люцерны, источают какой-то особенный запах плодородия и сытости. А тридцать девять лет назад здесь клубился пороховой дым, вздымались смерчи взрывов, осколками выла смерть.

Многотысячная армия партизан под командованием Блюхера и братьев Кашириных, проделав труднейший горный переход по белогвардейским тылам, приближалась к станции. Иглино являлась своего рода барьером, перешагнув через который партизаны выходили из сплошного вражеского окружения. Понимая это, белогвардейские генералы решили уничтожить их именно здесь, на подступах к железной дороге. Местность, как нельзя кстати, благоприятствовала созданию мощного оборонительного рубежа и широкому маневру подвижными соединениями.

Сосредоточив возле станции несколько батальонов чехословацкого корпуса и полков дивизии имени Учредительного собрания, подогнав два бронепоезда и подтягивая части со стороны Стерлитамака, белые рассчитывали зажать партизан в кольцо. Но получилось обратное...

— Исходной позицией для наступления на станцию наше командование избрало деревню Алаторка, — рассказывал нам бывший начальник оперативно-разведы-

вательного отдела Верхнеуральского отряда С. И. Попов. — В центре находились Верхнеуральский и Белорецкий отряды, слева — Уральский и Троицкий, справа — Богоявленский, Архангельский и кавалерийский имени Степана Разина полки.

Перед фланговыми отрядами была поставлена задача перерезать железную дорогу в районе станций Шакша и Чуваш-Кубово, разобрать пути и вести наступление на фланги и тыл противника. Полк имени Степана Разина получил приказ зайти в тыл южной группировке и парализовать ее действия. Центральные отряды должны были вести наступление на станцию с фронта.

Бой начался под вечер 27 августа. Чехословацкие батальоны ринулись на Верхнеуральский и Белорецкий отряды. Мы предприняли ответный маневр. Одновременно с ударом фланговых отрядов повели контрнаступление и с центра. Обескураженный, опрокинутый противник заметался в партизанском кольце...

Исход этого боя явился для белых ошеломляющей неожиданностью. Как говорится, «пошли за шерстью, а пришли стриженные». И полезли всякие кошмары в головы битым генералам: «Партизаны идут на Уфу!!!» Засуетилась, заметалась белогвардейская Уфа, заступали ломы и заступы на ее подступах, задымились фитили под фермами железнодорожных мостов...

— В наши планы не входило взятие Уфы, — вступает в разговор бывший командир особой кавалерийской сотни белоречан Г. Д. Штырляев. — Уфа была хорошо укреплена, и брать ее, при недостатке боеприпасов, значило пойти на большие жертвы. К тому же взятие города не приближало нас к намеченной цели. Командование избрало более верный и прямой путь — на Кунгур, где, по слухам, можно встретиться с передовыми частями Красной Армии.

... После двухдневной передышки главные силы партизан под прикрытием Троицкого, Богоявленского и Архангельского отрядов двинулись к селу Красная Горка. Сейчас оно является центром Нуримановского района.

Село радует глаз крепкими и аккуратными срубами домов, тут есть клуб и школа с интернатом, детсады и ясли. А до революции в Красной Горке имелась лишь

одна школа, грамотных же, в самом обыденном понимании этого слова, не насчитывалось и ста человек.

Забитые и придавленные нуждой жители, казалось, были совершенно безразличны ко всему происходящему вокруг. Единственно, что заставляло их прислушиваться к делам в стране, это забота о хлебе насущном. Но стоило бурному круговороту октябрьских событий вплеснуть в село отряды красных партизан, как жители сразу определили свое место в жестокой классовой борьбе.

— Радовалась беднота приходу партизанских отрядов,— вспоминает старожил села Шарафуллин Газиз,— каждый старался оказать гостеприимство, быть чем-нибудь полезным. А когда узнали, что партизаны хотят строить мост через Уфу, все способные работать вышли на берег.

— Вон где строили его,— указывает рассказчик на отлогий песчаный берег возле северо-западной окраины села. Там даже еще сохранились остатки свай...

Мы направились к месту переправы. Четыре небольших давно обрубленных столбика едва поднимались из галечной россыпи...

— Три дня строился мост,— продолжает Газиз Шарафуллин. — Вначале трудно было с лесом, а потом нашли. Кто отдал свой лес, приготовленный на дрова, кто заготовленный сруб дома, а кто разбирал старые сараи, бани, навесы...

Три дня в условиях военного времени — большой срок. Узнав об этой задержке партизан, оправившиеся от испуга генералы решили еще раз попытать счастья. Моментально созрел новый план окружения. Преследующие партизан части создают железное полукольцо на левом берегу реки Уфы в районе села Красная Горка, а спешно переброшенные полки из-под Уфы замыкают кольцо окружения на правом берегу. Партизанам остается «единственный выход» — бросаться в реку.

Но и этому, как и первому плану белогвардейцев, партизанские командиры противопоставили свой, более гибкий и смелый план.

...Еще за день до начала строительства моста на пароме, лодках, плотках и просто вплавь на правый берег переправилось до трех эскадронов кавалерии Верхне-

уральского отряда под командованием С. П. Голунова, а также часть Белорецкого пехотного полка под командованием товарища Пирожникова и Белорецкая особая сотня Г. Д. Штырлева.

Заняв плацдарм на правом берегу реки, эти части стали продвигаться в сторону деревни Быково, что в 10—15 километрах ниже переправы. Здесь паргизаны и столкнулись с отрядом белых, спешивших к Красной Горке. По силе белые имели значительное превосходство. У них было около двух полков пехоты, эскадрон кавалерии и батарея четырехорудийного состава. Но с ходу вступить в бой они не решились и заняли оборону по опушке леса, примыкающего к деревне Быково. Партизанские части расположились на окраине деревни и стали готовиться к наступлению на позиции белых с фронта, а тем временем «обходной генерал», как заслуженно величали партизаны Ф. А. Вандышева, помощника командира Верхнеуральского кавалерийского полка, с двумя сотнями бойцов уже завершил обхват слева и ударил на противника с тыла. Зажатые в клин враги покатались к реке, и кто не остался лежать на поле, сраженный пулей или партизанским клинком, нашел свою могилу в бурных водах Уфы. Свыше двухсот человек пленных, четыре орудия, двенадцать пулеметов, сотни снарядов достались партизанам как награда за их мужество и отвагу.

Этот бой явился блестящим завершением прорыва из окружения, начатого под станцией Иглино. Основные силы отрядов были переправлены по выстроенному мосту, который сразу же был уничтожен. Белые лишились возможности преследовать красных. Закаленные в походах и боях горнозаводские рабочие, уральские крестьяне и оренбургские казаки единым потоком устремились вперед, на соединение с регулярными частями Красной Армии.



Скоро и конец пути экспедиции. Мы подъезжаем к деревне Аскино. Здесь, в этих лесах, 39 лет тому назад совершилось одно из крупнейших событий гражданской войны на Урале — встреча партизанской

армии В. К. Блюхера с регулярными частями Красной Армии.

При вступлении в Аскино местные жители сообщили партизанам, что красные теперь где-то рядом. Поздним вечером Василий Константинович вызвал к себе командира сотни из отряда Н. Д. Томина и приказал по возможности быстрее установить связь с передовыми частями Красной Армии. На рассвете разведчики ускакали вперед. В числе их был и А. Ф. Трубаков, ныне служащий одного из учреждений Свердловска.

Прошел день. Разведка молчала. Лишь к вечеру она наткнулась на роту красноармейцев. Это были бойцы 1-й Бирской бригады, но они, как и работники их штаба, ничего не знали о готовящемся выходе из тыла врага огромного партизанского отряда. От бурной встречи пришлось воздержаться. Все разведчики остались в расположении роты в качестве заложников, а командир сотни поскакал обратно в штаб отряда. Прошло несколько часов, и в красноармейские цепи прибыл В. К. Блюхер с тремя работниками штаба. Теперь подозрения рассеялись, и партизанские командиры были дружески приняты командиром Бирской бригады.

Прежде всего Василий Константинович поинтересовался состоянием дел и вооруженностью красных частей и был несказанно обрадован тому, что они не только в достатке обеспечены боеприпасами, но и имеют их в запасе. Из штаба Блюхер послал телеграмму командующему 3-й армией и немедленно получил ответ, что может обмундировать своих бойцов и получить боеприпасы на месте, в Бирской бригаде. Эта весть окрылила всех партизан.

...Пасмурным сентябрьским днем основные силы Южно-Уральского отряда входили в Кунгур. Как назло, разразился сильный дождь. Но ничто не смогло отравить радости встречи. Тысячи кунгурцев вышли на улицы, чтобы приветствовать легендарных партизан. Был организован многотысячный митинг.

А затем отважных воинов разместили по квартирам. Вниманием были окружены и все те, кто шел в огромном партизанском обозе. Женщин, детей, стариков и раненых — всех радушно приняли и гостеприимно приютили у себя трудящиеся Кунгура.

Еще до вступления в город В. К. Блюхер послал в Москву на имя председателя Совета Народных Комиссаров В. И. Ленина телеграмму. В ней писалось: «Приветствую Вас от имени южноуральских войск в составе полков: Верхнеуральского, Белорецкого, 1-го Уральского стрелкового, Архангельского, Богоявленского, 17-го Уральского стрелкового, 1-го Оренбургского казачьего имени Степана Разина, Верхнеуральского казачьего, отдельных кавалерийских сотен и артиллерийского дивизиона. В Вашем лице приветствую Российскую рабоче-крестьянскую Советскую республику и ее славные красные войска.

Проделав беспрецедентный переход в полторы тысячи верст по Уральским горам, в области, охваченной восстанием казачества и белогвардейцев, формируясь и разбивая противника, мы вышли сюда для того, чтобы вести дальнейшую борьбу с контрреволюцией в тесном единении с нашими родными уральскими войсками и твердо верим в то, что недалек тот день, когда Красное знамя коммунизма взойдет над Уралом».

Советское правительство высоко оценило вооруженную борьбу южноуральских трудящихся в глубоком тылу врага. Владимир Ильич Ленин лично ходатайствовал перед ВЦИК о награждении В. К. Блюхера и его боевых соратников. Вскоре Василий Константинович Блюхер был награжден только что учрежденным орденом Красного Знамени, на котором значился № 1. Такие же ордена, именное оружие, серебряные часы, а также благодарности советского правительства и РВС Республики получили многие участники легендарного рейда.



Окончился героический поход южноуральских партизан. Окончился славно и победно. Свыше полутора месяцев по горным кручам и лесным дорогам лился могучий народный поток, лился, разрывая цепи черных сил контрреволюции.

Да, то был могучий народный поток, но им не владела стихия. Создание многотысячного партизанского

отряда явилось результатом длительной и упорной борьбы Коммунистической партии за установление Советской власти на Урале, за сплочение всех революционных сил народа против дутовщины, белочехов и других врагов Советской республики.

Блистательная военная победа южноуральских партизан стала возможной потому, что их вооруженной борьбой на всем протяжении легендарного рейда руководили закаленные большевики-ленинцы. Они заражали бойцов беспредельной преданностью делу рабочих и крестьян, верой в светлые идеи коммунизма. Они, большевики, вели в отряде огромную политико-воспитательную работу, неумоимо трудились над тем, чтобы рос и креп день ото дня боевой союз уральских рабочих с беднейшим крестьянством и революционным казачеством, чтобы в отряде была крепкая и нерушимая дружба между русскими, украинцами, башкирами, татарами, китайцами, мадьярами и бойцами всех других национальностей.

Василий Константинович Блюхер, как главнокомандующий, прекрасно понимал ту роль, которую призваны были играть большевики. Обладая сам немалым опытом партийной работы, он учил и подчиненных ему командиров постоянно опираться на коммунистов, советоваться с ними. В. К. Блюхер во время похода часто встречался с отдельными большевиками той или иной части, беседовал с ними, через них изучал настроение бойцов, давал деловые советы по развертыванию политической работы среди личного состава и местного населения. Характерно и то, что Блюхер не принимал единолично ни одного серьезного решения, а созывал для этого военный совет, на который, кроме командиров отрядов и частей, приглашались и рядовые бойцы-коммунисты, возглавлявшие партийную работу в своих частях.

Усилиями большевиков, трудами талантливых командиров-самородков, воспитанных партией, и сплотившись в короткий срок воедино многотысячная масса партизан, а их разрозненные отряды превратились в могучую военную силу, крепкую духом и высокой революционной дисциплиной, которая и сумела одержать победу в невероятно тяжелой борьбе.

...Окончился героический поход южноуральских пар-

тизан, но не кончилась их боевая история, их славные дела.

Став бойцами 30-й стрелковой дивизии, они вступили в новые жестокие бои с врагами Советской республики и не знали отдыха до самого окончания гражданской войны.

Это они, южноуральцы, насмерть стояли в снегах Приуралья, упорно сдерживая натиск озверелых колчаковских полчищ.

Это к ним, как и ко всем войнам Восточного фронта, весной незабываемого 1919 года обращался В. И. Ленин с тревожной телеграммой: «Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной».

И уже в июле того же года Ильич получил письмо с фронта:

«Дорогой товарищ и испытанный верный наш вождь! Ты приказывал взять Урал до зимы. Мы исполнили твой боевой приказ. Урал наш».

В числе других воинов, освободивших Урал, свои подписи под письмом Ленину поставили и южноуральцы — бойцы 30-й дивизии, чья гордая слава была известна всей молодой Советской республике.

В то время когда стрелковые части бывших партизан дрались на Урале, их товарищи-кавалеристы творили чудеса храбрости под Оренбургом, Белебеем и Уфой. Красные казацкие полки имени Степана Разина и Верхнеуральский из конной бригады И. Д. Каширина 9 июля 1919 года были награждены высшей наградой — Почетными Революционными Красными знаменами.

Весной 1920 года за беспримерный поход с боями от Омска до Иркутска, за уничтожение чешских легионов в районе станции Тайга и остатков Колчаковской армии под Ачинском и Красноярском высоких наград удостоилась и вся 30-я дивизия. Ей вручили Почетное Революционное Красное знамя, орден Красного Знамени и присвоили имя Иркутской.

Позднее правительство наградило Почетными знаменами многие полки дивизии и в их числе 264-й — бывший Верхнеуральский стрелковый, 265-й — бывший 17-й Уральский, и 269-й — бывший Богоявленский.

Осенью 1920 года храбрые уральцы дрались с Врангелем в степях Украины и блестяще провели легендарный штурм Чонгара. М. В. Фрунзе телеграфировал тогда председателю ВЦИК М. И. Калинин: «Вам было угодно предложить мне назвать именем ВЦИК ту из дивизий фронта, которая проявит наивысшую степень доблести в боях с неприятелем. Прежде Вы надеялись, что такою должна быть 30-я стрелковая дивизия. Ныне я рад доложить, что надежды Ваши дивизия оправдала в полной мере».

Так дрались за Советскую Родину отважные партизаны и бойцы — красноармейцы седого Урала. Их подвиги, их слава будут жить в веках.





Е. ХОРИНСКАЯ

ДОЧЬ КОМИССАРА

Говорят, есть общее в походке
И в чертах знакомого лица...
Посмотри на девушку в пилотке,
Что проходит улицей отца.

Часто мы встречались с ней в Свердловске
До войны и вот теперь опять,
И привыкли мы проспект Покровский
Улицею Малышева звать.

И в привычном каждому названье
Слышится военная гроза,
Кажется, что светятся в тумане
Комиссара смелые глаза.

Под Тундушем пробегает ветер,
Камышей качается изгиб...
Даже смертью утвердив бессмертье,
Он в бою за Родину погиб.

Но мы помним и года и даты...
Восемнадцатый... Бои... Враги...
Комиссар писал жене когда-то:
«Будь здорова. Дочку береги»...

...И среди других таких же юных,
На рассвете оставляя мать,
Эта девушка ушла в июне
Дорогую землю защищать.

...Снова «юнкеры» летят навстречу,
Низко неба темного навес...
— Я «Москва»... «Москва»...
Безмолвен вечер,
И тревожен незнакомый лес.

Далеко-далеко до Урала,
Может быть, не выйти из кольца...
Нет, неправда! Крепче зубы сжала
И похожа стала на отца.

Через фронт короткие записки:
«Мама, не волнуйся, я жива...»
Об уральской девушке-радистке
Много былей сохранит молва.

Говорят, есть общее в походке
И в чертах знакомого лица...
Так запомни девушку в пилотке,
Что проходит улицей отца.





К. БОГОЛЮБОВ

ШАПКА

Рассказ

После смены хорошо принять душ, а затем посидеть в красном уголке, отдохнуть, поговорить, послушать последние известия. По всему телу так и разливается спокойствие. Слушаешь, как гудит мартен. Пол слегка подрагивает, словно едешь на пароходе и волны равномерно ударяют в дно. В запыленные стекла окон заглядывает горячее июльское солнце. Через всю сцену протянут кумач, а на нем: «Все для фронта, все для победы!»

Степан Артемьевич с обычной своей аккуратностью записал результаты работы за смену в блокнот, разбухший от бирок и квитанций. Потом не спеша свернул сигарку и сказал:

— Шихта сегодня была подходящая.

— Зато и съём отличный,— подхватили мы.— На первое место вышли... В шихте — главная сила.

— Главная сила, положим, в человеке,— возразил Степан Артемьевич. — Дай-ка прикурить!

В это время вошел новенький. Поступил он к нам на днях. Находился на излечении в госпитале и одевался еще по-зимнему: в ватнике, в шапке. Ребята посмеялись:

— Будет тебе лето пугать! Подари свою ушанку вороне на гнездо.

— Он солнечного удара боится.

Новенький смутился, снял шапку, положил на стол. Степан Артемьевич повертел ее в руках и сказал:

— Гляжу я на этот головной убор, и вспоминается мне один мой боевой товарищ. В девятнадцатом году дело было, тоже летом, в начале июля. Служили мы в знаменитой 28-й дивизии, в роте пеших разведчиков. В звене нас было четверо: я, Васька Змей, дед Кузьма и Петр... фамилию забыл... Мы ему дали фамилию нашего начдива — Азин... Ну, вы, понятно, слышали про Азина? Он Екатеринбург забирал... как же! Любили мы его за отчаянную смелость. Бывало, идет цепь в наступление, а впереди все видать азинскую папаху. И носил-то он ее по-особому. Вот так.

Степан надел шапку на самый затылок и на миг превратился в лихого рубаку времен гражданской войны.

— Да, так вот, служили мы в пешей разведке. Все добровольцы и коммунисты. А Кузьма Иванович и Васька приходились мне земляками, даже на одной улице жили. И записались в один отряд еще в тысяча девятьсот восемнадцатом. Кузьме Ивановичу шестьдесят стукнуло, но он любого из молодых мог в доску загнать. Из себя могутный... Известно, котельщик. Призыв балодкой махать, а это большое физическое развитие дает. Он с первых дней революции в Красную гвардию записался. Такую панику на домашних навел. Старуха его под образа кинулась, причитает:

— Мать пресвятая богородица! Наставь раба божия на ум, пронеси тучу мороком!

А он ей:

— Молчи, старая дура! Я этого дня шестьдесят лет дожидался, как светлого праздника.

И ушел. Мы в отряде звали его дедом, а он нас внуками. Боевой был старик и душевный. Убили его на Тоболе осенью в девятнадцатом году.

Степан Артемьевич докурил папироску и замолчал:

— Ну, а что Васька? Змей — это фамилия, что ли?

— Нет, не фамилия. Фамилия у него была Кондюрин, а Змей — уличное прозвище. У нас на заводе по прозвищу больше и знают человека. Зато кому прилепят кличку, так уж не оторвешь. Вроде родимого пятна. И уж, будьте покойны, не в бровь, а в глаз. Вот, например, Змей... Прозвали его так за лукавство. Вся

порода была лукавая. О Васькином отце такой факт передавали. Он еще в царской армии служил и две лычки заработал. Так вот, состоялся как-то генеральский смотр. Сам командующий приезжал и производил всяческую проверку. Ну, между прочим приказал разуться, поглядел на солдатские портянки да и говорит:

«Красненькую тому, кто скорее обуется».

Что тут началось — понятно. Все торопятся. Другой и сапог не на ту ногу надевает. А Васькин отец едва не через секунду выходит из строя и рапортует:

— Приказание исполнено, ваше превосходительство!

Генерал удивился, конечно, и похвалил:

— Молодец! — и вынул десятирублевую бумажку. — Получай!

Вот как! А того и не знал, что сапоги-то на босу ногу надеты.

Степан Артемьевич широко улыбнулся, довольный тем, как солдат генерала в дураках оставил.

— Васька весь пошел в отца. Сквозь землю видел. Из себя неказистый и малосильный, но хитер до последней степени. По соседскому делу дрались мы с ним, часто даже до кровопролития. Но в Красной Армии друг за друга держались и не раз выручали один другого.

Однако самый знаменитый у нас в команде был товарищ Петр... Ну, Азин этот самый... И не только в команде, но пожалуй, даже и в дивизии. Лихой был разведчик, отчаянности необыкновенной. Сколько раз он в тыл к белым пробирался и такие там дела творил, что только ну!..

Однажды за машиниста вел у них воинский эшелон да и завел... куда следует. От восьми вагонов одни щепки остались. Другой раз переоделся в крестьянскую одежду и явился на заставу с целым взводом колчаковцев. Говорит начальнику заставы:

— Принимай под расписку. Тридцать пять голов доставил в целости и сохранности.

Азиным его прозвали за шапку. Случилось это так. Ушел он как-то в разведку и потерялся. Три дня его не было. Ротный уже приказ отдал — списать со всех видов довольствия как пропавшего без вести. Вся рота жалела. На четвертые сутки явился наш разведчик.

— Где пропадал? Рассказывай!

— Был,— говорит,— во вражеском тылу. Добрался до расположения штаба. Ночью зашел в штабную избу и скомандовал: «Руки вверх». Полковника и адъютанта — к ногтю. Карты и секретные документы — за пазуху. Выскочил из горницы, а из клетки — караул и ординарцы — человек пять. Кинул в них «лимонку», а сам бегу вдоль улицы. Гляжу, у прясла лошадь оседланная привязана. Я на нее и к своим во весь галоп. Вдогонку стреляли, паника поднялась. Кричат: «Красные обошли!» Но я благополучно добрался до передней линии. Здесь свои же меня едва не кончили. Лошадь с первой пули подстрелили. Забрали меня и сомневаются. Я тогда требую: «Ведите меня в штаб к товарищу Азину. Я ему все подробно опишу». Привели меня в штаб дивизии. Азин сидит за столом, выслушал о моих приключениях и тоже сомневается. Тогда я за пазуху и достаю секретные документы. Товарищ Азин взял документы, прочитал их внимательно и даже в лице переменился. По комнате заходил, меня по плечу похлопал и руку пожал... «Спасибо,— говорит,— от имени революционного народа за доблестную службу. Теперь нам известны коварные планы врага, и мы примем меры. Однако,— говорит,— вид у тебя довольно расхристанный и даже папахи нет (а я папаху, действительно, потерял в этой кутерьме). По зимнему сезону так не годится. Вот,— говорит,— тебе от меня за геройство и на память. Снимает с себя папаху и нахлобучивает мне по самые уши. Вот он, азинский подарочек.

И верно: видим мы на нем знакомую папаху. С той поры Петра и прозвали Азиным. А с папахой он не расставался даже летом. Жара стояла, а Петр в папахе щеголял. Васька мне и говорит однажды:

— Ты Петру не верь. Врет он, что Азин ему папаху подарил. Он ее с убитого офицера содрал и наверняка с деньгами. Видел я, как он чего-то зашивал в подклад... Деньги, наверно... Оттого он ее не снимает и, когда спать ложится, в изголовье кладет.

Так это Ваське в башку втемяшилось, что стал он к Петру приставать:

- Поделись, Азин, добычей.
- Какой добычей?
- Деньгами... будто не знаешь.

— Какими деньгами?

— Да которые в папаше у тебя зашиты.

Петр осердился:

— Иди ты от меня знаешь куда... Жадный черт!

Степан Артемьевич туго скрутил сигарки и закурил. Курит, молчит, а мы ожидаем развязки. Канавный Алеша спросил:

— В шапке-то в самом деле деньги были зашиты?

Степан Артемьевич поглядел хмуро и не ответил.

Мимо окон к мартену пробежал состав с мульдами. Никто и ухом не повел: ждали продолжения рассказа.

— Гнали мы Колчака за Каму. Взяли Пермь, Кунгур. К Екатеринбург уже подходили. Места пошли знакомые. Такой среди нас был подъем духа, что и отдых нам стал не нужен. «Ведите дальше! — кричим командирам. — Отдохнем за Уралом!» Население нас встречало как избавителей: натерпелись от Колчака.

Вот однажды заняли мы деревню. Как же ее название? Но то Кедровка, не то Пихтовка... Забыл. Пришли вечером. Митинг организовали. После митинга «Интернационал» спели, как полагается. Дед Кузьма пуще всех старался, так что на этой почве у него с командиром взвода даже произошел небольшой конфликт. Взводный ему замечание сделал:

— Ты бы, Кузьма Иванович, потише рывкал. А то народ смущаешь и песню портишь. К тому же и поешь политически неправильно: не работ, а рабов. «Весь мир голодных и рабов». Понятно?

Дед Кузьма обиделся:

— Насчет голоса я, товарищ взводный, не возражаю. Но в отношении слов — мое пение правильное. При старом режиме кто работал, тот и голодал. Это я испытал сам, и учить меня не приходится.

Тут командир взвода приказал нашему звену отправиться в разведку, и прения прекратились. Выпили мы по кринке молока, винтовки на ремень и тронулись в путь.

Летние ночи коротки. Скоро стало светать. Ветерком потянуло, прохладой. Ноги вымокли от росы. От лугов воспарение и запах медовый. Трава в то лето росла буйная, и рожь поднималась густо, шуба шубой. Урожай предполагался небывалый.

Идем мы неизвестными тропами. Петр у нас, как начальник звена, впереди. Поднимаемся с горы на гору. Где лесом, где мочежиной. Жара нестерпимая. К тому же мошка одолевает стала. Васька Змей, как малосильный, заскучал и жаловаться начал:

— В такую жару маршировать — самое дело... И отчего это все из нашего взвода в разведку посылают. Вчера ходили, третьего дня ходили... А первый взвод на отдыхе и второй на отдыхе.

Петр оглянулся на него и аж зубами заскрежетал:

— Мы, уральские пролетарии, должны быть в данный момент тверже стали, а ты, сукин сын, слезу пускаешь. Вон за тем увалом видать мой родной завод. Там у меня жена с ребенком осталась. И у меня мысли другой нет, кроме того, чтобы как можно скорее освободить их и весь наш Урал от гнета.

Мы поддержали со своей стороны.

— Пока не вынем из Колчака его поганую душу, до тех пор винтовки из рук не выпустим. И ты, Васька, не будь сволочью, не срами нашу пешую разведку своим малодушием...

Васька застыдился, замолчал и про усталость забыл, начал отшагивать — мое почтение... Вышли мы на увал. Действительно, за рекой видать заводские трубы. Пошли согрой. Место веселое — ольха да калина. Только подходим к ближнему кусту, а из-под него двое с винтовками. Беляки!

Петруха скомандовал им:

— Бросайте оружие!

И затвором щелкнул. Те с перепугу и от неожиданности окоченели. Так что пришлось собственноручно обезоружить. Понятно, расспрашивать стали, какой части и прочее. Один и говорит:

— Ежели вы нас расстреливать не будете, всю правду скажем, потому что мы мобилизованные.

Петр на это ответил:

— Нам с вами торговаться недосуг. Соврал — пуля в лоб. А в штабе, между прочим, разберутся, что вы за птахи.

Ну, тут они нам и открылись. Дескать, идут они дозором, а за ними наступает — ни много ни мало — батальон егерского полка. Пока мы допрашивали военнопленных, видим, от реки поднялась цепь, справа —

вторая. Начали мы отступать за увал, да, видно, опоздали: заметили нас, стрельбу открыли и стали с флангов обходить. Залегли мы, отстреливаемся.

Тогда Петр и говорит:

— Дело-то, ребята, выходит труба! Валяйте вы с пленными как можно скорее, а я пока задержу наступление.

Мы, конечно, были против.

— Вместе шли, вместе и помирать будем.

Но он настоял на своем:

— Во-первых, надо сообщить нашим, чтобы противник врасплох не нагрянул. Во вторых, пленным надо непременно доставить в штаб... А насчет того, чтобы помереть,— это вы всегда успеете. За меня не беспокойтесь — не в таких переделках бывал, да цел и невредим оставался... И вообще, как командир звена, приказываю вам немедленно идти обратным путем. Исполняйте без разговору.

Нечего делать — пришлось подчиниться.

Пока шли, все стрельба позади слышалась. Дед Кузьма тогда хорошо сказал, и слова его мне запомнились:

— Вот, внушки, геройство-то настоящее в чем! Умереть без толку и трус сумеет, но кто для общего дела себя не щадит, тот и есть настоящий герой.

Я и в то время к политике большой интерес имел. Но по молодости в суть плохо вникал. Смелости Петра я, прямо скажу, завидовал. А как дед Кузьма объяснил, оказывается, не в одной смелости дело. И с той поры у меня прямо-таки произошел переворот в мыслях. Ведь когда знаешь, за что идешь, так и силы у тебя прибывает. Вот и теперь: ничего не жаль, только бы победы добиться... Тогда было тоже нелегко, а добились, хотя и с жертвами. Для будущего, для детей наших светлую жизнь отвоевывали.

— Отцы нам пример показали,— сказал новенький.

— Большое дело всегда большой жертвы требует.

Степан Артемьевич замолчал и задумался. Серега Коротков, второй подручный, из ремесленников, не вытерпел:

— Что же ты, Степан Артемьевич, обещал про шапку рассказать и свел на какую-то философию.

— О шапке речь еще впереди,— ответил Степан Артемьевич. — Слушайте дальше. Доложили мы ротному командиру, и он отдал приказ идти в наступление. Хотя белых, действительно, было втрое больше, но мы их выбили сперва из лесу, а потом и из завода. Еще трофеи захватили. Потери, конечно, были и с нашей стороны. Больше всех жалели Петра. Дед Кузьма особенно сокрушался.

— Надо,— говорит,— внучки, найти его тело и похоронить с честью, как бойца и героя революции.

Пошли мы втроем отыскивать тот самый увал, где оставили нашего товарища. Подходим к этому месту и видим, лежит один убитый беляк, подальше: другой, третий.

— Это Петрова работа,— говорит дед Кузьма.

Раздвинул куст, а Петр тут и лежит. Уткнулся лицом в шапку, будто спит. Патронташ пустой, и в подсумках всего одна обойма — последняя. Все тело испрострелено и исколото. Сняли мы фуражки, стоим, как каменные, молчим. Дед Кузьма за всех сказал:

— Прощай, Петр Игнатьич! За товарищей ты жизнь свою драгоценную отдал, за родной Урал, за власть Советскую, народную.

И лицо у него стало мокрое от слез. Тогда Васька внес предложение:

— Разыщем на заводе Петрову жену и папаху ей передадим. Я точно знаю — в ней большие деньги зашиты.

Так мы и сделали. Отнесли тело нашего друга к братской могиле, а сами пошли семьей его разыскивать. Домишко у него стоял на самой окраине. На дворе никакого хозяйственного обзаведения, и в избе пусто — под метелку подмели белые гады. Встретила нас женщина с ребенком на руках. Плачет.

— Товарищи, родные вы наши... Угостить-то вас нечем.

Дед Кузьма начистоту все сразу выложил:

— Мы, гражданочка, не за угощением пришли. Мы принесли вам известие о вашем муже. Он убит в сегодняшнем бою, и похоронят его с честью в братской могиле. Но вы не печальтесь. Был он человеком героической жизни и погиб как герой. И мы за его смерть здорово белым всыпали. А от него вам оставлена память-

ка — вот эта папаха. В ней, между прочим, неизвестный капитал зашит.

Женщина, как услышала о смерти Петра, затряслась, побледнела и даже плакать перестала.

— Спасибо,— говорит,— товарищи... Спасибо, что известили...

Васька в один момент подкладку у папахи распорол...

Вытаскивает пакетик, в тряпицу завернутый, в нем еще конверт, а в том конверте фотография жены с маленьким сынишкой. Ее-то он, наш геройский товарищ, и берег как зеницу ока.

Так вот оно и было.

Степан Артемьевич кончил, и все мы задумались.





И. БЕЛЯЕВ

В СТЕПИ ЗАУРАЛЬСКОЙ

Штыки, как штакетник, щетинились плотно,
Шестнадцать — одним, а другим — шесть десятков,
Бежали в атаку повзводно, поротно
И падали вдруг, как пришлось,— в беспорядке.

Ложились шершавые шрамы шрапнели
В широкой степи, на деревьях дубровы,
А в Шадринске швеи всё шили шинели
Не шелком шуршащим, а нитью суровой.

По кузницам сельским без грохота, звона
Оружье нехитрое тайно ковали;
Шептали молитвы солдатские жены,
И вдовы по мертвым мужьям тосковали.

Минуло то время, суровое время,
Но память о прошлом не канула в воду;
В долгу неоплатном мы все перед теми,
Кто добыл нам счастье, кто пал за свободу!





Н. КУШТУМ

ПОДВИГ

Рассказ

Накануне черных дней

На окраине Киева, в поселке Куреневка, стояла маленькая хата-мазанка, укрывшаяся в глубине вишневого сада. Здесь жил двенадцатилетний Костя Ковальчук вместе с матерью Пелагеей Федоровной. Этой осенью он должен был перейти в шестой класс. Костя мечтал после окончания школы учиться дальше и обязательно на железнодорожного машиниста.

Отец его был одним из лучших машинистов на дороге. Простудившись во время зимней поездки, он умер от крупозного воспаления легких.

Костя не раз слышал, как отец говорил своему закадычному другу токарю Остапу Охрименко:

— Думаю, в меня пойдет хлопец, машинами все интересуется. Как-то взял его в паровозную будку, так, веришь ли, он чуть не прыгал от радости. Еле выпроводил домой, пристал ко мне: «Возьми с собой».

— Что ж, — согласился Остап, — нехай интересуется. Твоя линия правильная.

Невысокий, широкоплечий, Костя выглядел настоящим крепышом. Он был не то годам бойким и смышленным пареньком. После смерти отца, забывая о детских играх, помогал матери по хозяйству. Ведь он уже

не маленький, к тому же единственный мужчина в доме. Расцветал от счастья, слушая похвалы матери:

— Помощничек ты мой! Весь в отца, такой же торопливый и смекалистый. Кем-то ты будешь, когда вырастешь?

Но Костя про себя уже решил, кем он будет. Конечно, машинистом. Это же так интересно!

Но теперь, на исходе июля грозного 1941 года, Костя понял, что все дальше и дальше отодвигается исполнение его мечты. Война подступила вплотную к его родному городу. В тихие вечера уже доносился отдаленный гул артиллерийской канонады. Все чаще фашистские летчики совершали разбойничьи налеты, бомбя Киев. По примеру многих, Ковальчукам следовало бы эвакуироваться, но об этом сейчас и думать было нечего. Вот уже вторую неделю матери нездоровилось. Не мог же Костя уехать один.

Накануне прихода фашистов, вечером, к ним зашел сосед Остап Охрименко. Сбросив с плеч мешок, он присел на краешек кровати.

— Здравствуй, Федоровна. Ну, как ты?

— Плохо, Остап Терентьевич. Никак не могу здоровьем поправиться. То полегчает, а то опять скрутит.

— Надо бы вам эвакуироваться, пока не поздно. А то еще, чего доброго, фашисты замордуют вас тут.

— Что же мне делать?— заплакала женщина.— Ведь я и до вокзала не дойду, а не то что в дальнюю дорогу отправляться.

— А давайте хоть Костю отправим,— предложил сосед.— Сегодня в ночь как раз эшелон уходит. Я его устрою.

— Ой, хорошо бы! — обрадовалась Пелагея Федоровна.

— Никуда я не поеду,— решительно отказался Костя.— Станет маме полегче, тогда мы, если что, в Камышевку уйдем, к тете. А одну я ее не оставляю.

— Так не поедешь?

— Нет!

— Ну что ж, ты, малец, пожалуй, и прав. Авось, как-нибудь обойдется. Я тебе, Федоровна, кое-какой провизии принес. Припрячь. Мне она теперь ни к чему. Сам уйду, старуха со снохой далеко, куда-то на Урал уехали. А вам сгодится.

— Спасибо, Остап Терентьевич!

— А вы, дядя Остап, тоже эвакуируетесь? — спросил Костя.

— Как тебе сказать? — засмеялся Охрименко. — Ухожу, хотя, может быть, и недалеко. Ну, соседка, прощай! Выздоравливай скорее.

— Прощай, Остап Терентьевич, прощай. Может, больше и не свидимся.

— Ну, ну, не плачь. Ты, Костя, береги маму, я на тебя надеюсь... А как только ей полегчает, лучше вам на село перебраться. Спокойнее будет! Ну, будьте здоровы!

Костя вышел проводить дядю Остапа. У самой ка-литки сосед остановился и взял Костю за плечо.

— Давай-ка отойдем в сторонку.

Они сели под деревом на траву. Над садом спустились сумерки. Потёмневшее небо изредка прочерчивали лучи прожектора — воздушные сторожа города.

— Вот что, Костя, дай мне, как пионер, слово сохранить в тайне все, что я скажу тебе.

— Честное пионерское!

— Тише, тише, горячка, — усмехнулся Охрименко. — Ну, ладно. Такое тебе поручение будет... Считай его как важное задание. Чуешь?

— Чую.

— Запомни, если зайдет к тебе один человек...

— А какой он из себя будет?

— Не перебивай, — сердито сказал старик. — Я и сам еще не знаю, какой... Да это тебе пока и знать не к чему.

— А он ночью, наверное, придет?

— Не днем же, не маленький ты, понимать должен.

— Я так и думал, что ночью, раз дело у него будет тайное, — продолжал Костя. — А я ведь сплю один, в маленькой комнатке.

— Ну и что же? — нетерпеливо спросил Охрименко. — Ты, брат, не тужи: у меня времени на разговоры мало.

— Я сейчас, сейчас, — заторопился Костя, испугавшись, что Остап уйдет, не дослушав. — И вот в эту комнатку протянута с улицы проволока, а на конце ее я приделал звоночек. Если ребята хотят позвать меня на рыбалку или еще куда, так они за проволоку дер-

нут, звонок тихонько зазвенит, и я выхожу на улицу. Ясно?

— Куда яснее, — засмеялся Охрименко и погладил Костю по голове. — Молодец, пионер. Толково придумал.

— Верно? — обрадовался Костя.

— Чего вернее. Ну, а теперь слушай. Придет, стало быть, этот человек, вызовет тебя звонком на улицу и спросит: «Не у вас ли остановились богомольцы?» А ты должен ему ответить: «Были, да недавно в лавру¹ ушли». Он тогда скажет: «Я их подожду». А ты ему: «Пожалуйста, проходите!» После этих слов можешь вполне довериться этому человеку и сделай все, что он тебе скажет. Понял?

— Понял!

— Запомнишь?

— Запомню.

— Ну и ладно. И никому ни слова. Слышишь? Даже матери. Пусть это будет только между нами.

— Хорошо, дядя Остап, все сделаю, как надо. Не беспокойтесь.

— Тогда прощай пока!

Охрименко обнял Костю, поцеловал и исчез в темноте.

«Сбереги знамя»

После тяжелых боев Красная Армия оставила Киев. В город вошли оккупанты. Кругом пылали кварталы. Центральная улица, Крещатик, была превращена в развалины. Сказочно красив был Крещатик в недавние мирные дни. Весь в огнях, в сверкающих рекламках, наполненный ароматом южных цветов, веселой музыкой и многоголосым говором, Крещатик был любимой улицей киевлян. А сейчас здесь сиротливо торчат трубы и лестничные переплеты. На одной из площадей висят трупы с табличкой на груди «коммунист». Резкий ветер поднимает красные тучи пыли, по улицам непрерывно рыщут патрули. То и дело слышатся автоматные очереди и грубая чужеземная брань.

В Куреневке разместились пехотная часть. Фаши-

¹ Лавра — монастырь.

сты забирали у жителей ценные вещи, резали скот и птицу. Заняли все большие здания, в клубе устроили конюшню. Солдаты выгоняли хозяев из хат в сарай и бани. У Ковальчуков, к счастью, никто не поселился, — так мала была их старая хатенка.

Вечером Пелагея Федоровна сказала сыну:

— Костенька, спрячь-ка ты все, что получше, куда-нибудь. А то неровен час, нагрянут и заберут наше добро.

Костя вырыл в огороде глубокую яму и спрятал в нее наиболее ценные вещи.

Неожиданно тишину разбудили крики и выстрелы. Стреляли как будто в соседней улице. Затем все стихло.

И вдруг при слабом свете луны Костя увидел, как какой-то человек перелез через плетень и тяжело упал на землю. Он попытался встать, снова упал и простонал:

— Не могу. Что же делать?

«Русский», — подумал Костя. Пересиливая страх, он осторожно подошел к лежащему. Тот приподнялся.

— Кто? Не подходи — стрелять буду!

— Я, дяденька...

— Ты кто?

— Здешний. Идемте в хату.

— Я тяжело ранен... За мной гонятся... Я командир Красной Армии. А у меня... Эх! Да можно ли тебе довериться-то?

— Честное пионерское, дяденька. Я никому ни слова.

Издали донеслись голоса. Раненый схватил Костю за руку и торопливо зашептал:

— Со мной знамя полка. Оно не должно попасть в руки врагу... Это будет... большой позор... и несчастье. Спрячь... сбереги.

Совсем близко раздался топот ног. Раненый протянул Косте сверток.

— Беги!

Костя кинулся в хату и спрятал сверток в чуланчике под ящик с картофелем. В огороде в это время слышался громкий говор. Заглушая шум голосов, советский командир крикнул:

— Думаете взять меня? Советские люди не сдают-ся! Получайте, гады!

Грянул оглушительный взрыв. Затем все стихло. Костя, дрожа, как от озноба, прислонился к стене. Мать с тревогой в голосе спросила:

— Ой, что там такое? Страшно-то как!

Но Костя ничего не успел ответить. Дверь распахнулась, и в хату ворвались гитлеровцы с автоматами наперевес. Один из них выстрелил. Звякнуло разбитое стекло. Мать лишилась сознания.

— Кто есть польшевик?! — заорал долговязый солдат, потрясая автоматом.

— Никого здесь нет, — ответил Костя, щурясь от яркого света фонаря. — Только больная мама.

— А чем она больна?

Низенький пухлый человек взял Костю за руку и устремил на него пронзительные глазки.

— Не знаю. Говорят, тиф, — пробормотал Костя.

Толстяк что-то быстро сказал солдатам. Те поспешно отошли от кровати.

— А здесь что? — и толстяк ударом ноги открыл дверь чуланчика.

Костя замер. «Сейчас найдут знамя, и конец».

— Ничего нет, — сказал толстяк, выходя из чулана. Мимоходом он взял со стола будильник, повертел его в руках и сунул в карман.

— Пошли! — махнул он рукой.

Хата опустела.

Костя в оцепенении стоял посередине комнаты. В его памяти снова, как наяву, проходило все пережитое.

Начинало светать. Костя так и не прилег в эту ночь; он мучительно думал об одном: куда бы лучше спрятать знамя. Ведь он же дал клятву герою-командиру. А вдруг знамя найдут? Что он скажет нашим, когда они вернутся? Хотел посоветоваться с матерью, но вспомнил строгий наказ командира: никому ни слова!

Вынув сверток из-под ящика, Костя бережно развернул его. Солнце пробивалось сквозь щели чулана. Словно огонь вспыхнул — так ярко сияло знамя, знамя, доверенное ему, пионеру Косте.

За окном послышалась чужая, незнакомая речь: фашисты! Костя заметался по чулану в поисках укромного уголка. Наконец, спрятал знамя за доски обшивки. Голоса смолкли. Костя выглянул на улицу. Гитле-

ровцы вошли в хату Охрименко. Минут через десять они появились, нагруженные узлами. Один из них — тот самый, долговязый, что ночью стрелял в хате, — на вытянутых руках нес большой пузатый самовар, медленно вышагивая длинными ногами, чтобы не споткнуться и не упасть. У второго в руках — гусь со свернутой шеей, на третьем поверх мундира — новое пальто Охрименко, купленное им зимой ко дню рождения.

Костя с ненавистью смотрел им вслед.

А в ушах неотступно звучал наказ командира: «Спрячь... сбереги знамя!»

Ночной гость

Вечером Костя решил попытаться спрятать знамя где-нибудь в лесу. Он старательно свернул его и уложил в заплечный холщовый мешок.

Для отвода глаз взял кнут и кошелку. «Если станут спрашивать, скажу, что ищу корову», — думал он.

Сначала все шло хорошо. Ему удалось незаметно выйти из огорода и сквозь кустарники пробраться к оврагу. Этот широкий и глубокий овраг тянулся до самого леса. Не раз Костя с товарищами играл в нем, подражая смелым разведчикам, выслеживал воображаемых врагов. Здесь ему были знакомы каждый куст, каждая тропинка. Но едва он вылез из оврага на опушку леса, как вдруг раздался грозный окрик:

— Хальт!

Дорогу Косте преградил огромный рыжий солдат с автоматом.

— Дяденька, пустите. Я корову ищу. Где-то в лесу потерялась.

Солдат заулыбался.

— Корофф! Зер гут! Млеко. Шпиг. И, айн минутен, пиф-паф, — он выстрелил в воздух и оглушительно захохотал. А затем стал подталкивать Костю автоматом, повторяя:

— Шнелль, малшик, шнелль! Млеко. Шпиг. Пиф-паф!

Костя понял, что гитлеровец хочет вместе с ним искать несуществующую корову, в надежде поживиться молоком и мясом. «Как же теперь быть? — размыш-

лял Костя, идя по лесу. — А что, если он вздумает обыскать меня? Надо бежать!» Шаг за шагом они углублялись в низину, поросшую густым, непроходимым кустарником. И тут Костя сообразил, что ему делать. С криком «Вот она! Вот она!» он ринулся в глубину чащи. Солдат бросился было за ним, но запнулся и растянулся во весь свой огромный рост, уткнувшись лицом в зеленую, заплесневелую болотную тину. Пока он, отплеываясь и чертыхаясь, выбирался из кустов, Костя уже был далеко.

В бессильной ярости фашист начал палить из автомата в том направлении, куда убежал Костя, но, конечно, бесполезно. А Костя кружным путем вернулся домой, огорченный неудачей. Снова пришлось прятать знамя в чулане. А это, он понимал, убежище ненадежное.

Ночью, после пережитых волнений, Костя крепко заснул в своей каморке. Ему снилось, что он идет по густому лесу неизвестно зачем, но по очень важному делу. А впереди верхом на пестрой корове едет рыжий солдат с автоматом и все время покрикивает, оборачивая к нему свою заплывшую рожу:

— Шнелль, швайн малшик! Шнелль!

На шее у коровы привязан колокольчик. Как только она споткнется или наклонится, раздается тонкий, дребезжащий звон.

Костя проснулся. Он явственно услышал тихий звонок. «Ведь это же звонят. Ко мне», — подумал он. Накинул пиджак и вышел из хаты. По ту сторону сада кто-то негромко кашлянул. Костя приоткрыл калитку и выглянул на улицу. В небе тускло светила луна. Возле хаты, плотно прижавшись к изгороди, кто-то стоял. Приглядевшись, мальчик ахнул от удивления: «Да ведь это же наш учитель географии!»

— Здравствуйте, Назар Степанович! — радостно проговорил Костя и сделал шаг к нему.

Но тот, будто не узнавая Костю, остановил его легким движением руки и негромко спросил, не отходя от изгороди:

— Скажите, не у вас ли остановились богомольцы?

— Какие бого... — начал было Костя, но тут же осекся. Он вспомнил наказ Остапа Охрименко и после минутной паузы ответил:

— Были, да недавно в лавру ушли.

— Я их подожду.

— Пожалуйста, проходите.

Назар Степанович молча последовал за Костей. Это был высокий старик в зеленой шляпе и сером плаще.

Когда они углубились подалее в кусты, он остановился и пожал мальчику руку.

— Ну вот, теперь здравствуй, Костенька!

— Назар Степанович, да как же...

— А вот так. Вопросов не задавай, это мое, учительское, дело спрашивать. Ближе к делу. Есть тебе задание. Готов его выполнять?

— Всегда готов!

— Так вот. Завтра пойдешь в Камышевку... Дорогу туда знаешь?

— Знаю. Там наша тетя живет.

— И того лучше. Разыщи там кузнеца Панаса Карповича. Его там все знают.

— Да я и сам его хорошо знаю.

— Опять хорошо, — обрадовался Назар Степанович. — Тогда постарайся незаметно шепнуть ему всего лишь четыре слова: «Дядя приглашает на вареники».

— И все? — разочарованно спросил Костя.

— Все... Не думай, что это пустяки. Понятно?

— Понятно, Назар Степанович.

— А коли понятно, тогда будь здоров!

И Назар Степанович неспешной старицовой походкой ушел, кивнув Косте на прощанье.

Утром за завтраком Костя сказал матери:

— Мама, я сегодня хочу сходить в Камышевку.

— Зачем это? — удивилась Пелагея Федоровна. — Да еще в такое время.

— Потом еще хуже будет. Я думаю, пока не поздно, надо купить там кое-что из продуктов. Оставить их можно на время там же, у тети. Как ты думаешь?

— Может, оно и так, — заколебалась мать. — Только боюсь я за тебя.

— Не бойся. Что мне сделают? С маленьких спросу меньше. Скажу, что иду к тете, и все тут.

— Ну, смотри, — со вздохом согласилась мать. — Ты ведь в доме давно уже за большака. — Она вытерла концом платка набежавшие слезы.

Пелагея Федоровна уже привыкла смотреть на сы-

на почти как на взрослого, как на своего незаменимого помощника и опору. Сын платил ей за это нежной любовью и заботой.

Ему очень хотелось откровенно рассказать матери, зачем на самом деле он идет в село, но Костя все же сдержался. Ведь это была не только его тайна. И недаром же дядя Остап наказывал ему держать язык за зубами. Вот и о знамени он тоже не имеет права рассказывать.

Когда Костя пошел в Камышевку, на улице его остановил поселковый полицей.

— Куда, мальчик, идешь?

— В Камышевку, к тете.

— Вот хорошо! Снеси-ка письмо тамошнему старосте. А то у меня других дел много. Да смотри не потеряй.

— Хорошо, отнесу,— обрадовался Костя. Ему такое поручение было кстати. С письмом полиция его никто не задержит.

Придя в Камышевку, он первым делом вручил старосте письмо, а потом явился к тете. Когда же стемнело, направился к кузнецу Панасу Карповичу.

Тот встретил его сначала недоверчиво и даже неприязненно. Ему уже сказали, что Костя передал какое-то письмо старосте, и это насторожило кузнеца. Но мальчик, улучив минуту, когда поблизости никого не было, шепнул ему четыре условных слова:

— Дядя приглашает на вареники.

— Ладно, — буркнул кузнец и скупое улыбнулся.

Костя вернулся домой гордый и радостный. Шутка ли, он помогает бороться с фашистами, он выполнил первое важное задание!

Тайник

Стояла ясная, погожая осень. Под ногами шуршали золотые листья, по утрам уже подмораживало. Чувствовалось скорое приближение зимы.

Нынче школы в Киеве не открылись. На улицах не звенели детские голоса, не видно было веселых и шумных стаяк детворы. Не распахивались больше гостеприимные двери, не вызывали к доске строгие, но

справедливые педагоги. Фашисты чувствовали себя в городе полными хозяевами. Если судить по их самодовольным лицам, по гордой походке, можно было подумать, что они здесь обосновались прочно и надолго. Костя не верил этому. Он помнил прощальные слова старого Остапа Охрименко:

— Не горюйте. Мы еще вернемся!

Но Красная Армия отступила далеко на восток, где вела упорные оборонительные бои, партизаны скрывались где-то в лесах, а здесь на каждом шагу только и встречались ненавистные подлые завоеватели.

Однажды в воскресное утро мать послала Костю продать отцовское зимнее пальто и купить чего-нибудь съестного. С продовольствием в городе становилось все хуже и хуже.

На Центральном рынке было многолюдно. Бойко торговали ларьки и лавки откуда-то появившихся частников. Повсюду шныряли полицаи, шпики и гестаповцы, высматривая и выслеживая подозрительных. То тут, то там то и дело возникали перебранки и настоящие свалки. Раздавались пронзительные свистки, а иногда выстрелы. Вот мимо Кости провели рабочего со скрученными назад руками.

— Господи, боже ты мой, — прошептала стоявшая рядом старушка. — Опять повели. И когда только конец этому будет?

— Что ты сказала? — грозно спросил ее незаметно подошедший полицейский. — Чем недовольна?

— Да ничего я, мил человек, не говорю, — испуганно пролепетала старушка. — Рукавички вот продаю, сама связала.

И она поспешно юркнула в толпу.

Костя долго ходил по рынку, тщетно стараясь продать пальто. Продавцов было больше, чем покупателей. Дешево, за смехотворно низкую цену, какую ему предлагали, отдавать не хотелось. «Похожу еще часок, может, все-таки продам», — утешал он себя.

— Сколько просите за пальто?

Костя обернулся. Перед ним в неизменном плаще и шляпе стоял учитель Назар Степанович. Беря у Кости из рук пальто, старик тихо шепнул:

— Жди сегодня богомольцев.

Тщательно, с видом завязтого покупателя, он рассматривал пальто, а затем, возвращая его, сказал с притворным вздохом:

— Нет, не годится. И цена неподходящая, и пальто мне не по росту.

— А сколько он запрашивает? — спросил высоченный мужчина, явный перекупщик.

Он выхватил у Кости пальто, небрежно осмотрел его и снова спросил:

— Сколько?

Назар Степанович тем временем уже исчез в толпе. А Костя, взволнованный неожиданной встречей, не стал особенно запрашивать и, сбавив чуть не половину намеченной цены, быстро продал пальто перекупщику и поспешил домой.

Матери дома не оказалось. Соседка на его расспросы сообщила:

— Мать велела тебе одному тут хозяйновать. Она денька на три в Камышевку отлучилась. Сестра за ней оттуда приходила, просила помочь ей по хозяйству управиться. Картошку перебрать, капусту засолить и еще что-то. Ты, хлопчик, не беспокойся — я за тобой пригляжу.

«Вот и хорошо», — подумал Костя, а вслух сказал:

— Что за мной глядеть, я и сам не маленький.

Глубокой ночью раздался тихий звонок. Костя на этот раз не спал, ожидая Назара Степановича. Он быстро выскочил в садик и приоткрыл калитку. Возле нее стоял неизвестный человек высокого роста. Костя в нерешительности сделал шаг назад.

— Скажи, мальчик, — тихо заговорил незнакомец, — не у вас ли остановились богомольцы?

«Свой», — подумал Костя и так же тихо ответил:

— Были, да недавно в лавру ушли.

— Я их подожду.

— Пожалуйста, проходите.

Костя провел незнакомца в свою каморку. Он хотел зажечь коптилку, но незнакомец запротестовал:

— Не надо. Без огня спокойнее. А разве к вам никто сегодня не приходил?

— Нет, вы первый.

— Так... — задумчиво протянул незнакомец. — Вот

что, пойдика ты на улицу и покарауль. Тут один человек должен подойти. Очень он мне нужен. А если что подозрительное заметишь, позвони. Тут есть другой выход?

— Есть. Через огород к оврагу.

— Хорошо. Иди!

Почти час простоял Костя на улице. Поселок окутал густой туман. Было сыро и прохладно. Костя хотел было вернуться в хату, чтобы одеться потеплее, но в это время увидел торопливо подходившего к хате человека. Испуганный мальчик хотел было уже дернуть проволоку, но услышал прерывистый шепот:

— Костя? Ты?

Это был Назар Степанович. Он тяжело дышал, держась за сердце. Против обыкновения, даже не обменялся условным паролем, а быстро спросил:

— Гость у вас?

— У нас.

— А мать дома?

— Нет, она в Камышевке, у тети.

— Вызови гостя сюда, да скорее.

Назар Степанович беспокойно озирался по сторонам. Видно было, что он чего-то опасался. Костя быстро привел незнакомца.

— Беда! — тревожно заговорил старый учитель. — Явка на Голосеевке провалилась. Я чудом спасся. Видел, как увели Фому и Почтаря.

— Что же делать?

— Только без паники! — строго оборвал старик. — В Камышевку тебе сейчас идти нельзя. Опасно, да и другие дела тебе предстоят.

— А как же встреча?

— Это моя забота. Дай сюда пакет.

Незнакомец протянул ему серый конверт.

— А теперь иди. Предупреди наших. Да берегись: в городе идут облавы. Скажешь, сбор в роще, во вторник. Иди, не мешкай.

Незнакомец исчез в тумане. Костю бил озноб. Назар Степанович заметил это и спросил:

— Боязно?

— Нет. Холодно. Пойдемте в хату.

В каморке, не зажигая света, они сели на скамью.

— Слышал, какая беда стряслась? — заговорил учи-

тель. — Конечно, далеко не все пропало, но дело усложнилось. Нам надо верного человека в Камышевку послать, а взрослому сейчас не пройти — везде усиленные патрули выставлены.

— А если я? — несмело предложил Костя.

— Вот и я то же думаю, что ты бы легче прошел. Какой с тебя спрос? Иду, мол, к тете — и весь скажут.

— Я так и скажу.

— А не побоишься?

— Нет, Назар Степанович, не побоюсь. Сейчас идти или как?

— Нет, не сейчас, а днем. В том-то вся и штука. Ночью тебя обязательно задержат, а днем ты не вызовешь подозрений. Завтра после обеда и пойдешь.

— Пакет понесу? Да? — догадался Костя.

— Думал я пакет передать, да теперь это рискованно. На словах передашь, что надо. Только слушай внимательно и запомни.

— Не бойтесь, Назар Степанович, все запомню.

— Так вот. Пойдешь снова к Панасу Карповичу. Там встретишь одного человека и скажешь ему вот что. Первое — оружие для них спрятано в том же лесу у сосны три креста. Пусть заберут. Второе — явка провалилась. Людей пока посылать в нашу группу нельзя, известим, когда можно будет. И третье, самое главное, — планы, он знает какие, достали и на днях придем в условленное место с верным человеком. Скажи пока только: подземный завод пусть ищут на Зеленой горе.

Костя внимательно слушал, стараясь не пропустить ни слова.

— Запомнил?

— Да.

— А ну, повтори.

Костя слово в слово повторил. Назар Степанович удовлетворенно кивнул головой и встал со скамьи.

— Я пошел. Будь осторожен, Костенька. И помни: все мы делаем большое дело для Родины. Она этого никогда не забудет. Прощай!

Он поцеловал Костю и быстро ушел.

Мальчик почти не спал эту ночь. Наверное, раз десять, не меньше, повторил все, что ему было велено пе-

редать, чтобы лучше запомнить. Под утро неожиданная мысль окончательно отогнала сон. «А как же знамя? Что, если без меня придут с обыском и найдут его? А если закопать его в огороде? Положить знамя в отцовский сундучок и... Только вот в каком месте закопать?»

Начинало светать. Часа через два выглянет скупое солнце. Костя ходил по огороду, выбирая место для тайника. Но все не находил подходящего.

Громкое карканье прервало его раздумье. На срубе колодца, в дальнем углу огорода, сидели две вороны. «Ишь, не спится им», — подумал Костя, и вдруг его словно кто-то подтолкнул. А что если?.. Колодец давно уже пересох, вода из него ушла. Мать собиралась засыпать его, но все не решалась. А вдруг вода снова появится. Охрименко не раз по-ученому доказывал ей, что воды больше не будет, но мать не верила этому. Костя радостно засмеялся. О чем он думал раньше? Ведь это же самый настоящий тайник. Дома никого нет. Значит, можно спокойно и незаметно сделать то, что задумал. Прежде всего он решил осмотреть колодец. Притащив лестницу, примерил ее. Она оказалась в самую пору и даже немного не доставала доверху. Дно, как он и думал, было сухим. Теперь надо выкопать на дне яму и... но тут ему пришла счастливая мысль. Не лучше ли устроить тайник посередине? Ведь если у кого-нибудь и возникнет подозрение, то искать-то станут обязательно на дне колодца.

И Костя принялся за дело. Завесив окно, при тусклом свете ночника достал драгоценное знамя из-за обшивки, развернул и, как бы прощаясь с ним надолго, поцеловал его. Затем завернул знамя в чистую холстину, уложил сверток в просмоленный плотный брезентовый мешок, а мешок в железный ящик, оставшийся от отца-железнодорожника.

Захватив кирку, лопату и топор, поспешил в огород. Осмотрелся кругом. Никого нет, тишина. Спустился по лестнице до середины колодца, отодрал доску обшивки и начал выкапывать боковой тайник. Глина подавалась легко. Не прошло и часа, как углубление было готово. Костя втиснул туда заветный ящик. Приколотил обратно ту же старую доску — и дело сделано. Теперь знамя будет лежать в надежном месте. Вряд ли кому придет

в голову искать его здесь. Свежую глину Костя тщательно собрал в ведро и закопал в огороде. А в полдень отправился в Камышевку — выполнять задание старого учителя.

Страшная весть

Как и предполагал Назар Степанович, Косте без труда удалось под вечер пробраться в Камышевку. Патрульный на окраине Куреневки спросил его только, куда и зачем он идет, дал подзатыльник и отпустил. И в самом деле, в чем он мог заподозрить мальчика в рваном пальто, так жалобно просившего пропустить его к больной матери?

Мать и обрадовалась и встревожилась, увидев сына.

— Ты зачем? Все ли у нас дома ладно?

— Все в порядке. Хату я закрыл на замок. Скучно мне там одному. Я тут с тобой поживу. Может, помогу чем.

— Пусть поживет, — приветливо сказала тетя Матрена Федоровна. — Одному, конечно, там жутковато.

В этот вечер, чтобы не вызвать подозрений, Костя не пошел выполнять поручение. А с утра принялся помогать по хозяйству. Подмел во дворе, наколот дров. Словом, провел весь день в хлопотах. После обеда тетя, словно угадав его желание, попросила:

— Сходи-ка, Костенька, к кузнецу. Чайник возьми у него, починил он его уж, наверно. Неделю, как отдала.

Костя тут же, не мешкая, пошел к Панасу Карповичу. В кузнице никого, кроме хозяина, не было. Кузнец, весь черный от сажи и копоти, возился у горна. Костя окликнул его:

— Дяденька Панас, тетя меня за чайником послала. Готов он?

— Готов, — ответил Панас Карпович и, понизив голос, спросил:

— По делу пришел?

— Да.

— Чайничек-то готов, — неестественно громко заговорил Панас Карпович, — только он у меня дома лежит. Приходи за ним ко мне, но попозднее, когда я здесь управлюсь.

В дверях кузницы стоял полицай и подозрительно смотрел на Костю.

— Что за мальчик? Откуда?

— А это племянник Матрены Федоровны, — спокойно ответил кузнец. — С матерью он тут.

— А-а, — неопределенно промышчал полицай и протянул ему ружье. — Тут вот затвор поправить надо. Сумеешь?

— Чего не сумеешь — дело знакомое. Поохотиться собираешься? — спросил Панас Карпович.

— Да, надо кое за кем поохотиться, — криво усмехнулся полицай, — поправь к завтраму, я зайду.

Поздно вечером Костя пришел к кузнецу на дом. Панас Карпович встретил его во дворе и повел не в хату, а на огород. На недоуменный взгляд Кости буркнул односложно:

— Иди за мной. Там ждут.

В огороде возле плетня притулилась низенькая баня. Панас Карпович легонько подтолкнул Костю, а сам остался снаружи на карауле.

Открыв дверь, Костя в замешательстве остановился на пороге. На лавке возле крохотного оконца сидел... Остап Охрименко.

— Затвори дверь, дует, — ласково сказал старик.

Костя прижался к его широкому плечу. Охрименко крепко обнял мальчика.

— Здравствуй, герой мой милый. Что, соскучился по старому?

— Соскучился, дядя Остап, — тихо ответил Костя. — Ой, как хорошо, что вы живые!

— А что мне сделается — я двужильный, — пошутил Охрименко и тут же переменял тон: — Ну, рассказывай, с чем пришел.

Костя сбивчиво начал пересказывать то, что велел передать Назар Степанович. Старый токарь терпеливо, не перебивая, выслушал, а затем спросил:

— Все?

— Все, дядя Остап.

— Гм, — недовольно крикнул тот. — Как же так? Странно. А он ничего не говорил тебе насчет чертей... или, как бы тебе сказать, планов там всяких?

— Ой, — спохватился Костя, — говорил, говорил. Как же это я забыл? Сейчас вспомню. Ага! Он велел

сказать, что планы какие-то они достали и на днях пришлют, куда, вы, говорит, знаете, с надежным человеком. И еще,— Костя раздельно, отчетливо произнес:— Подземный завод, сказал, пусть ищут на Зеленой горе.

— Ну вот, это — другое дело, — повеселел Охрименко. — Добре. А то мне без этих слов и возвращаться не велено.

— Дядя Остап, а что, скоро наши обратно придут?

— Скоро не скоро, Костенька, а что выметут фашистов с нашей земли — это уж дело верное.

— Эх, скорей бы, — вздохнул Костя.

— Ну, ничего, потерпи трошки. — Он встал, чуть не стукнувшись головой о низкий потолок, и озабоченно сказал:

— Мне пора. Вести ты принес очень важные, и я скоренько должен доставить их, куда следует. А тебе, дружок, придется пожить здесь недельку. Жди от меня новостей для городских товарищей. А потом шепнешь их кому надо.

...Больше недели пришлось прожить Косте в деревне у тетки в ожидании новостей от старого Охрименко. Мать уже вернулась в Курневку, а он все еще ждал. Наконец, как-то вечером, улучив удобную минуту, Панас Карпович сказал ему:

— Вертайся до дому. И передай там спасибо за вести. Чуешь?

— Чую, — ответил Костя.

— Ну, бувай здоров. Добрый ты хлопец!

В Курневке Костю ждала страшная весть. Мать встретила его со слезами.

— Костенька, какая беда-то у нас стряслась.

— Что такое? — испуганно спросил сын.

— Забрали гестапы проклятые человек двадцать и всех повесили. И с ними, — боже ты мой, кто бы мог подумать? — сказнили нашего учителя Назара Степановича. Да ведь он в жизни никого не обидел, добрейшей души человек был.

Костя навзрыд заплакал.

А мать, прерывая свой рассказ всхлипываниями, продолжала:

— Утром согнали нас на площадь. А там уже виселицы наготове, — она содрогнулась от страха и жалости. — И вот привели их, сердечных, измученных, изби-

тых, окровавленных. А впереди всех, опираясь на палочку, идет наш Назар Степанович. Стали на него надевать петлю, а он оттолкнул палача и громко так крикнул нам: «Прощайте, люди советские! Не бойтесь злодеев, бейте их без жалости!..» Тут его схватили и... — мать, не закончив свой рассказ, забилась в неудержимых рыданиях.

А Костя, словно окаменев, сидел у стола и не замечал, как крупные слезы одна за другой падали на скатерть.

Всю жизнь будет помнить он своего любимого учителя, отдавшего жизнь за Родину. И никогда не уйдут из памяти его слова:

«Помни: все мы делаем большое дело для Родины. Она этого никогда не забудет. Прощай!»

— Прощай! — прошептал Костя и поднял руку, как бы давая клятву быть стойким и смелым пионером-ленинцем.

Провокация

Медленно тянулись недели и месяцы в городе, захваченном чужеземцами. Трудно жилось Ковальчукам. Терпели нужду, голод и холод и ждали, ждали, когда ж вернутся советские войска, когда они прогонят ненавистных гитлеровцев с украинской земли. Но ничто еще не предвещало близкого наступления этого желанного дня. Бои шли где-то далеко, радио хвасталось победами гитлеровской армии и уверяло, что в ближайшие дни падет Москва, и тогда Россия покорится и сдастся на милость победителей. Костя не верил этому, он помнил, как убежденно сказал ему однажды покойный Назар Степанович:

— Не видать фашистам Москвы.

После казни Назара Степановича и его товарищей к Косте никто больше не приходил. И от Остапа Охрименко не было никаких вестей. Мать, вернувшаяся на днях из Камышевки, сообщила:

— Кузнец-то, Панас Карпович, оказывается, тайную работу вел. Вот тебе и нелюдим, и кто бы подумал!

— А что с ним? — заволновался Костя.

— С ним-то? — переспросила мать. — А ничего, слава богу! Хитрющий старик оказался. Сказывают, пришли ночью гестаповцы, а его и след простыл. Какой-то хороший человек предупредил, должно быть.

Костя был очень рад, что старому кузнецу удалось избежать гибели. Но он-то теперь остался совсем один. И тут же мальчик подумал: «Нет, я не один. Со мной знамя, которое я должен сберечь». Костя понял, что он как бы остался на ответственном посту с важным заданием.

Лето было на исходе. Скоро наступит осень, начнутся дожди, а потом и зима нагрянет. Тоскливая пора, тяжелое время. Костя сидел на скамье под вишней, глубоко задумавшись.

Стукнула калитка, и в садик вбежал запыхавшийся соседский мальчик Митя.

— Смотри-ка, смотри! — и он протянул Косте отпечатанную в типографии листовку на русском и украинском языках. — У нас в Куреневке школа открывается. Понимаешь?

Костя внимательно прочитал листовку. В ней извещалось, что с согласия властей в городе открываются школы для обучения украинскому и русскому языкам; дети, желающие учиться, должны явиться на регистрацию 1 сентября 1942 года к 5 часам дня. Далее сообщались адреса школ, куда следовало собираться. В числе прочих был указан и адрес Куреневской школы.

— Ну, что скажешь, Костя? — радостно заговорил Митя. — Здорово, а? Учиться будем, понимаешь?

— Брехня все это, наверно, — не очень уверенно возразил Костя.

— А мы сходим посмотрим, — уговаривал Митя.

— Сходить можно, — согласился Костя.

Наступило первое сентября. Мать с утра хлопотала, собирая Костю в школу. Достала из подполья припрятанные учебники.

— Книжки возьмешь, Костенька?

Костя подумал и решительно ответил:

— Нет. Учебники-то ведь советские. За них еще влетит, пожалуй. Да сегодня, наверно, занятий не будет, а только запишут по классам. Пойду просто так, без всего.

На улице Костю уже поджидал Митя. Они вместе направились к школе, которая была расположена в центре поселка. Обгоняя их и весело переговариваясь, туда же спешили мальчики и девочки. Митя торопил, но Косте почему-то не очень хотелось идти в школу, и он не спешил. Ему не верилось, чтобы фашисты всерьез собирались заняться образованием советских детей.

На широком школьном дворе толпились мальчики и девочки. Костя осмотрелся. Никого из знакомых учителей и учительниц не было видно. По двору сновали какие-то неизвестные люди в штатском, у ворот стояло до десятка вооруженных полицейских. Медленно тянулось время. Самые нетерпеливые из ребят начали громко кричать:

— Чего нас здесь держат?

— Где директор?

— Начинайте, а то уйдем.

Несколько ребят решительно двинулись к воротам. Костя присоединился к ним. Но полицейские преградили дорогу.

— Назад! Назад! Не велено.

У Кости заняло сердце от какого-то неясного предчувствия. «Что они хотят с нами делать?»

В это время на школьное крыльцо поднялся седобородый старик в старомодном сюртуке. «Наверно, директор», — подумал Костя. Затем вынесли столик и стулья. Невзрачный чахлый писарь сел за столик и развернул тетрадь. Старик поднял руку.

— Дети! — заговорил он хриловатым голосом. — Сейчас мы вас запишем в школьный журнал, затем вы получите обмундирование и завтра с утра — с богом за учебу. Начинайте! — махнул он рукой писарю, а сам отошел в сторону, утирая платком вспотевший лоб.

Началась регистрация. Писарь у каждого спрашивал имя и фамилию, адрес, сведения о родителях и в каком классе учился. Прошел час, другой, третий, а опрос все продолжался. К удивлению Кости, без всяких возражений записали даже двух еврейских мальчиков. «Как же так? — подумал он. — То они евреев отовсюду гонят, а этих приняли. Тут что-то не то, не настоящее». Но, в чем дело, все еще не мог догадаться.

Когда очередь дошла до него, он, неожиданно для себя, на вопрос писаря «Фамилия?» — ответил:

— Бондаренко Константию.

Удивленный Митя дернул друга за рукав. Но Костя только кивнул ему, дескать, подожди, потом узнаешь. Недоумевающий Митя отошел в сторону. Он даже пропустил свою очередь, чтобы расспросить товарища, почему он сказал неправду. Сообщив такие же вымышленные сведения и на другие вопросы, Костя облегченно вздохнул: «Так будет лучше. Кто их знает, для чего они все это записывают».

— Зачем ты соврал? — шепотом спросил Митя.

— А так, на всякий случай, — также шепотом ответил Костя. — Тут что-то нечисто. Может, нас вовсе и не в школу записывают.

— А куда?

— Не знаю. Только лучше бы и ты чужую фамилию сказал.

Митя задумался, но тут же нашел выход.

— А знаешь, Костя, что? Я и записываться не стану. Может, не заметят, — вон ведь нас сколько тут.

— Верно, — согласился Костя, — может, сойдет. Отойдем-ка подальше, в сторону.

Перепись тем временем продолжалась. Приближались уже сумерки.

Незадолго до конца регистрации Костя заметил, что директор поминутно, с каким-то нетерпением поглядывает на ворота, около которых неподвижно стояли полицейские.

Внезапно с улицы послышался шум подъезжающих машин и громкая команда. Ворота распахнулись, и во двор вошла группа солдат во главе с офицером.

— Построиться по четырех! — на ломаном русском языке приказал офицер.

Среди ребят произошло замешательство. Высокий русоволосый паренек выступил вперед и спросил:

— А куда вы нас поведете?

— Мольшать! — заорал офицер.

С крыльца громко заговорил «директор»:

— Дети! Вы сейчас поедете на станицу. Там вам прямо из вагонов выдадут школьное обмундирование единого образца.

— А почему конвоем?! — выкрикнул тот же паренек.

— Это для порядка, — ответил директор. — Так приказал господин бургомистр.

«Ой, что-то тут не то», — тоскливо подумал Костя. И вдруг его осенила догадка: «Да уж не в Германию ли нас угоняют?» И он вспомнил, что в городе уже ходили слухи об этом. Костя огляделся по сторонам. Убежать было невозможно. «И зачем только я послушал Митю?»

Ребят построили и вывели на улицу. Подталкивая автоматами, их быстро посадили в грузовики и повезли на вокзал.

Костя оказался рядом с Митей. Стиснул ему плечо:

— Митя, уж не в Германию ли нас увозят?

— Ой, мама! — вскрикнул Митя.

— Надо удирать.

— А как?

В это время грузовики повернули влево и по перелуку выехали в поле.

— Смотри, смотри, — шепнул Костя, — а ведь они нас не на вокзал везут, а к разъезду, должно быть. Видишь?

Митя присмотрелся. Действительно, вокзал остался в стороне. Костя торопливо шепнул:

— Как будет овраг, прыгнем через борт — и будь, что будет.

Митя согласно кивнул головой.

Заметно темнело. Дорога шла по перелеску, постепенно поднималась на пригорок. Вот и овраг.

— Прыгай! — шепнул Костя и мгновенно перемахнул через борт.

Митя тоже прыгнул, но неудачно. У него подвернулась нога, и он упал, ударившись головой о камень. Костя наклонился над ним — мальчик был неподвижен. В это время конвой открыл стрельбу. Надо спасаться! Кубарем скатываясь в овраг, Костя услышал крики и беспорядочные выстрелы. Рокот машин затих, наверху, возле дороги, засветились огоньки ручных фонариков. «Погоня», — догадался Костя и быстро побежал сквозь кусты.

Постепенно крики становились все глуше. Костя остановился, чтобы приглядеться, в какую же сторону ему идти. Но в темноте выбрать правильное направление было трудно. Он решил переждать в кустах до поры, когда чуть-чуть посветлеет. «Ах, Митя, Митя, — горестно думал мальчик. — Как же ты это так?»

На рассвете Костя пробрался домой. Встревоженная мать всю ночь провела без сна. Увидев Костю, она заплакала от радости и крепко прижала его к груди. Она уже узнала, что этой ночью оккупанты отправили с переезда эшелон с детьми в Германию, и думала, что сына ей больше не видать.

Утром к ним зашла заплаканная соседка Марья Тимофеевна, мать Мити. Костя рассказал ей все, как было. Она обшарила все кусты в овраге и возле него, но тщетно. Мити не было, видимо, его увезли на далекую каторгу.

Было решено, что Костя, на всякий случай, некоторое время будет прятаться в погребе, на огороде. Мать тут же переиесла туда постель, и Костя переселился в свое убежище. Но прошла неделя, другая, а их никто не тревожил. «Это потому, — решил Костя, — что я обманул их. Как хорошо я придумал!»

Когда наступила зима, Костя перебрался в хату. И опять потянулись длинные, тоскливые дни, полные страха и лишений.

Взрыв

Февраль 1943 года.

Неожиданно над Киевом разразилась сильнейшая снежная буря. На улицах Курениевки намело глубокие сугробы. Костя лопатой расчищал дорожку от хаты до калитки. Мать ушла с утра на рынок продавать вещи, чтобы купить чего-нибудь съестного. Часа через три она вернулась возбужденная.

— Костенька! В городе вывесили траурные флаги.

Сын удивленно спросил:

— Умер, что ли, кто из главных фашистов? А что говорят?

— Шепчутся, будто под Сталинградом наши окружили и разбили большую армию фашистов.

Костя радостно захлопал в ладоши.

— Вот это здорово! Значит, врут фашисты, что везде побеждают. Подожди, придет время, и Киев освободят.

Он сразу повеселел от этой радостной новости.

А в конце марта случилось еще одно событие. Уже

начало теплеть. Снег с каждым днем все больше подтаивал. Еще одна трудная зима осталась позади. Однажды мать с Костей засиделись допоздна. Разговаривали, вспоминая прошлое хорошее время, вместе мечтали о том дне, когда кончится это тяжелое лихолетье и в городе снова установится родная Советская власть. Костя с печалью замечал, что мать сильно постарела, в ее черных волосах проступала седина. Сам он похудел, вытянулся и заметно повзрослел.

— Ничего, мама, — утешал он, — вернется еще хорошая жизнь.

— Дай-то бог, — вздохнула Пелагея Федоровна и вдруг умолкла.

В дверь хаты тихо постучали. Они прислушались, встревоженные. Снова тихий стук. Мать приоткрыла дверь.

Костя из-за плеча напряженно вглядывался в темноту.

— Кто тут? — испуганно спросила мать.

— Это я, Федоровна, — слышали они знакомый голос Остапа Охрименко.

— Батюшки! — ахнула мать. — Да что с тобой?

— Ничего страшного. Помогни мне встать. А ты, Костя, выгляни на улицу, не увязался ли кто за мной?

На улице было пустынно. Когда Костя вернулся в хату, мать перевязывала старому токарю рану. Нога была прострелена насквозь чуть пониже колена. Охрименко морщился от боли, но терпел. Наконец, перевязка была окончена.

— Ну, как, все спокойно? — спросил Остап.

— На улице никого нет, — ответил Костя.

— Значит, счастливо удрал, — радостно вздохнул Остап. — А все-таки, Федоровна, надо бы меня куда-то спрятать от греха, пока нога не заживет.

— Мама, а если дядю Остапа в погребе спрятать, — предложил Костя.

— И то верно, — согласилась мать, — в погребе будет безопаснее.

— Тогда ведите меня скорее в погреб. Буду, как суслик, прятаться в норе, — пошутил Охрименко. — Только, Федоровна, чур — молчок. Вы меня не видели и знать ничего не знаете.

— Да что ты, Остап Терентьевич,— обиделась мать.— Али я не советский человек? Да хоть режь меня — ни слова не вымолвлю.

— Извини, пожалуйста,— оправдывался смущенный Охрименко.— Это я по привычке. Знаю, что вы люди надежные, не подведете.

В погребке быстро устроили постель и уложили на нее старого токаря.

— Отдыхай спокойно, Остап Терентьевич, тут тебя никто не побеспокоит,— сказала мать.

— Спасибо!— поблагодарил Охрименко.— А ты, Костя, посиди немного со мной.

Когда они остались вдвоем, Охрименко приподнялся на локте.

— Опять тебя, Костенька, приходится тревожить, но иначе нельзя. Сам видишь, что я пока никудышный ходок. А дело неотложное.

— Я, дядя Остап, на все согласен,— горячо сказал Костя.

— Спасибо, Костенька. Ты настоящий пионер. Герой!

Костя покраснел от похвалы.

— Так вот какое тебе задание будет, Костенька, — продолжал Охрименко.— Пойдешь завтра после обеда на Бессарабку. Там в съестном ряду найдешь женщину, которая будет торговать котлетами. Ты ее спросишь: «А фаршированные кабачки есть?» Она тебе ответит: «Придется подождать лета, тогда и кабачки будут». На это ты ей скажешь: «Мне ждать некогда, дайте котлетку, только поподжаристее». Ты скушай котлету, а потом отойди от нее, но крутись тут же, неподалеку. Когда она отторгуется и пойдет домой, издали иди за ней. А там она уже даст тебе знак, что дальше делать. Но будь осторожен, на шпиков не нарись.

— А как я ее от других отличу? Ведь там не одна она будет торговать.

— Молодец!— снова похвалил Охрименко.— Голова у тебя работает. Эта женщина будет одета в черный полушубок, подпоясанный желтым шарфом. На ногах галоши, на голове зеленая шаль. А на столе у нее будет стоять пустая бутылка с отбитым горлышком. Ясно?

— Ясно!

— Тогда иди, отдыхай. А завтра — за дело.

Костя на минуту замешкался. Он хотел было рассказать Охрименко о знамени, но тут же одумался, вспомнив строгий наказ погибшего командира. «Раз командир запретил говорить об этом до прихода наших, значит, нельзя», — подумал он и пошел к выходу.

Утром по улицам поселка несколько раз взад-вперед промчались мотоциклисты. «Ищите, ищите, — подумал Костя, — черта с два найдете». После обеда он направился на Бессарабку.

Все вышло очень удачно. Часа через два Костя издала шел за невысокой пожилой женщиной в черном полушубке. На углу переулка она остановилась и опустила свою поклажу на землю. Будто только теперь заметив идущего следом Костю, крикнула ему:

— Мальчик! Помоги донести вещи. Я тебе заплачу.

Костя молча взял тяжелую корзину. Вскоре они свернули в переулок, а затем вошли во двор. Миновали сарай, юркнули в маленький огород и оказались возле ветхой избушки. Женщина трижды, с перерывами, постучала в окошко. Дверь открылась, в ней показался плечистый парень в потемневшей спецовке. Увидев женщину, он улынулся и вопросительно посмотрел на Костю.

— От богомольца, — коротко сказала женщина и тут же оставила их вдвоем.

А вечером, когда стемнело, Костя привез парня к Охрименко. Старик обрадовался и крепко пожал парню руку.

— У вас все в порядке? — спросил он.

— В порядке. Мы за тебя очень боялись. Наши видели Петруся, убитого возле оврага, а ты исчез. Думали, что в гестапо попал.

— Ну, не так-то сразу, — усмехнулся Охрименко. — Была маленькая стычка. Петрусь, как было условлено, задержал их, а я утек. Подрали только меня, придется несколько дней отлеживаться. Петруся вот жаль, хороший человек был.

Наступило горестное молчание. Пользуясь паузой, Костя хотел было уйти, чтобы не мешать разговору, но Охрименко удержал его.

— Остайся, Костя, — сказал он. — Ты человек свой, проверенный. Может, еще понадобится.

Костя остался. Но из последующего разговора он, по правде сказать, мало что понял. Охрименко спросил:

— Ну что, выяснили?

— Точно известно, бал будет через три дня.

Парень достал из кармана листок бумаги и развернул его. На нем карандашом был нарисован какой-то план.

— Вот здесь,— указал он жирный крест в центре плана.

— Ага,— удовлетворенно хмыкнул Охрименко, рассматривая план,— значит, отметим день рождения господина Гитлера.

— Надо бы.

— Обязательно отметим. Как же иначе?— усмехнулся старик и тут же добавил уже серьезным тоном:— План должен был доставить я, но, сам видишь,— не могу. Придется, Алеша, тебе. Пойдешь?

— Конечно.

— Вот и ладно,— повеселел Охрименко,— а я тут на иллюминацию посмотрю. Думаю, что наши не прозевают. Сейчас же отправляйся и передай план по назначению. Явка в сторожевой будке. Знаешь где?

— Знаю, Филипп объяснил.

— Ну, в добрый путь!

Тот попрощался и быстро ушел.

— Запомнил этого человека, Костенька? Найдешь его, если надо будет?

— Найду.

— В случае чего, держи связь с ним. А теперь иди спи.

Больше недели отлеживался в погребке Остап Охрименко. Наконец, рана его зажила. Но он еще слегка прихрамывал и ходил, опираясь на палочку.

Однажды вечером он спросил Костю:

— Помнится мне, у вас на чердаке есть маленькое окошко?

— Есть,— ответил недоумевающий Костя,— а зачем вам?

— А вот заберемся на чердак, тогда и узнаешь — зачем!

На чердаке Охрименко принял к окошку и долго всматривался в весеннюю темноту.

— Пока ничего не видно,— вздохнул он.— Подождем. Сейчас, пожалуй, еще рано.

— А что будет?— спросил Костя.

— Если все пойдет ладно, то мы с тобой, Костя, увидим очень красивую иллюминацию.

Ждать пришлось долго. Костя зябко поеживался, но стойко ждал. И вдруг в ночной тишине они услышали глухие взрывы.

— Смотри, смотри,— возбужденно сказал Охрименко,— вот она, праздничная иллюминация!

Костя выглянул из оконца. Вдали высоко в небо взметнулся столб огня.

— С днем ангела, господин Гитлер! — торжествующе засмеялся Остап Охрименко.

...Как выяснилось позднее, в Киеве в ту ночь произошло следующее.

В офицерском клубе киевского гарнизона фашисты торжественно праздновали день рождения Гитлера. Гремела музыка, рекой лилось вино. Пьяные офицеры во все горло орали песни, произносили хвастливые речи в честь непобедимой гитлеровской армии, танцевали.

И вдруг в самый разгар бала грохнули взрывы, потолок рухнул, свет погас. Здание загорелось. Обезумевшие оккупанты в ужасе метались по горящему клубу. У выходных дверей возникла дикая свалка.

По городу пошли слухи, что это подпольщики минами подорвали здание. В течение трех дней после этого киевляне с тайной радостью наблюдали за тем, как с оцепленной площади, в центре которой возвышался офицерский клуб, вывозили на грузовиках откопанные из-под обломков трупы.

Радовался в ту ночь вместе с Охрименко и Костя, наблюдая за тем, как далеко на горе темную мглу прорежают языки яркого пламени.

— Так им и надо! — возбужденно шептал он.

— Это только первый подарочек,— вторил ему Охрименко,— будет им и еще немало гостинцев.

На рассвете старик распрощался с Костей.

— Пора и обратно, загостился я здесь,— сказал он.— А ты не грусти. Теперь уж не так долго ждать. Скоро побегут гитлеровцы назад, как ошпаренные. Будь здоров, Костенька!

Слегка прихрамывая, он исчез в предрассветной мгле.

«Служу Советскому Союзу!»

По Киеву распространились слухи о новой крупной победе Советской Армии где-то под Курском и Орлом. Киевляне шепотом из уст в уста передавали радостную весть — гитлеровские армии в беспорядке отступают на запад. Линия фронта снова приближалась к берегам Днепра. Все чаще советские самолеты начали появляться над Киевом, громя вражеские войска, военные сооружения и склады.

За месяц до освобождения Киева в Куреневке разместился артиллерийский полк. И вот как-то утром советские летчики начали бомбежку. Взлетали в воздух пушки, пулеметы, грузовики, пылало здание комендатуры. Обезумевшие от страха фашисты кинулись прятаться кто куда. Костя в это время был в огороде. Он лег прямо на землю, между гряд.

Мимо него пробежали два офицера. Мечась по огороду в поисках убежища, они с разбегу, ничего уже не соображая, прыгнули в колодец. Костя замер от страха. Забыв о рвущихся бомбах, он, привстав, неотрывно смотрел на колодец. «Все пропало,— думал он,— станут выбираться наверх, доска оторвется, и мой тайник увидят». Надо было уходить, но Костя не мог сдвинуться с места.

Окончилась бомбежка, улеглась паника, а офицеры все еще сидели в колодце. Но вот со дна его раздались истошные крики. Солдаты принесли лестницу и вытащили офицеров. Один расшиб себе голову и был без памяти, а другой сломал ногу. Костя вернулся в хату радостный, успокоенный: его тайник не обнаружили.

Наконец настал долгожданный день. В ночь на 6 ноября 1943 года советские части, стремительно переправившись через Днепр в нескольких местах, освободили Киев. Костя с матерью в это время скрывались в Камышевке у тетки. Мать опасалась, что в последний момент сына могут угнать в Германию, и прятала Костю на сеновале под соломой.

Услышав радостную весть, Костя сказал:

— Пойдем, мама, в Киев.

— Погоди, Костенька, трошки. Там, наверно, еще стреляют.

— Пойдем. Очень важное дело у меня.

— Да что такое случилось?

— По дороге, мама, все расскажу.

В полдень Костя уже стоял у дверей военной комендатуры города. Дорогу ему преградил часовой.

— Нельзя сюда, мальчик.

— Пустите меня. Мне надо к самому главному начальнику.

— Сказано нельзя, значит, нельзя.

— Дяденька часовой, пропустите. У меня очень важное дело.

Но часовой был неумолим. В это время к подъезду подкатил юркий виллис. Воспользовавшись тем, что внимание часового было отвлечено, Костя ринулся вперед. Но проворный часовой уже в самых дверях схватил его за шиворот и потащил обратно.

— Экий ты неугомонный,— ворчал он.

— В чем дело?— строго спросил офицер, приехавший на машине.

— Рвется в дом, товарищ капитан, а зачем — неизвестно. И без пропуска.

— Что тебе надо, мальчик?— спросил офицер.

— Пропустите меня к главному начальнику.

— А зачем?

— Это тайна. Ему скажу, а вам нельзя.

— Вот что, мальчик, я адъютант коменданта. Скажи мне, в чем дело, и я тебя пропущу.

Костя колебался минуту, а затем шепнул адъютанту несколько слов. Лицо офицера стало серьезным.

— Вот оно что! Тогда идем.

Офицер провел Костю в большую комнату на втором этаже.

— Обожди меня здесь,— сказал он и постучался в кабинет коменданта.

Костя огляделся. В приемной находились несколько человек военных и гражданских. Они с удивлением смотрели на него.

— Костя, как ты сюда попал? А я тебя ищу, прямо с ног сбился.

Перед Костей стоял улыбающийся старый Остап Охрименко, одетый в военную форму. На груди его сверкали ордена Ленина и Красной Звезды.

Обрадованный Костя бросился к нему.

— Дядя Остап, вы живы?

— Как видишь,— усмехнулся Остап, обнимая его.— А зачем ты здесь?

— У меня очень важное дело. Я раньше хотел рассказать вам, да нельзя было.

— Да ну!— изумился Охрименко.— Что это за важное дело?

Но Костя не успел ему ответить: помешал адъютант.

— Вы знаете этого мальчика, товарищ Охрименко?— спросил он.

— А то как же. Мы ведь соседи. Это Костя Ковальчук, сынок моего покойного друга. Боевой паренек. Помните, я рассказывал о нем?

— Ах, это он самый и есть! Тогда идемте и вы с нами.

В кабинете за столом сидел пожилой человек в генеральской форме. Адъютант что-то прошептал, указывая на Костю. Генерал кивнул головой и пристально посмотрел на мальчика.

— Вот ты какой, Костя Ковальчук,— ласково сказал он,— ну, докладывай, что у тебя за тайна?

Но Костя вместо ответа спросил его:

— Товарищ начальник, скажите,— это очень плохо, если наше полковое знамя к фашистам попадет?

— Да ты и впрямь смелый парень,— засмеялся генерал,— не я ему, а он мне вопросы задает. Очень плохо, мальчик,— серьезно заговорил генерал.— Если наш советский полк потерял свое знамя, это для него большой позор.

— Вот, вот,— перебил его Костя.— Тот командир мне то же самое говорил.

— Какой командир?

— А тот, который у нас на огороде себя и фашистов взорвал.

— Взорвал? — переспросил генерал.— Вот что, мальчик, рассказывай все по порядку.

...Когда Костя кончил рассказ, генерал обнял отважного паренька и крепко поцеловал.

— Спасибо тебе, дорогой товарищ Ковальчук! Да понимаешь ли ты, какой подвиг совершил? Ты поступил, как советский человек, как настоящий пионер-ленинец! — Он обернулся к адъютанту.— Машину! Быстро! Едем за знаменем. Ну и молодец!

Вот и окончен, дорогой читатель, мой рассказ. Осталось только досказать очень немного.

Полк, чье знамя спас отважный киевский пионер, был снова сформирован под прежним названием. Косте была оказана высокая честь — лично вручить полку его боевое знамя.

Полк этот затем славно сражался с врагами и с боями дошел до самого гитлеровского логова — до Берлина. Все в полку считали Костю своим однополчанином, ему часто писали письма о боевых делах полка.

Счастливым праздником в жизни Кости был день 23 февраля 1944 года, когда Родина отмечала 26-ю годовщину Советской Армии. В этот день ему вручили орден Боевого Красного Знамени, которым наградил его Верховный Совет СССР за подвиг.

По ходатайству генерала — военного коменданта Киева — Костю Ковальчука приняли в Суворовское училище. Отвез его туда и сдал с рук на руки начальнику старый Остап Охрименко.

— Ну, Костенька, — сказал он на прощанье, — служи Родине так же, как служил ты ей до сих пор.

— Служу Советскому Союзу! — ответил маленький герой, салютуя по-пионерски.





Е. ХОРИНСКАЯ

ПАРТИЗАН

На рассвете партизана по родным полям вели.
Пахло клевером и мятой от тоскующей земли,
Пахло гречею и медом, земляникой луговой,
И листвою шумело лето над поникшей головой.
Низко кланялись березы на высоком берегу
И девичьими руками вслед махали пареньку.
Вспомнил парень, как с тальянкой уходил он
в тальники,
Как в «Чапаева» играли на откосе у реки...
Далеко те дни умчались... Парню смерть глядит в
глаза...
Но с высокого откоса в воду прыгнул партизан.
Над волнами хлещут пули — недолет и перелет,
И другой уже Чапаев по другой реке плывет.
На волнах его уносит вдаль родимая река,
Не скосила на рассвете вражья пуля паренька:
Выплыл, выбрался на берег, скрылся в зелени
раkit...
Ведь недаром ходит слава, что Чапаев не убит!





ОЛ. КОРЯКОВ

ВРЕДНАЯ СТАРУХА

Р а с с к а з

Капитан шел впереди батальона. Поднявшись на гору, он за широким желтеющим полем увидел деревушку. Нестройная толпа светлых хаток, разукрашенная веселой зеленью тополей, раскинулась на берегу реки.

— Вот,— кивнул капитан своему ординарцу Алеше Веткину.— Ты как мыслишь, товарищ начальник, для привала гоже?

— Вполне, товарищ комбат,— подтянувшись и стараясь не хромать, солидно ответил Веткин.— Это вы точное решение приняли.

— Тогда сыпь вперед.— И покосился на его ногу.— Сможешь?

— Что значит: сможешь? Есть сделать разведочку.

Сзади, услышав слова капитана, оживились. Вторые сутки, не останавливаясь, шел батальон на восток. Вечерние зори не угасали на ночь: сзади багровели зарева пожаров.

Вместе с батальоном шли запоздавшие беженцы. Взбитая сотнями ног и повозок серая мягкая пыль кутала дорогу и людей. И от пыли, от безмерной ли усталости, или от горя все люди были одинаковыми — серые, худые, изможденные.

С боем вырвавшись из окружения, батальон получил приказ двинуться к городу. Н. Арьергардные части с трудом сдерживали натиск врага. Нужно было спешить. Но дать людям отдых также было необходимо.

Веткин встретил батальон у въезда в деревню.

— Пусто, товарищ капитан, — доложил он командиру.

— Никого?

— Кроме курниц, все население выбыло.

— Хм. — Капитан задумался. — Ну что ж, это правильно... Колодцы-то целы?

— Есть и целые.

— Ладно. Командиров рот — ко мне. И сообразн насчет закусить.

Через час Веткин нашел капитана в школе, где был на скорую руку организован пункт санитарной помощи.

— Товарищ капитан, насчет закусить готово.

Они вышли из школы.

— Вот сюда, направо... Что же вы, товарищ капитан, повязку на голове не сменили? Ведь вся уже порыжела. Вот всегда так... Есть помалкивать по данному вопросу... А я, знаете, жителям отыскал. Смотрю — вроде дымок над хатой. Раз н два, сунулся туда — действительно, живая душа. Только неславная старуха, вредная какая-то.

— Почему вредная?

— Злая очень, такая, знаете, нахохленная.

— Она почему не эвакуировалась?

— Виноват, товарищ капитан, осталось невыясненным.

Они подошли к дому на окраине деревушки. «Живая душа» встретила капитана хмуро. Пробурчав в ответ на приветствие что-то невнятное, она сурово оглядела его, повернулась и отошла в угол, занявшись чем-то по хозяйству.

«Не обращайтесь внимания», — прожестикнул Веткин с таким видом, словно эту старуху с ее злонравным характером он знал всю жизнь, и пригласил:

— Садитесь, товарищ командир батальона, к столу. Прошу. Картошка в сале. Разрешите присесть?

Смакуя жареный картофель, капитан разгибывал хозяйку. Трудно было определить ее годы. В скупых неторопливых движениях старухи чувствовалась скрытая сила. Когда она поворачивала свое лицо в профиль, оно поражало строгой красотой несколько грубоватых, но совершенно правильных, четких линий. Однако старость уже исказила ее лицо. Темно-желтая, с пепельным налетом кожа была изрезана морщинами и свисала дряблыми складками у подтянутого, плотно сжатого рта. В частой сетке морщин, как в паутине, сидели глаза — карие, еще не обесцвеченные годами, но уже помутневшие и вялые. Из-под черной бумажной шали выполз клочок седых волос. Худое тело ее было одето в коричневую кофту и длинную, почти до пола, юбку.

— Сколько годиков тебе, хозяйка? — поинтересовался капитан.

Старуха взглянула на него и, не сказав ни слова, вышла за дверь.

Вернувшись через минуту, она поставила на стол кринку со сметаной. Алеша Веткин удивленно вскинул голову:

— Ты же говорила: ничего нет!

Старуха не ответила. Сбросив с сундука вещевой мешок Алеши, она открыла крышку, достала пачку печенья и швырнула ее на стол.

— Представление, — крутнув головой, хмуро пробурчал Веткин.

— Не расслаживайтесь долго-то, не в гости званы, — зло сказала старуха, ставя на стол две чистые чашки.

Капитан сделал рукой движение, словно хотел отодвинуть чашки от себя, но, взглянув в глаза Алеши, придвинул их ближе:

— Накладывай.

Зачерпывая из кринки сметану, Алеша спросил у хозяйки:

— А ты, мамаша, почему не эвакуировалась?

— А вы что, анкету с меня снимать явились? Осталась вот. Нужно, стало быть.

— Угм, — кивнул головой Веткин. — Стало быть, нужно? А, может, ты сметану эту кому другому припасала? — И он многозначительно посмотрел на командира батальона.

Старуха долго молчала, гремя в углу какими-то жестянками. Неожиданно она повернулась лицом к Веткину и, вызываясь дернув головой, сказала:

— Припасала! И сметану и...— Лицо ее вдруг сморщилось, и, махнув рукой, она закончила: — Не для таких вот только... вас... готовила.

— Ну и черт с тобой.— Алеша встал и отправился к вещевому мешку.— Вот ведь... жила такая у советской власти за пазухой.

— Что ты квохчешь там, сопливый?— вскипела старуха.— Что ты власть поминаешь? Где она у тебя, власть-то советская— в душе али в пятках? Коли мила она тебе, чего же бежишь ты, чего не стоишь за нее насмерть? Туда же, указки мне делать! Все вы такие, словопрыткие...

— Идем, Веткин.— Капитан надел пилотку.

— Вот гидра-то,— ворчал Алеша, выходя со двора.— До чего вредная старуха. Пристрелить бы, раз и два, да пули жалко.

Они уже вышли из калитки, когда старуха нагнала капитана.

— Товарищ командир. Уходите? Скажи мне... Близо они?

Капитан посмотрел на старуху, и его поразили ее глаза. Они как будто ожили. Что-то напряженное и жадное, чуточку похожее на радость, светилось в них. Капитану хотелось сказать старухе что-нибудь злое, обидное, чтобы разом погас этот свет в глазах, но он сдержался и ответил на вопрос.

— Близо,— сказал он и, безразлично стряхнув с плеча ее цепкую руку, пошел дальше.

— Топи печку-то, топи, к вечеру будут!— обернувшись, крикнул Алеша Веткин.

— Затоплю, сынок, затоплю,— глухо сказала старуха и побрела к дому.

Скоро батальон покинул деревушку. Капитан, опять шедший впереди, был уже далеко, когда Веткин схватил его за руку:

— Товарищ комбат, смотрите!

Густой дым поднимался над хатами, застилая зелень тополей. Горел крайний дом — тот, в котором они были час назад. Пламя охватило его сразу с четырех сторон, и меж трепетных языков огня траурными пят-

нами чернели уже обуглившиеся стены. От горевшего дома к соседнему метнувшись маленькая черная фигурка в длинном одеянии.

Капитан медленно повел головой, набрал воздуха в грудь, будто хотел подать какую-то команду, но, повернувшись к Веткину, сказал спокойно и чуть грубо:

— Ну, что встал? Шагай давай.— А чуть слышно добавил:—Еще вернемся.





Б. РЯБИНИН

ДВА ШОФЕРА

Р а с с к а з

— Помните,— повторил командир,— батарея расходует последний боекомплект.

Артамонов и Овчинников, бойцы-водители сводного автомобатальона, безмолвно стояли перед ним, вытянув по швам руки и не отрывая взгляда от командирского пальца, двигавшегося по карте.

— Приступайте к выполнению задачи...

— Есть приступить к выполнению задачи!

Они повернулись и один за другим — высокий Артамонов впереди, низенький Овчинников за ним — покинули помещение.

— Ну, вот тебе и мягкая перина, варшавская кровать... Выспались! С добрым утром! Опять гоп-алё, маэстро,— марш!— своим обычным тоном не то сожаления, не то плохо скрытой насмешки сказал Артамонов, когда они очутились на улице.— А ты, наверное, опять письма собирался писать...

Овчинников ничего не ответил, только еще больше наморщил лоб, который у него и так постоянно был в буграх и складках, точно обладатель его все время решал какую-то очень сложную проблему.

Со сдерживаемым сожалением они осматривались вокруг. Сегодня их ждал отдых, заслуженный отдых. Селение недавно побывало в руках у гитлеровцев; еще

дымились пожарища, все кругом было черным и липким от копоти, ветер подметал пух из выпотрошенных подушек; но уже курились дымки походных кухонь, в воздухе разносился аппетитный аромат готовящихся щей. Попрятавшиеся от врага жители возвращались в дома, собирали с помощью бойцов скарб.

Здесь предполагалась ночевка. Последние дни были очень напряженными (да и только ли дни: случилось, и ночь проходила за баранкой!), люди нуждались в отдыхе, а машины — в техническом осмотре и мелком ремонте.

Пока Артамонов заливал в баки горючее, Овчинников полез под машину проверить тормоза. Они считались лучшими шоферами подразделения, и, вероятно, потому наиболее ответственные поручения всегда выпадали им. Они были земляки, из одного города, но познакомились по-настоящему и сблизились на фронте.

До войны Андрей Артамонов работал на «ЗИС-101» — возил, как он сам выражался, «большого начальника». Его комфортабельную, темно-вишневого цвета красавицу машину, с торжественным шуршанием пронесившуюся по улице, знали все шоферы города. Шикарный многоцилиндровый лимузин, способный развивать умопомрачительную скорость, — затаенная мечта каждого шофера, хотя вождение тяжелого грузовика требует отнюдь не меньшего искусства. Артамонов гордился своим привилегированным положением и немного свысока поглядывал на всю прочую шоферскую братию. Автомобили других марок, а особенно устаревших, носили в его устах презрительное прозвище «трундулетов». «ЗИС» — вот это да! Радио, покойный ход — все удобства!

Павел Овчинников всю жизнь водил потрепанный грузовичок Горьковского автозавода и ведал одно занятие — грузовые перевозки, был незаметен, но искренне любил свое дело. Ему, пожалуй, стало бы скучно на легковой. Он привык быть в движении, привык к тому, что его вечно торопят: едва отметил путевку в одном месте — уже нужно не мешкая доставлять груз в другое, а не доставишь — задержишь торговлю или строительство; для него главное было — тонны и километры; а тут стой у подъезда целыми днями и жди, помирая от тоски, пока «боль-

шой начальник» соизволит съездить куда-нибудь неподалеку... Как шофер он, бесспорно, был не хуже баловня судьбы Артамонова, но безнадежно проигрывал рядом с ним, хотя оба теперь сидели на полуторках, и это равняло их.

Военная форма на Артамонове сидела как влитая. И весь он, высокий, статный и уверенный, казался настоящим олицетворением мужской красоты и доблести.

А Павел Овчинников был невзрачен, круглолиц и застенчив. Даже пилотка, так красившая многих, выглядела на его гладкой, как бильярдный шар, бритой голове ненужной и лишней.

Овчинников был женат, имел троих детей и часто писал домой письма. Артамонов, холостой и беззаботный, находил повод зубоскалить и над этим. Но в общем они были добрыми товарищами, готовыми всегда прийти на выручку друг другу, и не было в части более исполнительных и знающих водителей, чем эти двое.

Они выехали в сопровождении двух бойцов с ручными пулеметами. Сухая, ровная грунтовка бесшумно бежала под колесами. Солнце садилось, длинные тени легли через дорогу, но знойное марево еще стояло на горизонте, и в нагретых за день кабинах было удушающе жарко, как в духовке.

Машины держали хорошую скорость, и только медленно оседающая пыль указывала, где они промчались минуту назад. Артамонов спешил: ждет батарея! Впрочем, он всегда был любителем быстрой езды. Осторожный Овчинников следовал за ним в некотором отдалении, тщательно объезжая каждый камешек.

«Мягкая перина, варшавская кровать... Скажет тоже! — вяло думал Овчинников, выдерживая дистанцию между машинами. — Да без всякой кровати залег бы сейчас под первым кустом, задал бы храпака на всю окрестность... Славно!»

Не выпуская баранки, он рукавом гимнастерки смахнул ручейки, струившиеся по лицу, затем опять уставился на дорогу.

Ему приходилось делать усилие, чтобы сидеть прямо: духота давила, в глазах был точно насыпан песок — сказывалась усталость.

Когда его мобилизовали в армию, он думал, что придется воевать. А оказалось, война — та же работа.

В «гражданке» возил, и здесь возит... Правда, есть и разница: сейчас жив, а будешь ли жив через минуту или через час, не знаешь.

Вот и место, помеченное на карте. Но где же артсклад? Напрасно они, затормозив и высунувшись из кабины, озирались по сторонам — склада не было. Еще и еще сверялись с картой; все точно — вот и молодой березовый лесок, о котором говорил командир, поворот дороги и небольшая лощина... А склада нет.

— Вот так штука... Это что же: поцелуй пробой и ступай домой?.. — произнес Артамонов. Овчинников молча моргал глазами. — Даром беизин жгли? Давай поставим машины вон там, — Артамонов показал рукой на рощицу, — а сами пойдем поищем...

Но едва грузовики тронулись с места, неожиданно крайние кусты качнулись, и дорогу преградил появившийся, как из-под земли часовой с примкнутым штыком.

— Стой!

— Фу, нечистый дух! — вырвалось у Овчинникова, и все радостно засмеялись.

Тут он, склад; запрятан так, что и не сыщешь. Весь лесок — артиллерийский склад. Длинные штабеля снарядных ящиков затянuty сверху широкими брезентами и сетями, на которые набросаны ветки, трава. Маскировочка, что надо! Ни с земли, ни с воздуха не отличить это хранилище от тысяч других безобидных перелесков.

Грузили быстро. И бойцы, и шоферы, и охрана склада — все таскали на себе небольшие, но увесистые ящики. Скоро кузова были полны и тяжело осели на рессорах.

— Ну, теперь жми на всю железку! — проговорил Артамонов, отдуваясь. Павел покраснелся и шумно дышал. У бойцов потемнели на спинах рубашки.

Теперь они двинулись в новом направлении — туда, откуда время от времени доносились приглушенные расстоянием голоса пушек. Здесь прошло много автомашин, тракторов, тянувших тяжелые орудия. Дорога была разбита, местами она подверглась ударам вражеской авиации. По обочинам валялись опрокинутые повозки, грузовики, зарядные ящики. Косые лучи спускавшегося к закату солнца отчетливо рисовали

широкие воронки — рваные раны на теле земли. Машины уменьшили скорость. Они скрипели, стонали, тяжело переваливались из стороны в сторону.

— На «ЗИСе» бы здесь не проехал,— глубоко-мысленно сказал Артамонов сидевшему рядом бойцу, налегая на баранку, чтобы на полном ходу не свалить грузовик в глубокую воронку.

Наконец они выбрались на более спокойный участок дороги. Внезапно впереди будто разверзлась земля — черная стена взметнулась вверх, поднялась выше деревьев и тотчас тяжко опала частым каменистым дождем. Каменный град забарабанил по крыше кабины. В следующее мгновение рядом поднялась вторая такая же стена. Машины, не сбавляя хода, свернули с дороги и шмыгнули в лес. Сделав несколько зигзагов, они укрылись в зелени листвы на небольшом расстоянии друг от друга. По воздуху плыл густой рокот моторов. Три немецких бомбардировщика, потеряв цель, снизились и, кружась над лесом, продолжали сбрасывать бомбы вслепую.

Бомбардировка с воздуха! Вначале казалось, ничего не может быть страшнее ее. Первое боевое крещение Павлу Овчинникову пришлось испытать еще на пути к фронту. Он надолго запомнил, как от взрыва фугаски груженная железнодорожная платформа была вырвана из середины их поезда, отброшена далеко в сторону от полотна, а два находившихся на ней грузовика превращены в кучу щепы и металлических обломков. Потом, когда самолет улетел, отогнанный нашими зенитками, разорванный состав сцепили, паровоз дал свисток, и эшелон двинулся дальше, как будто ничего не произошло. Павел облизнул пересохшие губы и с тоской подумал, что, вероятно, эта встреча не последняя.

Чего скрывать: было очень страшно. Павел всегда был мирным человеком и даже в детстве, не отличаясь при своем росте физической силой, избегал ввязываться в драку. После этого в голову еще долго лезло разное, и больше — неприятное, вроде зубной боли, от которой никак не избавишься, пока не вырвешь зуб. Павел старался не думать о смерти, стыдился признаться, что бояться ее, стыдился даже перед самим собой, и все-таки это было сильнее его.

Вторично подобную переделку Павел пережил уже вместе с Андреем Артамоновым. Бомба грохнула совсем близко, и Павел слышал, как осколки ее с резким свистом пронесли над головой. Оба были бледны, когда взглянули в лицо друг другу. Артамонов овладел собой быстрее. Насмешливо оскалив белые крепкие зубы, он с присущим ему грубоватым озорством отпустил по адресу Павла такое, что тот вспыхнул и, враз обозлившись, огрызнулся:

— Иди ты!

Он часто-часто заморгал и отвернулся.

— Да чего ты сердишься?— дружелюбно сказал Артамонов.— Думаешь, я не испугался? Факт, испугался. А другие, думаешь, не пугаются? Еще как! Спервачка-то у всех сердце в пятки шлепается. Вот привыкнем, тогда нас на испуг не возьмешь!

И верно, они скоро привыкли и к лишениям, и к бомбежкам — ко всему, что несла с собой война. Только балагур Артамонов по-прежнему частенько донимал безобидного Овчинникова своими остротами, бесцеремонно задевая иногда самые чувствительные струны сердца товарища. Тот молчал, крепился, хмурил белесые брови и, наконец, не выдержав, решительно заявлял, что он больше не потерпит этого, просит оставить его в покое. На время шутки прекращались.

Сегодня, прислушиваясь к грохоту разрывов за спиной, Павел почему-то больше опасался, как бы осколками не порвало резину на колесах. Самая обидная задержка — когда спустит камера. Лес гудел; с протяжным шумом, с треском ломающихся сучьев валились подрезанные деревья. Артамонов, лежа на земле рядом с машиной, в полусотне метров от Овчинникова, нетерпеливо поглядывал на часы. Дорога каждая минута, а это воронье привязалось... Внезапно в гулкое грозное громохание вплелись новые звуки — отрывистый, четкий треск пулеметных очередей. Откуда ни возьмись с неба прыгнули на стервятников три небольших самолетика с красными звездами на коротких закругленных крыльях. Бомбежка разом прекратилась. Гитлеровцы, отстреливаясь, поспешно направились прочь. Тройка советских истребителей неотступно преследовала их, поливая из пулеметов.

— Эх, жалко, не поступил в летную школу!— сказал Артамонов, с завистью провожая взглядом удаляющиеся ястребки.— Фырр, фырр — и пошел винтом в небо... А то пыхти тут на этом трундулете!

Он вывел грузовик на дорогу. Но вторая полуторка не появлялась. Артамонов сразу встревожился.

— Уж не случилось ли чего?— пробормотал он и, выпрыгнув из кабины, бегом направился к тому месту, где укрылся Овчинников со своей машиной.

Машину он нашел сразу же. Она была цела, и только облупленная краска на бортах да вмятина на капоте красноречиво говорили о том, какой ливень осколков обрушился на нее. Неподалеку темнела на фоне зелени свежая воронка. А рядом, полузасыпанные землей, лежали неподвижные Овчинников и боец, все еще сжимавший в руке оружие.

Артамонов со вторым бойцом откопали пострадавших, влили в рот каждому по глотку тепловатой воды. Те были живы, но оглушены. Наконец открыли глаза.

— Ух, и напугал же ты меня!— признался Артамонов, перевязывая пораненную голову Овчинникова.— Вот бросил их дьявол! Идти-то сам можешь?

Он не замечал, что непривычная нежность звучит в его голосе, что в эту минуту он совсем не похож на того Артамонова, который вечно скабрезничает и подтрунивает над товарищами.

Сознание медленно возвращалось к Павлу. Сначала он припомнил, как земля вдруг надвинулась на него, лес прыгнул вверх, что-то тяжелое сдавило грудь. Потом наступил мрак. Поняв, что произошло, Павел огляделся и увидел двух знакомых солдат, из которых один, ушибленный, сидел на траве и пил из фляги воду, а другой, присев на корточки, счищал с него налипшие комья сырой земли. Ручной пулемет стоял рядом, и круглый черный глазок его смотрел в ту сторону, куда скрылись бомбардировщики.

Все опять стало близко и понятно. Они везли важный груз. Скорей, их ждут! И уже поднялся маленький шофер и, опираясь на руку Андрея, заковылял к машине.

«Как с похмелья»,— думал Павел, ощупывая гудящую голову.

— Машину-то можешь вести?— заботливо спрашивал Артамонов.

— Ничего... могу. Поехали...

Они опять тронулись в том же порядке: Артамонов впереди, за ним, на некотором расстоянии, Овчинников.

Привычный запах разогретого мотора, ощущение послушной под пальцами упругой баранки... Павел чувствовал, как проясняется его голова. Он чуть-чуть не был убит. Как это странно. Один миг и... готово. Павел не испытывал страха. Напротив, в нем пробудилось какое-то любопытство: словно побывал на том свете! А несколько месяцев назад он, наверное, реагировал бы на это совсем иначе...

Он оторвался от своих мыслей, увидев, что корпус передней машины с катастрофической быстротой приближается к нему. Нажал на тормоза. Переставшие крутиться колеса со скрежетом прочертили по дороге пыльный след, грузовик встал.

Что случилось? Показались голова и руки Артамонова. Посмотрев в том направлении, куда показывал товарищ, Павел понял. В отдалении виднелся удаляющийся самолет, а неподалеку с неба беззвучно спускались несколько черных точек под светло-голубыми куполами. Их было шесть. Десант! Это открытие обожгло, как огнем. Десант в тылу наших войск. Об этой опасности часто предупреждало командование.

Совещались недолго. Оба бойца, вооруженные пулеметами, решительно сошли с дороги на траву.

— Езжайте, не задерживайтесь. За нас не беспокойтесь, справимся.

Мелькнули и исчезли в кустарнике две каски. Шоферы проводили их долгим взглядом и двинулись дальше. Когда огибали поворот дороги, сзади послышалась частая дробь: та-та-та-та... «Давай, ребятки!»...— шептал Артамонов, сам нажимая на газ.

Но за новым поворотом он опять резко затормозил. Подъехал Овчинников.

— Смотри!

В неглубокой, укрытой со всех сторон ложине медленно приземлялись парашютисты. Новый десант! Или, быть может, подкрепление первому. И кругом, как на беду,— ни души своих. Видно, противник тщательно выбрал место высадки, чтобы остаться незамеченным.

Что делать? Продолжать свой путь и дать фашистской гадине расползтись по нашим тылам? Перед глазами встало разоренное гитлеровцами селение, плачущие женщины и дети... Нет, десант нужно немедленно уничтожить с наличными средствами.

А груз? Там же батарея без снарядов. Нельзя задерживаться!..

Это был момент мучительного раздумья. Артамонов нервно скрипел зубами. Овчинников с надеждой смотрел на него. На веснушчатом лице Павла попеременно отражались все чувства, волновавшие его в эту минуту: решимость драться, боязнь упустить врага, опасение за судьбу важного груза.

— Вот что... — произнес Артамонов, взглянув на часы. — Время у нас еще есть. Но и рисковать нельзя. Я пойду туда, — он кивнул в сторону лощины, — а ты подожди меня здесь. В случае чего — газуй, не задерживайся. Сообщишь там...

— А ты?

— Что я! — вдруг зло крикнул Артамонов. — Дело важнее. Там батарея ждет. Понял?

— Понял, — покорно ответил Павел.

— Да ты не горюй раньше времени, — успокоительно заметил Артамонов. — Стрелять я умею. А их всего шестеро.

«Всего, — отметил про себя Павел. — Хорошо Андрею: ему все трын-трава, ничего не боится. Такого и пуля обойдет...»

В этот момент он завидовал, что Андрей такой неустрашимый, решительный. И силенки у него хватит, не чета щуплому Павлу.

С винтовкой в руках Артамонов исчез — будто растаял среди молодого березника. Павел, немного подавив вперед машину, занял наблюдательный пост. Тревожное чувство ожидания, мучительное беспокойство за исход происходящего охватили его. Где-то глубоко он ощущал неясный стыд за свое вынужденное безделье в такую минуту, когда Андрей рисковал своей головой. И как это он дал так быстро уговорить себя! И в то же время он сознавал, что это было разумно: если погибнет один, другой доставит груз по назначению.

Лощина прекрасно просматривалась отсюда. Оставаясь незамеченным, он мог следить за ходом боя. Вот

коснулись земли два вражеских парашютиста. Голубые купола ударились оземь, подскочили и, раздуваемые ветром, потащили за собой человеческие фигурки. В ту же секунду послышался винтовочный выстрел, за ним — другой. Фигурки упали и больше не поднялись. Купола протащили их еще несколько метров и затем потухли. Снова ударила винтовка. Третий снижавшийся остался лежать неподвижно. «Трое... еще трое...» — лихорадочно подсчитывал Павел, всем своим существом осязая бесполезность лежащей у него на коленях винтовки. «Бей их, гадов!..» Артамонов хорошо замаскировался и был совершенно невидим, сколько ни старался Павел обнаружить его местопребывание. Внезапно высокая фигура Андрея, как брошенная пружиной, поднялась из травы навстречу спускавшемуся четвертому парашютисту. Он сделал выпад, а затем отпрянул, чтобы сбросить со штыка мертвого врага. Оставались двое последних. Они уже приземлились, залегли за кочками и открыли по одиночному советскому бойцу бешеную стрельбу из автоматов. Он мгновенно упал. Убит! Нет, вновь заговорила его винтовка. Артамонов отвечал спокойно, расчетливо, и скоро один из автоматчиков уткнулся головой в траву.

«Вот бьет!» — восторженно думал Павел.

И вдруг он похолодел. Из-за леса, покачиваясь под порывами ветра, совсем близко от Павла, показался седьмой парашютист. Вероятно, он был легче остальных и дольше проболтался в воздухе. Его отнесло в сторону, и сейчас он появился неожиданно, позади Артамонова. Павел поднял винтовку, но было уже поздно. Мелькнул и скрылся за кустами парашют, затем легкое покачивание травы показало направление, по которому полз фашист. Сейчас он подберется на верное расстояние и всадит пулю в затылок ничего не подозревающего Андрея...

Если до этой минуты Павел, хотя и с большим трудом, но удерживался от желания вскочить и броситься на помощь товарищу, то теперь он больше не мог, не имел права оставаться в роли пассивного наблюдателя. Ведь бой уже был почти выигран Андреем. Оставалось нанести последний удар.

Выскочив из машины и быстро осмотревшись по сторонам, Павел проворно пополз наперерез фаши-

сту. Ему казалось, что он ползет невероятно медленно, ну просто как гусеница какая-нибудь. Осторожно приподнял голову. Прямо перед ним, в каких-нибудь двух-трех метрах, придерживая рукой подвешенный за лямку на шее скорострельный пистолет-автомат, полз, извиваясь, как червь, большой рыжий немец. «Не справиться... Здоровый!»— мелькнула пугающая мысль, но Павел немедленно прогнал ее, как недостойную. Нет, нет, он тоже солдат и докажет, чего он стоит. Не помня себя от внезапно вспыхнувшей ярости, он враз руками и ногами подал свое тело вперед и навалился на врага.

Ему удалось подмять его под себя. Но тут гитлеровец, изловчившись, ловко хватил Павла ногой. И плохо пришлось бы маленькому шоферу, если бы на выручку не явился Артамонов, управившийся к тому времени и с шестым своим противником.

— Ну, хватит, навоевались!— крикнул отважный боец, направив винтовку на последнего фашиста.

— Нихт шисс!— завопил тот, подняв руки.

«Ага,— злорадно подумал Павел,— струсил!..» Помытый, но счастливый тем, что отвел от товарища смертельную опасность, он пощупал повязку на голове, оправил гимнастерку и вновь обрел свой непроницаемо-суровый вид. Вот он и побывал в бою. Сейчас в нем боролось справедливое чувство ненависти к врагу с детским любопытством. Все-таки впервые он видел так близко настоящего фашиста!

Жилистый, длинноносый солдат испуганно ворочал большими, как плошки, водянистыми глазами. В душе Павла шевельнулась жалость: тоже, небось, человек, не сам пошел воевать — послали... Короткий, предостерегающий возглас Артамонова прервал его размышления. В правой руке парашютиста мелькнул револьвер, точно у фокусника, достающего предметы неизвестно откуда. Но выстрелить он не успел...

— Вот змея,— спокойно сказал Артамонов и обер штык о траву.

Таким хладнокровным и собранным Павел еще ни разу не видел его.

Надо было спешить на батарею. Машины с места взяли хорошую скорость. Головной теперь шла овчинниковская. Вот поворот, помеченный на карте. Вот

речка с перекинутым через нее бревенчатым мосточком. Уже близко...

Но испытания этого дня еще не кончились.

Черная тень фашистского бомбардировщика опять легла на дорогу. Здесь, на подступах к переднему краю, эти крылатые разбойники рыскали днем и ночью, стаями и в одиночку, не брезгуя ничем, лишь бы что-нибудь расстрелять, что-нибудь уничтожить. Очень часто они находили свой конец во встрече с нашими истребителями. Сила советских ястребов была хорошо известна им. И поэтому особенно усердно, с особой настойчивостью, характеризующей хищника, жестокого и трусливого, выслеживали и атаковали они незащищенные цели — одиночный грузовик, обоз, идущих по шоссе безоружных людей.

Бомбардировщик шел низко, чтобы наверняка поразить цель. Он издалека заметил две автомашины, пылившие на шоссе, и теперь полого пикировал прямо на них.

Бомба упала почти рядом. Полуторка подпрыгнула и, не будь так нагружена, наверняка бы опрокинулась. Крупный осколок пробил стекло, пролетел перед носом Павла и, разбив зеркальце, застрял в мягкой обивке. Вслед за тем серия разрывов раздалась позади. Это уже предназначалось для Андрея. Мимо или?.. Но Павел не имел времени оглянуться. Грузовик летел вперед. Мелькали по сторонам кусты, деревья, телеграфные столбы. «Промазал... Сейчас вернется...» — соображал Павел. Он мог остановить автомобиль и укрыться в канаве или отбежать в сторону. Но груз? Груз погибнет. Неподвижная мишень будет безусловно поражена. Батарея останется без снарядов, а этого Павел не мог допустить. И он нажимал на газ до отказа.

Самолет сделал новый заход и опять сбросил пачку бомб. Две из них разорвались впереди на дороге. Павел круто положил машину налево и с ловкостью эквилибриста провел ее на полном ходу по узкому перешейку между еще дымящимися воронками. На миг он будто окунулся в серую осязаемую мглу. Обдало мелкой галькой и песком.

И тот час же сзади ударил оглушительный взрыв. Это не могло быть только бомбой...

Павлу истерпимо захотелось затормозить, выскочить из машины, и броситься к Андрею. Но он не сделал этого. Какая-то сила удерживала его за рулем. «Андрей, дорогой друг...» На несколько секунд Павел ощутил себя страшно одиноким и был близок к тому, чтобы заплакать, как младенец. Там, на дороге, остался Андрей, веселый, близкий, бесстрашный человек, дружба с которым была освящена огнем и кровью. Под огнем познал Павел ее, эту дружбу, под огнем потерял...

Опять появился бомбардировщик. Израсходовав бомбовый запас, он пустит сейчас в ход пулеметы. Проклятый!

Усилием воли Павел заставил себя позабыть о том, что осталось позади. Он помнил только об одном: там ждет батарея...

Одинокий грузовик, преследуемый самолетом, с бешеной скоростью проследовал по шоссе до деревни, свернул на луг и, проделывая головоломные петли, исчез за пригорком.

* * *

...Лейтенант Логовой озабоченно отнял от глаз бинокль. Без сомнения, противник опять готовился к атаке. Под прикрытием артиллерийского и минометного огня вражеская пехота скапливалась на исходном рубеже. Несмотря на то, что косые лучи вечернего солнца слепили глаза, лейтенант явственно различал в высокой траве черные точки, перебегавшие от куста к кусту. Эх, ударить бы по ним картечью! Но мало снарядов. Последние на исходе. Нужно сберечь их к тому критическому моменту, когда начнется атака.

Бойцы, лежа в укрытиях, готовые каждое мгновение занять свои места у орудий, молча ждали повторения попыток врага опрокинуть нашу оборону.

Ждать пришлось недолго. Завыли мины, с угрожающим ревом рвались снаряды, предвестники атаки. Огонь нарастал с каждой минутой. Но труд был напрасен: гитлеровцы никак не могли обнаружить хорошо замаскированную батарею Логового и бесцельно растрачивали боеприпасы. Вся эта разрушительная сила ложилась вне пределов батареи безо всякого вреда для обороняющихся.

Внезапно обстрел прекратился. В наступившей тишине донеслись обрывки чужой команды, глухо затакали пулеметы. Гитлеровцы поднялись и пошли вперед.

Лейтенант Логовой расчетливым взглядом окидывал поле сражения. Пусть подойдут поближе, тогда ни один выстрел не пропадет даром.

Из леска вынырнули четыре танка. Ого, значит, немцы получили подкрепление! Лейтенант тревожно оглянулся: а снарядов все нет.

Танки быстро приближались. В промежутках между ними, пригибаясь, бежала пехота. Уже можно рассмотреть лица солдат...

— Огоны!

Деловито заговорила батарея. Две громыхающие железные махины были подбиты первыми же выстрелами и мгновенно превратились в пылающие факелы. Снаряды рвались в гуще наступающих. Видно было, как фигурки в голубовато-зеленых мундирах, будто вздернутые за нитки марионетки, взлетали и падали, чтобы больше не встать. Секунда замешательства — и уцелевшие танки повернули назад. Оставшаяся без поддержки пехота крепилась недолго. Не обращая внимания на крики и ругань офицеров, солдаты валились в траву, пытались ползти и, не выдержав, бежали назад без оглядки.

Атаку отбили. Которую уже за этот нескончаемо долгий, непередаваемо трудный день! Лейтенант вытер с лица пот, засек время. На лугу догорали фашистские танки, слышались стоны раненых.

— Долбанули славно, — переговаривались артиллеристы.

А снарядов нет и нет... У лейтенанта защемило сердце. Но лицо, голос оставались по-прежнему невозмутимы, точно все это предвиделось заранее и никакой угрозы для защитников рубежа нет. На командира смотрят бойцы: спокоен он — спокойны и уверены они.

Противник стал опять накапливаться для атаки. Все-таки фрицы во что бы то ни стало хотели сломить сопротивление упрямой батареи.

...На этот раз они положительно решили смести с лица земли ненавистную батарею. Они молотили с упрямством методическим, чисто немецким, постепенно перемещая огонь по большому пространству.

Эта бесцельная молотьба даже вызвала улыбку на бесстрашном лице лейтенанта. Все же это очень забавно: таким количеством боеприпасов можно было бы разгромить целый полк, уничтожить долговременные укрепления.

Но снаряды, снаряды... Жаль, невыносимо жаль уступать неприятелю место, которое обороняли так самоотверженно. И очень удобная позиция — укрытая, незаметная и с широким обзором. За целый день боя — всего двое раненых.

Вражеская мина с пронзительным воем плюхнулась рядом со снарядными ящиками. Ящики вспыхнули. Последний боевой запас! Наводчик Нефедов, молодой парень из приволжской деревни, выскочил из укрытия и сбил пламя песком и водой.

В это самое время началась новая атака.

Залп! Залп! Подбит еще один танк, рассеяны большие группы пехотинцев. Однако остальные движутся, подгоняемые бранью офицеров. Лейтенант Логовой чувствует, как все нервы у него напрягаются до предела. Он ждет самого страшного, ждет — и слышит:

— Снарядов! Снарядов!

Нет больше снарядов. Вот оно, самое страшное — артиллеристу остаться без снарядов — пришло...

И тогда полный холодной, непреклонной ярости, он командует своим обычным, может быть, лишь чуть-чуть изменившимся, так хорошо действующим на сознание бойцов голосом:

— Пулеметчики, к бою!

Нет, они не отдадут этого места, которое уже полито их кровью. Есть еще ручные пулеметы. А потом — гранаты. И еще есть мужество, которым вооружен каждый — от рядового до командира.

Батарея молчала, говорили пулеметы. Но разве сравнишь пулемет с хорошей пушкой? Фашисты догадались, почему затихла батарея, и это сразу придало им храбрости.

Посуровевшие, с застывшими лицами, артиллеристы били по врагу из винтовок. Иные уже ощупывали гранаты. А наводчик Нефедов быстро перетягивал бечевочкой связку гранат — гостинец для немецкого танка.

И в эту минуту послышалось фыркание автомобильного мотора. Из-за кустарника на полной скорости

вывернула затянута брезентом машина. Шофер, высунувшись из кабины, махал пилоткой и кричал:

— Снаряды, снаряды привез!

Этот крик возвращал к жизни. Теперь дудки! Еще посмотрим, господа фашисты, кто кого!

И опять готовы орудия разить врага. Но лейтенант не торопится. Пусть подумают враги, что батарея беззащитна.

Ошалевшие от неожиданной удачи, гитлеровцы шли, как на параде. Танк вырвался вперед и мчался, мчался — только мелькали гусеницы.

— Прямой наводкой — огонь! — весело закричал лейтенант.

Зычно рывкнула батарея. Артиллеристы, деловитые, с разгоревшимися лицами, работали, как черти. Залп сливался с залпом. Танк вспыхнул, поднялся на дыбы и опрокинулся, точно смертельно раненное животное. Столб черного дыма взметнулся к небу. Гитлеровцы шарахнулись, побежали. Раненые уползали вслед за бегущими.

Маленький усталый шофер с забинтованной головой сидел на подножке своей машины, отмеченной во многих местах пулеметными пробоинами, вперив глаза в землю, безучастный ко всему. Лейтенант Логовой направился к нему. Шофер вскочил, сделав руки по швам.

— Спасибо за службу! — отчеканил лейтенант.

— Служу Советскому Союзу, — четко ответил боец-водитель.

— Почему грустный вид, товарищ?

Лейтенант сделал жест, чтобы шофер снова сел.

Павел часто-часто заморгал, как бывало у него всегда в минуты большого душевного волнения. Казалось, он сейчас расплчется.

— Товарищ у меня остался там... Вместе сюда ехали... Герой! — едва слышно уронил он, продолжая стоять, и голос его осекся.

— Понимаю, — твердо сказал лейтенант и, взяв под козырек, вытянулся, как на карауле.

На батарее стало торжественно-тихо.





Е. РУЖАНСКИЙ

ФОНАРЬ

Р а с с к а з

Степа дежурил в эту ночь на крыше, охраняя здание своей школы.

Лишь вчера сюда привезли раненых. Их разместили по классам в первом этаже. По коридорам бегали санитары с носилками, у ворот дежурили красноармейцы с винтовками. Школа стала госпиталем.

Поэтому, придя сегодня на дежурство, Степа волновался, словно впервые поднялся на эту крышу темной осенней ночью. Слух и зрение его были обострены. Каждый шорох настораживал. Несколько раз обошел он свой участок крыши, окликая товарищей и расспрашивая их о том, как им дежурится.

— Все нормально, Степа, да вот озяб малость, — ответил Володя Еремеев, дежуривший по соседству.

Подумав немного, Степа сказал:

— Давайте, ребята, на чердак! Погрейтесь немного.

Ребята спустились на чердак, а Степа остался один на крыше.

Под ногами темнела улица, знакомая до мелочей, исхоженная, родная. Он и в темноте мог точно определить, где находится булочная, где газетный киоск.

Внизу лежал родной Ленинград, и Степа, чувствуя

себя стражем этого притихшего города, не замечал ни ветра, ни стужи.

Вдруг ему показалось, что на противоположной — через улицу — крыше блеснул и погас огонек. Степа стал внимательно присматриваться. Однако ничего там больше не светилось.

«Померещилось», — подумал он, но уже никак не мог оторваться от того места, где блеснул огонек.

Но вот по небу, упираясь в тучи, прошелся прожектор. Пучок лучей скользнул по крыше, и Степа увидел: у дымоходной трубы притаялся человек.

В это время прожектор уже снова шарил по грязно-серым тучам, словно пытаясь пронзить их. И Степа так больше ничего не заметил на погрузившейся в темноту крыше.

Прошло, наверно, много времени. Степа озяб и собрался уже на чердак погреться, когда снова на противоположной крыше блеснул свет.

В темноте огонь был ясно виден, он горел, как ночной костер в степи.

«Пожар?» — с тревогой подумал Степа. Он хорошо знал, что этот дом, разрушенный снарядом, пуст. В нем никто не живет. Откуда же огонь? Ведь там и дежурных никого нет...

«Надо милиционеру сказать», — решил Степа и позвал ребят.

Володя Еремеев и Костя Красин поднялись наверх и, увидев мерцающий огонек, сразу согласились со Степой:

— Да... Тут что-то неладно... Надо заявить...

Но Миша Корольков, худенький, низкорослый и обычно молчаливый мальчик, вдруг горячо выступил против:

— Конечно, милиционеру заявить легче всего. Сказал — и с плеч долой... А вот если бы самим проследить да поймать того сигнальщика!.. А так что — заявили, а сами в кусты...

Вой сирены не дал ему договорить, но было ясно: Миша Корольков считал их трусами.

— Подумаешь, герой! — обидчиво воскликнул Костя Красин.

А Володя Еремеев обычным для него шутливым тоном заявил, стараясь избежать спора:

— Все нормально! Поручим Мише Королькову проследить за сигнальщиком. Милиционеру тоже сообщить надо.

А Степа смотрел на крышу и словно не слышал, о чем спорили товарищи.

Все сильнее и сильнее гудели сирены: заводские, корабельные, уличные... Казалось, никаких звуков больше не существовало, кроме гудящих сирен, наполнивших собою эту темную, как деготь, ночь.

— А ну-ка, Миша, пойдем со мной, да быстро,— заторопился Степа.— А вы, товарищи, глядите в оба... Дело такое, сами понимаете. Воздушная тревога, а тут рядом с госпиталем — сигнальщик. Его нужно сейчас же...

Он не договорил. Загрохотала, заухала неподалеку зенитка, за ней вторая, третья...

Степа с Мишей стремглав побежали с лестницы вниз. У ворот их остановил дежурный.

— Куда?

— Мы с крыши... с крыши,— на ходу ответил Миша Корольков, показывая рукой.

— Мы — дежурные... с крыши,— торопливо ответил и Степа.

— Постой, постой! Какая крыша, при чем тут крыша?— снова остановил их красноармеец.

— На соседней крыше огонь...— заикаясь и перебивая друг друга, ответили они и выскочили на улицу.

— Ну и ребятки,— пробормотал им вслед красноармеец улыбаясь.— Померещилось — огонь на крыше... В войну играют... А тут не до игры...

Ребята тем временем бежали к перекрестку. На полпути Миша Корольков вдруг заявил:

— Не пойду я к милиционеру, Степа. Иди сам, а я тут подожду.

Степа махнул рукой, мол, «как хочешь, некогда разговаривать с тобой», и побежал дальше.

Когда он вернулся с милиционером, Миши нигде не было видно.

«И куда бы он мог деваться?» — с досадой подумал Степа.

Исчезновение товарища срывало весь его план. Степа предполагал, что вместе с милиционером он под-

нимется на крышу, а Миша будет дежурить внизу, у чердачной лестницы. А теперь...

— Ну, где ж твой приятель?— спросил милиционер.

Он первым вошел в полуразрушенный дом и очутился у темной лестницы, ведущей на чердак.

— Сбежал, видать, твой приятель,— продолжал милиционер и добавил:— Ну, ты оставайся тут и смотри. Если кто-нибудь появится, проследи, куда он пойдет.

И милиционер бесшумно и вместе с тем быстро стал подниматься по ступенькам.

Степа, недовольный и расстроенный, прижался спиной к стене и стал наблюдать, прислушиваясь к каждому звуку.

Перед ним поднималась темная, узкая чердачная лестница, и никого не было на ней видно.

Вдруг Степа услышал какой-то шорох. Он встрепенулся, прислушался. Ему послышалось, что там, наверху, кто-то затопал, застоял. Степа оглянулся— никого вокруг не видно. Темнота и тишина стояли здесь, рядом, плечом к плечу, притаившись, как два злодея.

Колени Степы задрожали мелко и часто. Мороз прошел по коже. Степа шагнул вперед и немного успокоился. Через несколько секунд, окончательно овладев собой, он уже взбирался по лестнице.

Добравшись до чердака, Степа услышал громкий окрик милиционера:

— Стой!

И в ту же минуту какая-то длинная фигура прыгнула с крыши через слуховое окно на чердак. По крыше тяжело прогремели сапоги, и снова послышалось:— Стой!

Тогда та же длинная фигура метнулась от окна к лестнице. Степа понял: это сигнальщик. Не раздумывая, Степа бросился ему под ноги, и тот со всего размаха грохнулся наземь, ударившись головой о дверной косяк.

Незнакомец глухо застоял, выругался, заворочался, но подняться на ноги не смог.

Милиционер был уже на чердаке и поясом связывал ему за спиной руки.

— Слушай, паренек,— сказал Степе милиционер,— там, на крыше, посмотри, не твой ли приятель. Опере-
дил он нас с тобой, дружище..

Степа вскочил на крышу.

Возле дымовой трубы лежал навзничь Миша Ко-
рольков. В одной руке у него был зажат кирпич, а в
другой — обрызганный кровью погасший фонарь, от-
нятый у сигнальщика...

Увидев товарища, он приподнялся:

— А этот где? Не убежал?

— Нет, не убежал, Мишенька, не убежал.

— Хорошо!— проговорил Миша счастливым голо-
сом и, выпустив из ослабевших рук кирпич и фонарь,
обнял Степу за плечи.





М. ГРОССМАН

ТРОЕ СУТОК

Р а с с к а з

В бархатном небе висит неподвижно луна.

Холодные и мертвые лучи мерцают в воздухе.

Земля вспухает от воды. Мутные потоки распирают берега ручьев, покачивают водоросли на болоте, оголяют у сосен могучие узловатые корни.

Неподалеку чернеют горбатые дзоты, тускло блестит колючка на кольях.

Вторые сутки лежат перед пулеметными гнездами разведчики Смолин, Номоконов и Швед. Позади, спрятав за чахлый кустарник головы, таятся Роман Пайчадзе и Анисим Бядуля. Вымокли все до нитки, проголодались, выругались в душе всеми словами, какие известны.

Швед несколько раз подползал к старшине. Мелко стучал зубами и шептал быстро и раздраженно:

— Старшина! Давай греться.

— Нет, сержант.

Прищуренные, красные от напряжения глаза Смолина сведены в одну точку. Это — вражеский дзот, выбранный для нападения. Смолин не уйдет из трясины. Он будет лежать здесь еще сутки или еще десять. Приказ есть приказ, леший возьми и Гитлера и болото!

Первый гвардейский корпус готовится к атаке. Штабу нужно знать, что здесь у врага? Есть ли тяжелые пушки у бригады «Мертвая голова».

Приказано идти в разведку боем.

Тяжела такая разведка и опасна!

Надо безошибочно добраться до противника, свалиться на него, как беркут на волка, и заставить огрызаться. Тогда и засечь по звуку, по вспышкам орудия и пулеметы.

Дзот, выбранный старшиной для нападения, — на левом фланге бригады. Меж дзотом и блиндажами соседней дивизии — болото. Разведчикам выгодно это: сбоку не ударят.

Двадцать шесть часов лежит перед окопами разведка — днем отползает в кусты, ночью снова тянется сюда.

— Чего ты ждешь? — шипит Швед, лежа возле Смолина.

— Экой ты торопыга, — хмурится старшина. — Потерпи.

Арон и сам понимает: гитлеровцы на автоматные очередишки разведчиков не ответят пушками и пулеметами. Не клюнут на такую приманку мертвоголовые. Смолин прав: выжечь надо их из дзота и забраться туда самим. Тогда разговор иной: враги решат, что русские пробились на левом фланге.

Старшина заметил: в полночь гарнизон дзота уходит в тыл, — может, на отдых, может, на кормежку. У пулеметов, небось, остается лишь один дежурный. Прошлой ночью так было. Если и нынче так, разведчики поглядят врага против шерсти.

Луну затягивают облака. Начинает уныло бубнить дождик.

Спать хочется! Смолин пытается совладать с дремотой н... закрывает глаза. Просыпается он от шелота Шведа:

— Саша, уже полночь, а они все еще в дзоте. Начнем, что ли?

— Иди, Арон, к черту! — беззлобно ругается Смолин. Швед молча отползает на свое место.

Днем в болотине нечеловечески трудно. Утопаешь по плечи в грязной воде, не высунешь головы из кустов. Не пошевелись, не пророни ни слова. Пустая оплош-

ка и — все под нож: и дело, и жизни. Один звук, луч, упавший на автомат, нож, загремевший о ложе, кашель — и тебя засекут огнем.

А комары! Ужасная это гнусность на войне — комары! Грызут тебя сквозь ватные куртки, свистят над головой. И покурить нельзя, чтоб отпугнуть их дымом. Тыфу, подлосты!

И все же умудрились разведчики даже поспать немного. Станный и страшный это сон! Закроешь глаза и на пять, а может, на десять минут, положив пальцы на спусковые крючки, проваливаешься с головой в клейкую ямину. Но даже и во сне уши работают. Тявкают пушки, завывают минометы — спят люди. Но стоит прозвучать одному чужому, внезапному слову, — и открыты у разведчиков глаза.

Только известно: не было еще такого дня, который не сменился бы ночью. Спустилась она и на Старорусские болота, затянув сперва легкой дымкой, а потом черным пологом унылую равнину.

Снова почти вплотную подползли разведчики к передовой.

Даже Бядуля не выдержал, тихонько потрогал старшину за плечо:

— Сколько ж можно, взводный? Пытай счастье.

— Ждать надо, Анисим!

— Надо, — грустно согласился Бядуля.

Появился молоденький желтый месяц на небе, чем-то удивительно напоминающий цыпленка: не то цветом, не то глупым и милым младенчеством своим.

Для солдата луна — это тоже военная обстановка. Иногда позарез нужна она в бою, в другой раз ждешь не дождешься какой-нибудь мелкой тучки, чтоб закрыла она медную бесстрастную рожу этого соглядатая.

Светлые стрелки на часах Смолина показали без четверти час, когда возле дзота зачавкала грязь под коваными подошвами.

Старшина прислушался, поднял голову и посмотрел вперед долгим, пристальным взглядом.

У огневой точки, намеченной для налета, прошлестели голоса, прозвучала команда, затих шорох удаляющихся шагов.

И сразу Смолин почуял: прибавило силы, собран-

ности. Так бывает почти у каждого фронтовика в короткое предгрозые боя.

— Начали!

Номоконов, стучаясь подбородком об автомат, пополз за Смолиным. Швед кинулся кружным путем — отрезать выход оставшемуся в дзоте дежурному. Пайчадзе и Бядуля остались на месте: прикрыть товарищей огнем, если что случится.

Дзот был совсем под рукой, когда эвенк Номоконов увидел часового.

Он стоял, привалившись к блиндажу, и, черный на черном, сливался с ночью.

Семен оглянулся на старшину, вытянул из чехла нож.

Разведчики поползли в разные стороны.

Немец почувал что-то. Как птица, стал он тянуться головой в тот край, где лежал Смолин. Потом поднял винтовку и шагнул вперед.

Тогда черная тень метнулась снизу вверх и слилась с тенью часового.

— О-ох! — приглушенно выдохнул часовой и мешком опустился на землю.

Старшина кивнул разведчикам. Швед потянул дверь на себя и очутился в блиндаже. Коптилка из небольшого снарядного патрона светилась в углу.

Через несколько секунд Швед выскочил наружу и позвал эвенка в блиндаж.

Взглянув на пулемет, Номоконов коротко улыбнулся. Это была универсальная скорострелка «МГ-39», хорошо известная разведчикам.

Повесив на себя металлические ленты с патронами, вырвав пулемет из амбразуры, Номоконов выскочил из дзота.

Эвенк положил оружие на бревна перекрытия, открыл и откинул крышку короба, вставил ленту в приемник, закрыл крышку магазинной коробки. Даже проверил: плотно ли ползун шатуна прилег к левой стороне крышки. Убедившись, — все так, как надо! — Номоконов взглянул на взводного. Смолин кивнул головой. Тогда эвенк плотно притиснул к плечу приклад из пластмассы, нажал на нижний спуск.

Длинная трассирующая очередь распорола темень ночи. Тотчас мелко и ровно застучали автоматы Смо-

лина и Шведа. И тотчас же в ответ залаяли, захрипели пулеметы, одиночно ударили винтовки. Потом где-то закашляла скорострельная пушка, и ее подержали басовито средние орудия.

«Пушка... пулемет... пулемет...» — лихорадочно заминал Смолин, переползая с места на место.

А Номоконов все стрелял и стрелял.

И тут во все горло завывала вражеская оборона! Трудно уже стало различать отдельные выстрелы и очереди пулеметов.

Наконец фашисты разобрались — левый фланг бригады бьет по своим: русские прорвались на позиции!

Прошло несколько минут. Смолин вдруг забеспокоился. Огонь противника ослабевал: оправились, видно, от испуга, поняли — русских немного.

Неподалеку зачернела одна фигура, другая, третья. Послышались обрывки команд. Редкими цепями, перебегая и ложась, солдаты «Мертвой головы» обходили дзот.

Подкова все ближе, все ближе к блиндажу. И вот, сорванные с земли резким, как хлыст, криком, эсэсовцы пошли в штыки. Петля захлестнула блиндаж. Но в нем никого не оказалось.

Разведчики ползли уже к себе, когда гитлеровцы, отрезая им путь, ударили из пушек.

Люди замерли. Слабо вскрикнул Пайчадзе. До старшины донеслась его приглушенная ругань.

— Зацепило? — спросил Бядуля.

Разведчик не ответил.

Бядуля подполз к товарищу, тихонько потряс его за плечо и вздохнул.

— Кто с ним? — подполз Смолин.

— Уже не живой...

— Возьми его. Ползем!

У проволочных заграждений разведчиков окатило грязью от разрыва. Смолин заскрипел зубами и громко позвал эвенка.

— Что, взводный?

Не отвечая, Смолин уронил голову, и Семен услышал бульканье воды. Еще не понимая, в чем дело, эвенк выхватил голову командира из болотной жижи. Потом вытер лицо Смолина ладонью и, закинув руку старшины себе на шею, грузно пополз вперед.

Навстречу им спешили наши пехотинцы.

На востоке чуть брезжило солнце, начинался еще один будничный солдатский день. В Ставку по проводам ушла еще одна сводка: «За истекшую ночь серьезных столкновений с противником не было. На ряде участков шла перестрелка и проводилась разведка боем...»



НА ПОЛУОСТРОВЕ

На полуострове на Кольском
Полночная лежала мгла,
Она в пути по скалам скользким
Помощницею нам была.

Невидимые, шли мы рядом
Во вражий тыл.
Шагай, молчи...
От бомб, от мин и от снарядов
Над салмой¹ скалы горячи.

«Еще вперед!»
Колючий ветер
Пронесся, душу леденя.
Мы шли, забыв про все на свете,
И лишь о мире нашим детям
Мы думали среди огня.

«Вперед!»
Победы час ускорим!»
Над салмой скалы горячи.
С зарницами снарядов споря,
Горит над Баренцовым морем
Сиянье севера в ночи...

¹ Небольшой залив.

И враг не устоял пред нами.
Мы были тем еще сильны,
Что солнечное
мира знамя
В сердцах несли
Сквозь тьму войны!





Ю. ХАЗАНОВИЧ

ФЛАГ СВОБОДЫ

Р а с с к а з

Со стариком я познакомился в бухте, где он рыбачил, и сразу угадал в нем моряка. Он был коренаст и кряжист, из-под ветхого пиджака виднелась тельняшка, на которой синие полосы выцвели, а белые потемнели. Походка у него была сильная, напористая, казалось, он все время идет против ветра.

Мы познакомились. Звали его Гордей Васильевич Сокол. Он действительно был моряком, плавал когда-то на «Потемкине», потом на «торговцах» — торговых судах, но по старости давно «пристал к берегу».

Сыновья Гордея тоже пошли по «морской линии»: младший служил на Балтике, прошлым летом приезжал в отпуск, а старший принял смерть на море в первый год Отечественной войны.

Гордей давно овдовел и жил один в своем домике у самой пристани. Но в ту осень, когда все кругом горело, когда, казалось, горела даже земля, осенью сорок первого года, дом сгорел, только чудом уцелела маленькая тесная боковушка. В этой боковушке он и жил сейчас. Работал Гордей в порту и в свободное время рыбачил, не столько ради заработка, сколько для удовольствия.

Гордей показал мне на большой гладкий камень, а сам уселся прямо на песке, возле корзинки, полной черных головастых бычков, от которых пахло морской глубиной. Он снял картуз с облупившимся лакированным козырьком, пригладил седые жесткие волосы, потом достал из кармана кожаный кисет и аккуратно сложенный газетный лист, потертый на сгибах.

Закурив и откашлявшись, Гордей спросил, откуда я, что занесло меня сюда. Я объяснил, зачем приехал в эти края, но, взглянув на старика, понял, что он не слушает меня. Обняв свои костлявые колени, Гордей смотрел в море, щуря светлые, чуть насмешливые глаза под мохнатыми седыми бровями.

Море лежало в огромной каменной чаше. С трех сторон над ним возвышались темные горы, а с четвертой стороны гор не было, будто разбилась чаша, и море выплеснулось, ушло далеко-далеко и слилось с небом.

Солнце спускалось за горы. Вдали, где море стало темно-синим, на воде появилась алая трепещущая полоса.

— Как светит! — тихо сказал Гордей.

— Что светит? — спросил я.

— Разве ты не видишь?

Я снова посмотрел на море, но не увидел там ничего, кроме огненной полосы заката.

— Светит, светит... — задумчиво покачал головою старик.

Он взглянул на меня, и в его прищуренных глазах мелькнула умная и немного лукавая улыбка человека, который знает то, чего не знают многие.

— Флаг это потемкинский... — прошептал Гордей, наклоняясь ко мне и показывая рукой на море. — Чудное дело: его уж там нету, а море все еще светится.

Старик неторопливо затянулся несколько раз подряд и заговорил. Он говорил о первой русской революции, о Черноморье, о мятежном броненосце «Потемкин», который никогда не забудут советские люди...

— По всей как есть русской земле шла революция, — рассказывал Гордей. — Рабочий народ взял оружие и выступил против царя.

Пришла буря и сюда, на Черноморье. На нашем ко-

рабле, на «Потемкине», матросы расправились с офицером и подняли красный флаг. Красный флаг...

Много всяких флагов перевидало Черное море. Но такой флаг никогда еще не красовался над его просторами. Да что там Черное море! Ни над одним из морей в целом мире до того дня не поднимался красный флаг!

Грозный наш броненосец маячил в море, нагонял страх на всех врагов революции. Царь приказал: усмирить «бунтаря». Посылал военные корабли, чтоб задушили восстание на броненосце, чтоб сорвали с его мачты флаг свободы. А матросы военных кораблей не стали стрелять в своих товарищей.

Тогда царь распорядился: не давать «бунтарю» ни угля, ни провизии! Так вот и бродил «Потемкин» дни и ночи, один во всем море.

А что дальше было, известно всем. По всем черноморским портам шныряли миноносцы. Царь наказал не впускать в порты наш броненосец, при встрече топить его минами.

А на броненосце кончались запасы угля, продовольствия, пресной воды. Что делать? Сдаваться? Нет. Потемкинцы решили не склонять свои головы. Решили они уходить к румынским берегам, подальше от царской власти. И еще порешили: схоронить свой флаг, чтоб никто не смог над ним надругаться.

Когда «Потемкин» вышел в открытое море, вся команда — восемьсот человек — собралась на верхней палубе. Спустили флаг, привязали к нему обломок колосника. Восемьсот матросов скинули бескозырки и дышать перестали. Тихо было на палубе. Очень тихо. Кто-то не выдержал, ударился в слезы. А один молодой матросик как замашет руками, как заголосит:

— Не надо, браточки! Не надо!.. — и кинулся к флагу, людей расталкивает и кричит.

А флаг полыхнул над головами и пропал за бортом. Но не сразу затонул. Вольно расплескался он на воде, потемнел и начал свертываться. Долго свертывался, боролся с волнами, играл на солнце, потом медленно пошел ко дну, как сгусток крови. А вода была ясная, как слеза.

С той поры и хоронился на черноморском дне флаг «Потемкина». От него-то и шел этот живой свет...

Гордей вздохнул, пососал потухшую сигарку и бро-

сил ее в море; мне показалось, что под мохнатыми бровями старика влажно блеснули глаза.

— Но вы сказали, что флага там уже нет,— несмело заметил я.

На темном от загара лице Гордея опять промелькнула знакомая мне умная и немного лукавая улыбка.

— Верно, нету его там,— ответил старик.— Вынесли его из моря. Это, брат, уже другой рассказ. Поймал ты меня на слове, теперь слушай.

Наши войска обороняли город от фашистов. Двести и пятьдесят дней держали оборону. А когда порядком помытарили врага, командование приказало отступить, чтоб силы до конца не растрчивать.

И вот уходило из города советское войско, а прикрывали его бойцы морской пехоты. Какие были хлопцы! Знали они, что не всем выпадет судьба уйти из города, что многим доведется здесь полечь и смертью своей, как щитом, прикрыть от вражьего огня сотни жизней. Но они и думки про это не имели, потому что герои никогда про себя не думают.

Ушло из города советское войско. А за ним уходили бойцы морской пехоты. Из целого батальона осталось их всего-навсего человек пятнадцать. Гранат уже не было, в дисках — считанные патроны. А гитлеровцы насаждают, прижимают их к морю, так и прут сплошной серой стеной. Вышли краснофлотцы вот сюда, на этот берег. На берегу — один баркасик и тот насквозь пробитый. А серая стена все ближе.

Огляделись краснофлотцы, посмотрели друг на друга и стали уходить в море. Последним шел моряк, ну, прямо сказать — богатырь. Было похоже, что на тельняшке у него шелковая красная ленточка. А то из раны лилась кровь, и некогда было ее унять.

Уходили краснофлотцы в море, уносили раненого товарища. Вода уже до колен. До пояса. Вот она давит грудь... Повернулись моряки лицом к родному городу, да за серой стеною врагов ничего не увидели. Тогда они выпустили из своих автоматов все патроны без остатка, — в серой стене сделалось много пробоин, и моряки увидели развалины своего города.

Немилосердно палило солнце. Море было тихое. Фашисты не стреляли; видать, считали, что моряки

все равно уже погибшие. Где им было понять, что герои никогда не погибают!

Вода уже щекотала им ноздри, гудела в ушах. Тогда моряки в последний раз посмотрели на свой город, и вода тихо сошлась над ними. Чья-то бескозырка не удержалась на голове, волны стали толкать ее к берегу, а потом вроде раздумали и понесли в море... Фашисты хозяйничали в городе. А кругом, в горах, собирались в отряды партизаны.

И вот как-то раз среди бела дня тучи налезли на солнце, море почернело, вспухло, разлутовалось, налетел ветер отчаянный. Тогда-то, рассказывают, вышли из моря пятнадцать краснофлотцев, построились на берегу и без единого выстрела прошли мимо ошалелых вражеских патрулей к партизанам, в горы. Впереди был тот моряк-богатырь. Говорят, на тельняшке у него горела шелковая красная лента. А в руках он высоко нес потемкинский флаг...

...И потом, когда весной сорок четвертого наши отбивали город, в самых первых рядах видели тех моряков с красным флагом «Потемкина». А бой был... Земля такого боя еще не видывала! День и ночь били наши пушки. От пушечного грома наверняка стекла дрожали на другом конце света. Черный дым целую неделю стоял над городом. Море разгулялось, закипело. А над городом, над морем, как вещуны победы, кружились самолеты с красными звездами. И в самом пекле бились пятнадцать краснофлотцев.

Потом, когда освободили город, их видели где-то в другом конце Черноморья. Но никто не ведает, где застала их победа и где они теперь...

Гордей замолчал. Ветер ерошил его волосы и словно разглаживал морщины; в сумерках, озаренное светом глаз, оно казалось совсем нетронутым старостью.

— А море, видишь, все еще светится...— сказал старик.— Светится в том месте, где лежал потемкинский флаг. Должно быть, за долгие годы сильно напнталось море тем огненным светом...

Он опять закурил и надел картуз. Мне не хотелось уходить отсюда. Я смотрел на берег, невольно искал затерянные следы отважных краснофлотцев и думал о высокой и святой любви народа к своим героям, о любви, которая рождает легенды.



А. САВЧУК

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

Рассказ

Лейтенант Сухов лежал в ложине, раненный в обе ноги. У реки заканчивался бой. Фашисты были разбиты, но их мелкие группы все еще сопротивлялись, пытаясь закрепиться на крутом берегу. Рядом, под деревьями, тихо журчал ручей. Прозрачная вода его серебрилась, горела на солнце.

Было убаюкивающе скучно слушать однотонную музыку ручья. Сухов напряженно прислушивался к тому, как там, у берегов большой реки, еще перекликались пулеметы. В бездонной, прозрачной голубизне неба изредка пролетали стремительные силуэты вражеских самолетов, и тогда земля качалась и вздрагивала от взрывов.

Сухов лежал уже несколько часов и чувствовал, как слабость все больше и больше сковывала его тело. Ему хотелось пить, сухая спазма сдавила горло. Жажда была так велика и мучительна, что он закрыл глаза, чтобы не видеть, как течет и серебрится у его ног вода. Он хотел только одного — как можно скорее уснуть и забыть боль. Но сна не было. Оставалось смотреть, как падали и кружились в воздухе пожелтевшие листья берез. От этого однообразия и однотонного журчания ручья у Сухова закружилась голова, и он закрыл глаза.

Послышался шорох. Лейтенант приподнял голову. К нему приближался солдат. Это был боец третьей роты Юлдаш Джабаев, с которым он до этого встречался всего несколько раз. Раздвигая руками ветки, Джабаев шел медленно, осторожной походкой, точно у него болели ноги. Он часто останавливался, оглядываясь по сторонам, и Сухов не мог понять, куда и зачем идет он.

— Джабаев, родной! — радостно крикнул Сухов. Юлдаш вздрогнул, задержался у куста.

— Товарищ лейтенант! — шевельнулись сухие, обветренные губы Джабаева, и в узеньких карих глазах казаха вспыхнули и боль и сострадание.

— Два нога ранила... два нога... ой-ой, — простонал он.

— Воды, Джабаев! — хрипло попросил Сухов.

— Сейчас будет вода, холодный вода, — ответил Юлдаш и так же медленно и осторожно пошел к ручью.

Сухов пил долго и жадно, отдыхал и снова пил. Джабаев надел на голову мокрую пилотку, вытащил из-за пазухи два бинта, сел возле Сухова и перевязал ему ноги.

— Ой-ой! Кость нету, ходить нету! Ой-ой!

— Как же мы доберемся до медпункта? — превозмогая боль, растерянно спросил Сухов.

Но Юлдаш только слегка улыбнулся:

— Ничего, ничего! Мой понесет на медпункт, доктору понесет.

И он нагнулся, взвалил Сухова на спину, перешел ручей и зашагал по полю. Он шел по рыхлой, заросшей полынью и чертополохом земле, изредка останавливался, проверяя, удобно ли Сухову. На плечах взмокла рубаха, шинель путалась между ногами, и даже пилотка казалась тяжелой и лишней на голове.

Сухов чувствовал, как медленно шагал Джабаев, как он спотыкался и тяжело дышал.

— Довольно! Не надо, Юлдаш, ты устал... Я не могу больше, ты понимаешь! — уговаривал его Сухов.

— Ничего, товарищ командир, — отвечал ему Джабаев и упрямо шел вперед.

Подул теплый степной ветер, но горячее, раскаленное добела солнце жгло нестерпимо. Сухов ощутил боль и усталость во всем теле.

— Джабаев, милый, я больше не могу! — наконец произнес он, и Юлдаш почувствовал, как на его шее слабнут руки Сухова. Казах опустился вместе с ним на землю и заулыбался какой-то виноватой улыбкой:

— Ой, беда, вода нету! Ой-ой! Как будет? Вода нету.

Джабаев горестно покачал головой, затем поднялся и опять той же медлительной и усталой походкой пошел кустами на поиски воды.

«Какой чудесный парень», — с нежностью и чувством глубокого уважения подумал Сухов.

Юлдаш вернулся, бережно неся в консервной банке воду, прихрамывая и кризясь от боли.

— У тебя нога болит, товарищ Джабаев? — спросил Сухов, но Юлдаш снова приветливо заулыбался и, протягивая банку, сказал:

— Пустяки, товарищ командир.

А потом снова взвалил его на спину и, тяжело сгибаясь и задыхаясь, пошел по полю.

Так он шел еще около часа. Издалека доносились канонада и завывание вражеских самолетов. Затем из-за кустов вырвался «Мессершмитт» и, сверкая крыльями, пошел на восток.

— Пролетел коршун, — сказал Сухов. Но самолет накренился набок, сделал круг, снизился и пошел обратно на бреющем полете. Сухов видел, как по земле, точно большая распростертая птица, навстречу ему летела тень.

— На нас! Оставь меня, прячься, Юлдаш! — приказал Сухов, и острая, щемящая тревога за этого человека охватила его.

А самолет завывал уже совсем близко. Сухов отчетливо различал летчика, видел его лицо. Застрочил пулемет, и пули с шумом вошли в землю.

— Джабаев, спасайся! — закричал Сухов, но Юлдаш не испугался и не бросил его. Бережно, как кладут грудного ребенка, он положил Сухова на землю и, когда летчик дал вторую очередь, лег на лейтенанта и закрыл его своим телом.

— Что ты делаешь, сумасшедший! — рассердился Сухов, но Джабаев неизменно улыбался и твердил:

— Ничего, ничего! Живая, товарищ Сухов, живая, командир!

Пули ложились впереди, сзади, по бокам, и серые струйки земли то и дело взлетали возле них. Когда самолет улетел, Джабаев поднял Сухова и пошел теперь уже вдоль раскатанной артиллерией дороги.

Сухов мучился, страдал от боли и от сознания, что причиняет столько хлопот Джабаеву. А солнце уже поблекло, небо потемнело, окрасилось тончайшими отблесками вечерней зари. Густая серая пыль клубилась вдоль дороги.

— Я больше не могу, Юлдаш, оставь меня и иди на пункт, к доктору, скажи, что я здесь, — сердито простонал Сухов.

— Немножко... еще немножко... совсем близко, — сказал Джабаев, приостановился и указал пальцем туда, где на фоне выжженных летним зноем кустов вырисовывалась небольшая возвышенность, возле которой стояли бойцы.

— Помогите! — что было силы крикнул Сухов, но его никто не услышал.

— Сейчас, еще немножко, товарищ командир, — успокаивал его Джабаев. Но Сухов чувствовал, что с каждым шагом боец двигался все медленнее, а ноги его спотыкались и подкашивались.

— Не донесешь, милый мой товарищ! — с отчаянием вскрикнул Сухов.

— Ничего... донесет Юлдаш Джабаев, обязательно донесет.

И донес его к блиндажу, бережно положил на землю, а когда к ним подошли бойцы и командиры, бледный, со смертельной усталостью в глубоко запавших, лихорадочных глазах, сказал:

— Одеяло, подушка командир надо. Скорей. Очень большая, два ноги нету.

Кто-то сбегал за одеялом и подушкой. Джабаев заботливо постелил одеяло, приподнял и перетащил Сухова на постель, вытер со своего лица пот и, закрыв глаза, лег рядом с ним.

Он лежал несколько минут, спокойный и торжественный, а когда лейтенант окликнул его, не ответил.

— Юлдаш, дорогой, ты спишь?!— тормоша его за плечо, воскликнул Сухов, но и на этот раз Джабаев не ответил ему.

— Умер,— сказал только что подошедший врач. Он сразу заметил мертвенную синеву на лице Джабаева и его остекленевшие глаза.

— Умер? Как умер?! — с испугом и ужасом в голосе спросил Сухов.

Врач не ответил. Он нагнулся над Джабаевым, пощупал пульс, расстегнул шинель и, заметив на гимнастерке запекшуюся кровь, отвернул ее, и все увидели несколько осколочных ран в животе Джабаева.

— И он так... нес вас?— с удивлением спросил врач.

— Да так и нес... Всю дорогу. Но я... я не знал, доктор.

И вдруг стало тихо-тихо, как в поздний час ночи. Врач снял с головы пилотку, и все остальные сняли тоже. Сухов приподнялся на руках и с мучительной болью в голосе и со слезами на глазах произнес:

— Какое большое сердце было у тебя, Юлдаш Джабаев.



*Книжка
моя.*



А. САВЧУК

РОЗОВЫЙ КОНВЕРТ

Рассказ

Больше года капитан Горбов не знал, где его семья. Жена и две девочки, Ася и Маша, остались по ту сторону фронта, и Горбов потерял с ними связь. Теперь он был в пяти километрах от деревни, в которой жила его семья. Живы ли его близкие? Что с ними?

Иногда он уходил в лес, забирался на высокую густую ель и смотрел туда, в степь, где на фоне голубого горизонта едва очерчивались крыши родной деревни. Он доставал из бумажника фотографические карточки и пристально всматривался в родные лица жены и дочерей.

В памяти вставали школа, в которой он работал до войны, маленький, утопающий в зелени домик, река и шумные воскресные прогулки на лодке. И тогда тоска еще сильнее и мучительнее охватывала его сердце.

Но вот неожиданно пришел приказ о наступлении, и Горбов заволновался. Бойцы знали о причине его волнения, с радостью смотрели на него и даже поздравляли.

— Ну вот, дождались, товарищ капитан, своих увидите.

В десять часов утра ударила артиллерия. Тяже-

лый грохот поднялся в разных местах одновременно. И чем чаще взлетали черные клубы, пересекаемые красными молниями разрывов, тем радостнее становился Горбов. Он сидел рядом с бойцами, улыбающийся, праздничный, и ждал сигнала к атаке.

Когда в небо взлетела ракета, первым из траншеи выскочил Горбов и каким-то торжественным, приподнятым голосом закричал:

— За Родину! Ура!

В полдень бой утих. Гитлеровцы откатились за реку и лишь изредка постреливали из минометов. Деревня теперь была недалеко. Нужно только пройти лощину, перескочить шумный, веселый ручеек, который Горбов помнил еще с детства, а там уже начинались колхозные постройки.

В лощине рядом с Горбовым лежал его помощник Быков. Он видел, что капитан очень волнуется и ежеминутно посматривает на деревню. Понимая, как важно ему побывать дома, Быков сказал:

— Сходите, товарищ капитан, а я побуду за вас, тут ведь недалеко.

И Горбов, забросив за плечо автомат, быстро зашагал вдоль лощины. Он бежал, перескакивая воронки, канавы, кусты, и молодому синеглазому автоматчику приходилось все время догонять его. Горбов уже представлял себе, как обнимет жену, как схватит на руки девчушек и будет кружиться с ними по избе, целовать и так шумно смеяться, как, может быть, никогда еще не смеялся.

Улицы деревни были пусты. Даже собаки не встретились на пути. Чем дальше шел Горбов, тем тревожнее сжималось сердце, и ощущение чего-то грозного и страшного властно охватывало все его существо. Он не помнил, как вбежал в свой дом, как остановился на пороге. В избе, как и на улице, было пусто. Стулья разбросаны, на полу валялась детская подушка, куски суконного одеяла и растоптанные фотографии. И только в углу, там, где когда-то стояла Машина кровать, висел вышитый рукой жены маленький запыленный коврик с изображением кошки, играющей в мяч.

Горбов с ужасом стоял посередине комнаты и все еще не мог понять, что же все-таки произошло.

Медленно, как больной, вышел он из избы и, бледный, молчаливый, побрел по разоренной улице. Людей нигде не было. Только на окраине он встретил сухого, сгорбленного горем старика и остановился. Горбов долго смотрел в желтые спокойные глаза старика и все не мог вспомнить, где и когда видел его.

— Ты что же, признавать не хочешь, Семен Андреевич?— спросил старик.

Горбов приподнял голову, внимательно посмотрел на старика и вдруг каким-то неузнаваемым, чужим голосом спросил:

— А где же семья моя, дедушка Иван?

— Семья?— тихо переспросил дед, помолчал и, низко опустив седую голову, сказал:— Семьи твоей нету, Семен Андреевич... гитлеровцы убили ее.

— Ты шутишь со мной, старик?!— закричал Горбов и схватил его за руку.

— Что же мне шутить,— освобождаясь от руки Горбова, сказал дед Иван,— тут они всех, и малых и старых, стреляли, которые живы остались, те сбегли. Вон, посмотри, какую посередь улицы могилу сделали, там все они лежат.

Только сейчас Горбов увидел высокий холм посередине улицы. Он подошел к холму, уже поросшему бурьяном, снял шапку, постоял и быстро пошел туда, откуда еще доносились разрывы снарядов и мин.

Шли дни. Горе стало постепенно выветриваться. Только строже и суровее стали глаза Горбова. Да и вся его фигура стала собраннее и решительнее. Он водил бойцов в атаки, предпринимал дерзкие налеты на врага. И все ему было мало, все казалось, что настоящее дело где-то еще впереди.

Теперь все реже и реже вспоминал он семью и уже никого не ждал, а лишь изредка доставал карточки и подолгу ненасытно смотрел и все не мог насмотреться.

Так незаметно в боях и тоске прошла холодная, сырая осень, затем ударили морозы. Наступил октябрьский праздник. Бойцы помыли и украсили блиндажи, покрыли столы и полки чистой бумагой, повесили портреты вождей и лозунги, сходили в баню, почистили обувь. И всюду, куда бы ни заглядывал Горбов,

чувствовалось бодрое, праздничное настроение. К обеду пришла из тыла машина с подарками, и высокий плотный украинец старшина Цыбулько обошел всех бойцов и каждому вручил подарок.

Бойцы ходили по траншеям, веселые, приподнятые, делились папиросами и печеньем, показывали друг другу письма из тыла.

Последняя, самая маленькая, скромная посылка досталась старшине Цыбулько. Она лежала на дне огромного деревянного ящика, бережно завернутая в розовую бумагу и перевязанная голубой лентой.

Так уж повелось, что Цыбулько всегда доставались самые маленькие и скромные подарки. Он взял небольшой пакетик, повертел в руках и, глядя на обступивших его бойцов, рассмеялся:

— Це ж опять мени достались носовые платки с курительной бумагой.

Он присел на патронный ящик, развернул пакет и, улыбаясь, спрятал его под шинель.

— Я вам, хлопцы, не покажу свой подарунок, а то сглазите.

Бойцы были настойчивы, они все плотнее обступали Цыбулько и требовали:

— Нет, товарищ старшина, раз все показали, то и вы покажите.

Тогда Цыбулько встал с ящика и весело махнул рукой.

— Ну, чертяка з вами, покажу.

В пакетике, как и ожидал старшина, был шелковый кисет, носовые платки, шерстяные носки, папиросы и небольшой розовый конверт.

Цыбулько угостил товарищей папиросами и разорвал конверт.

Письмо было небольшое, написанное крупным детским почерком.

— Це ж якесь-то дитятко прислало мени подарунок,— с радостью сказал старшина: — Ну, слухайте, ще воно тут пишеть.

Бойцы сильнее задымили папиросами, и лица их стали серьезными.

«Дорогой боец, — не торопясь читал Цыбулько, — посылаю Вам небольшую посылочку и поздравляю Вас с Великим Октябрьским праздником и прошу Вас —

отомстите за меня и за других девочек, у которых погибли мамы.

Теперь я осталась одна, папа мой с самого начала ушел на войну, и я не знаю, живой он или нет. А в прошлую осень к нам в деревню пришли фашисты. Они стали спрашивать всех, есть ли в деревне коммунисты? А потом кто-то сказал, что мой папа командир и коммунист. Фашисты очень били мою маму, потом били меня и спрашивали, где у нас золото. Но золота у нас не было. Офицер не поверил маме и еще сильнее стал бить ее и повесил на дереве и застрелил мою сестру Асю.

Я просидела три дня в сарае и убежала к тете. Потом вместе с ней через фронт пошла к нашим, но тетя попала на мину, а я осталась жива. Вот как мне тяжело было, дорогой боец. Сейчас я живу у Анастасии Ивановны Золотовой, она работает на трикотажной фабрике, и она мне как родная мама. Но скучно и тяжело мне без родных, и я часто плачу. Напишите мне, если у вас будет время.

Пока до свидания, остаюсь ваша незнакомая *Маша Горбова*»

Цыбулько читал все медленнее. Наконец, он вложил письмо в розовый конверт и тихим, подавленным голосом сказал:

— Ось це подарунок! Дитятко ты мое ридное. — И все увидели, как по старым морщинистым щекам его скользнули слезы.

Бойцы молчали. Никто не мог говорить в эту минуту, никто не шевелился и даже не курил. На середину вышел лейтенант Горин, вынул из кармана пачку денег и протянул ее старшине:

— Здесь пятьсот рублей, возьми, пошлешь девочке. .. Потом триста рублей протянул сержант Косов и сказал:

— Напиши ей, пусть пишет нам, мы ей помогать будем, не оставим.

А спустя еще немного Цыбулько сидел в блиндаже и считал деньги. Их несли из второй и третьей роты. К вечеру, когда у Цыбулько собралось три тысячи, а бойцы и командиры несли и несли ему деньги, он вспомнил, что делает нехорошо, не поставив об этом в известность командира батальона.

Через несколько минут он стоял в землянке капитана Горбова и докладывал:

— Так что, товарищ капитан, воны сами, як скаженны, несут и несут, даже не дали подумать за вас и согласовать це дило. Получается якость-то анархия, без согласования и разрешения командования.

— Ну, что ж, ничего плохого в этом нет, — ответил Горбов.

— Так и я ж кажу, что ничего особенного, а хлопцы кажут: эх, и попадет тебе от капитана.

Горбов улыбнулся и, взглянув на виноватое добродушное лицо старшины, спросил:

— Ну, а где же это письмо, почему вы его не показываете? Его нужно было бы перед строем прочесть.

— Вот, то-то ж я и кажу, товарищ капитан, — протягивая розовый конверт, сказал Цыбулько.

Горбов вынул из конверта письмо и начал читать. Старшина стоял возле капитана и видел, как хмурились и сходились у переносья его густые брови.

Вдруг Горбов вскочил, неузнаваемый, бледный. Руки его дрожали.

— Цыбулько! Родной! Да ведь это дочь! Дочь! Моя дочь, Цыбулько! Моя Машенька! — с дрожью в голосе сказал капитан. Он припал губами к письму и зарыдал от счастья.





П. ТОЛСТОБРОВ

ВЗВОД ОТВАЖНЫХ

О черк

Враг рвался к Дону. Он стремился смять нашу оборону, вырваться к Волге, обойти Сталинград с севера.

Еще в пути был получен боевой приказ: занять оборону и во что бы то ни стало остановить противника.

Взвод Василия Кочеткова расположился на склоне высоты 180,9, последней выскоты на правом берегу реки. Детально изучить обстановку не было времени, но даже несведущему в военном деле человеку было нетрудно понять, насколько опасным был этот участок. Удастся противнику, который сосредоточивал здесь крупные силы, сломить сопротивление гвардейцев,— его не остановишь до самого Дона.

Кочетков это понимал. Его смуглое от загара юношеское лицо за эти дни осунулось, стало строже. Во взгляде чувствовалась решимость. Он четко отдавал команды, и его все понимали с полуслова.

После двухдневного марша под горячим августовским солнцем солдатам хотелось отдохнуть, привести себя в порядок. Но было не до этого. Дорога каждая минута. И гвардейцы, взяв лопаты, стали спешно зарываться в землю.

Василий Кочетков зорко наблюдал за работой солдат. Видел, что подгонять никого не нужно, но то и дело

появлялся в отделениях: шуткой или советом ободрял бойцов. А те по взгляду своего командира понимали: надо торопиться, и все глубже зарывались в землю.

Враг не заставил себя ждать. Едва гвардейцы успели вырыть окопы, как перед фронтом взвода появились цепи противника.

Это была первая вражеская атака. Это было начало. Предполагали ли наши герои, что им предстоит впереди? Думали ли они, что на этом неудобном для обороны рубеже они обессмертят свои скромные имена?

Но думать было некогда. Враг подходил все ближе. От окопа к окопу полетела команда взводного: «Без моего приказа не стрелять!» Расчет командира был верным: пусть противник подойдет вплотную — сподручней бить. Припав к оружию и ничем не выдавая себя, гвардейцы ждали.

Неподалеку от командира взвода, готовый в любое мгновение нажать на гашетку пулемета, раскинув ноги, лежал младший сержант Павел Бурдов. Обычно спокойный, уравновешенный, он и здесь ничем не выдавал своего волнения.

Вражеские цепи все ближе. Они уже в нескольких десятках метров. Почему же нет команды? И наконец послышалась команда:

— Огонь!

И пулемет Павла Бурдова сразу заговорил. Его дружно поддержали автоматчики, стрелки. Передняя цепь врага стала быстро редеть. Потом она смешалась. Следующая по инерции еще катилась вперед. Но вот дрогнула и она. Не выдержав организованного огня, вражеские солдаты в панике пустились наутек, подгоняемые меткими пулями. Немногим из них удалось унести ноги. Не менее двух взводов полегло на поле боя.

Первая атака отбита. Командиры отделений доложили, что потерь нет, никто не ранен. Довольный результатом схватки, лейтенант вытер со лба пот, закурил. От сильной жары и крепкой затяжки немного закружилась голова.

Через некоторое время Кочетков отдал приказание проверить оружие, быть готовым к отражению новой атаки. Это было нелишним.

Не ожидавшие организованного сопротивления на этом участке фашистские захватчики решили во что бы

то ни стало его сломить. Не успел Кочетков докурить папироски, как над позицией взвода появился корректировщик и пустил вниз ракету. И тут ударила вражеская артиллерия. Вот когда гвардейцы впервые по-настоящему почувствовали, что значит надежно зарыться в землю!

Снаряды рвались у самых окопов — то впереди, то сзади. И вдруг все стихло. Сквозь дым и пыль, поднятую взрывами, Кочетков заметил впереди фигуры людей. Они выступали все явственней. За первой цепью двигалась вторая, третья. Новая атака!

— Приготовиться к бою!

— Огонь!

И тут началось. Атака, артобстрел... Атака, артобстрел... Уже вся высота окуталась дымом, почернела. Потерян счет временн. Но солнце еще высоко, и надо ждать: противник появится снова.

Нервы у Василия Кочеткова были напряжены до предела. Его лицо почернело до неузнаваемости, только по-прежнему блестели голубые глаза. Во всех движениях чувствовалась сила волн и решимость.

Отбита четвертая атака. Передохнуть бы! Но еще не успели остыть славно поработавший пулемет Бурдова, стволы автоматов и винтовок, как показались новые цепи. Это были автоматчики в черных мундирах. Они шли самоуверенно, во весь рост, думая одним своим видом устроить гвардейцев.

— Вот она «психическая»... эсэсовцы... — проговорил Василий Кочетков, еще сильнее сжимая в руках автомат. — Держись, ребята, покажем им, где раки зимуют!

— Ничего, сметем и черных! — раздался в ответ бодрый насмешливый голос Григория Штефона. Он был известным балагуром, никогда не унывал. И сейчас, услышав его голос, солдаты по старой привычке засмеялись:

— Всыплем по пятое число!..

А по цепи снова — уж в которой раз! — передается приказ командира взвода:

— Без моей команды огня не открывать!

Все ближе вражеские цепи. Уже слышно, как гитлеровский офицер подает команды. Все нетерпеливей взгляд гвардейцев в сторону командира. Но выдержка, выдержка, друзья! Она приносит победу.

И вот оно, долгожданное: «Огоны!»

Ливень свинца ударил по врагу. Один за другим падают эсэсовцы. Подпрыгнув, рухнул на землю долговязый, с железным крестом на груди офицер, который шел впереди. Гитлеровцы в замешательстве.

— В контратаку на врага, за Родину, вперед! — скомандовал Кочетков и первым выскочил из окопа.

Перескакивая через вражеские трупы, гвардейцы ринулись за своим командиром. И не было силы остановить эту лавину. То, что не сделала пуля, доделал штык. Враг был смят, разбит наголову.

Никто не заметил, как пуля пронзила левое плечо командира. Не заметил этого вначале и Кочетков. Он даже удивился, увидев стекающую с руки кровь, но, когда возвратился на свой наблюдательный пункт, был бледен и едва держался на ногах.

Сняв гимнастерку, он приказал связному перевязать себя и никому не говорить о случившемся.

...Солнце, неимоверно палившее весь день, солнце, от которого негде было укрыться, ушло за соседнюю высоту. Надвигалась черная южная ночь. Пересилив боль, Кочетков с помощью связного вылез из окопа и обошел свой взвод. Он решил поговорить с каждым солдатом, выяснить настроение, воодушевить, потому что всем было ясно, а командиру тем более, что враг на этом не остановится и, может быть, предстоит выдержать еще более сильный натиск.

Разговаривая с бойцами, Кочетков боялся одного — не выдать своего ранения: это могло плохо повлиять на настроение солдат. Приходилось напрягать всю силу воли, чтобы превозмочь боль в плече.

Выделив дежурные огневые средства, командир приказал всем свободным солдатам и сержантам отдыхать. Но сам он, несмотря на ранение и неимоверную усталость, не сомкнул глаз. Зорко наблюдая за гребнем высоты, за флангами обороны взвода, Кочетков чутко прислушивался к тишине, настораживался на каждый ночной шорох. Он думал только о том, как ему лучше организовать оборону, если враг двинет тапки, как лучше расставить силы, чтобы при первой встрече с танками войны не растерялись.

Выдержат ли те, что остались в живых?.. Ведь осталось так мало.

Рассвет подкрался незаметно.

Еще не появилось солнце, как за гребнем высоты послышался шум моторов, а через некоторое время на фоне неба показались первые вражеские танки.

Начинался день 17 августа 1942 года.

— Один, второй, третий...— считал командир машины с огромными белыми крестами впереди и на бортах.— Приготовить противотанковые гранаты!.. Восемь... Десять... «Эх, огоньку бы!» — подумал Кочетков, хотя знал, что артиллеристы еще не успели подойти на поддержку.— Еще два!— Двенадцать танков против шестнадцати человек!

Собрав всю свою энергию, обессиленный потерей крови и бессонными ночами, командир взвода приподнялся над окопом и обратился к своим питомцам:

— Товарищи гвардейцы! Фашистские танки мы должны остановить во что бы то ни стало. Вспомните, как наши товарищи защищали Москву... Нам тоже некуда отступать. За нами Сталинград... А впереди победа!

Низко над головами с воем пронесся вражеский снаряд, потом еще, еще.

— Гранаты к бою, вперед!—скомандовал Кочетков.

Гвардейцы разом подались вперед, полетели первые гранаты. Завязалась неравная схватка. Танки, на ходу ведя огонь из орудий и пулеметов, наседали. Но вот в привычном гуле машин, грохоте рвущихся снарядов и свисте вражеских пуль послышалось два взрыва. Молодцы, ребята! Два танка с подорванными гусеницами закружились на месте.

Командиру стало все трудней управлять боем. Он видел, как один за другим падают и не поднимаются сраженные вражеским огнем бойцы. А танки стальной лавиной неумолимо движутся вперед, прямо на окопы гвардейцев... Наступил самый решительный момент. Выдержат ли нервы? Не струсит ли кто, не испортит ли все дело?

Нет! Уральцы никогда не подводили. Недаром у сердца почти каждого воина лежит комсомольский билет. Недаром их Родина назвала гвардейцами, а гвардия не отступает!

Вот один из солдат вскакивает и с криком «За Родину, вперед!» бросается со связкой гранат под

танк. Взрыв. Герой погиб, но фашисты дорого заплатили за его жизнь: третий их танк был выведен из строя.

Беспримерный подвиг героя воодушевил воинов, влил в них новые силы и решимость. Гвардейцы выскочили из окопов и ринулись на танки, забрасывая их гранатами. Послышались новые взрывы. Остановился четвертый танк.

У противника осталось еще восемь машин. Василий Кочетков настолько обессилел, что не мог двигаться. Едва приподняв голову, он осмотрелся: сколько гвардейцев еще в строю? Василий Чирков, Михаил Степаненко и Михаил Шуктомов... Только трое против восьми танков. Но гитлеровские танкисты уже заколебались. Увидев, как запылал четвертый танк, несколько вражеских машин повернуло обратно. Два танка продолжали еще двигаться вперед, непрерывно ведя огонь из пушек и пулеметов. Тогда оставшиеся в живых бойцы бросаются с гранатами на них, выводят их из строя и погибают сами.

...Так закончилась эта беспримерная схватка. Так сражались и погибли шестнадцать героев-гвардейцев, из которых только двоим — Ивану Федосимову да Павлу Бурдову — едва исполнилось 30 лет, а всем остальным, в том числе и отважному командиру взвода, было по 19—20 лет. Они погибли, но не отступили ни на шаг, не пропустили врага.

...Над Доном в сизой дымке медленно подымалось жаркое августовское солнце. Всюду грохотал бой, только на участке, который оборонял взвод Кочеткова, временно установилась тишина.

Воины, подошедшие на подкрепление, склонив головы, смотрели на своих павших товарищей, с которыми еще вчера шли в одном строю. Вид поля боя, устланного вражескими трупами, горевшие машины говорили сами за себя. Да, так могут драться только гвардейцы, только наши советские воины, воспитанные Коммунистической партией!

Политрук роты Новиков разыскал умирающего командира взвода. Он и рассказал о подробностях только что закончившейся битвы. Под конец, когда иссякли последние силы, Василий Кочетков передал политруку просьбу — свою и погибших товарищей:

— Просим всех нас считать коммунистами.



МИХАИЛ НАЙДИЧ

В СТАЛИНГРАДЕ

(Из поэмы)

Немногословный разговор,
Солдатское прощанье,—
Уходит гвардии майор
На трудное задание.

Над степью ветер тучи гнал,
Прибить их к Волге жаждал.
Шел бой за город, за квартал,
За дом, за угол каждый.

Напрасно раньше в слепоте
Искали слова проще,
Когда углы назвали те
Так буднично — жилплощадь.

Ведь здесь любой обычный дом.
Весомо и реально
На шаре встанет на земном
С доской мемориальной.

Одна граната, пистолет,
Один глоток во фляге.
Всему предел, и только нет,
Предела нет отваге.

Пусть ты один, а пред тобой
Мелькают вражьи тени,—
Ты в обороне круговой,
Но ты не в окруженьи.

Тебя не бросить наповал,
Хотя ты ранен дважды...
Шел бой за город, за квартал
За дом, за угол каждый.

Василий вверх переползал,
Схватившись за перила,
И пылью каменной глаза
Ему запорошило.

Загар с лица его сошел,
Лицо вдруг стало белым...
— Нет, нет, друзья, все хорошо,
Слегка плечо задело!

Майор до боли руки жмет,
Узнав солдат знакомых.
Сильней забился пулемет
В чернеющих проемах.

Не умолкает пулемет,
А пулеметчик ранен.
Но комсомольское идет
Здесь в комнате собрание.

— Пусть пол и стены горячи,
Но мы не отступаем:
Из уважительных причин
Одну лишь смерть считаем!
В кольцо наш город, но, друзья,
Мы все взломаем кольца,
Иначе жить нам и нельзя —
Не правда ль, комсомольцы?

— Ты прав, товарищ секретарь!..
Народ мы будто разный:
Я сам казах, а ты волгарь,
А старшина с Кавказа.
Но вот, к примеру, нам вчера
Вручили писем много,
И пусть я в руки их не брал

И тайн чужих не трогал,
Я знаю без того и так
(Чутье мне подсказало)
Тебе о том писал земляк,
О чем мне мать писала.
Недаром мы фашиста бьем
Единою — брат за брата.
Я пулей бью, а ты штыком,
А старшина гранатой!..

От крови намокал рукав,
Василий встал и начал:
— Товарищ Нургалиев прав,
У нас одна задача.
Друзья в усилиях своих
Пусть рук не покладают...
Но где из всех передовых
Лежит передовая?
Кому из множества бойцов
Дано такое право —
Сражаться в городе отцов,
На волжских переправах?
Ведь здесь со связкою гранат
Суров, красив и точен
Стоял насмерть наш старший брат —
Царицынский рабочий!

Молчат бойцы — горючий дым
Походов давних ожил,
И то, что было дорогим,
Вдруг сделалось дороже:

И старый обгоревший вяз,
Что пули перепилят,
И этот дом, уже не раз
Простреленный навылет,

И чудом уцелевший том
На деревянной полке,
Где Пушкина портрет — лицом
К врагу, спиною к Волге.

Не просто их в такие дни
Спасаем от разрывов,
А то, большое, с чем они

В сознание неразрывны.
И если это осознал,—
Прорвется в слове, в жесте...
А ветер, ветер все листал
Листы из белой жести.

Над крышей «Юнкерсы» — не счесть —
В пике пошли на ясли.
Но ясно, что у дома здесь,
Враги уже завязли.

Над ними облака встают,
Как белый флаг, который,
Когда сдаются в плен, несут
В руках парламентары.

Еще немало впереди
Боев ожесточенных,
Но и боец, ты погляди,
Каким он стал ученым!

Не зря Василий, сам учась,
Был и с другими строгим:
Совсем потрепанная часть,
А встала на дороге.

Казалось: что за сила, власть
В том слове — сталинградцы?
Совсем потрепанная часть,
А как умеет драться!..

Но словно все наоборот,
Как будто против правил,
Примчалась весть, что первый взвод
Полуподвал оставил.

Нигде, ничем не знаменит —
Хранилище, картофель,
Но вот теперь он заменил
Окопы в полный профиль.
И стал обычный тот подвал
Объектом очень важным...

— Ах, лучше бы майор кричал,
Покрывл бы трехэтажным,
Бросал бы в трубку, сам не свой,

Обиду за обидой.—
И взводный шевельнул рукой,
Осколком перебитой.

Придется отбивать подвал!
И в сумке из холстины
Гранаты взял: — А ну, братва,
Свяжите воедино!

И к камням грудью привалясь,
Тихонечко пополз он.
Огонь и дым, и пыль, и грязь
Пошли ему на пользу:

Он в них, не взятый на испуг,
Остался незамечен;
Да вот беда — припомнил вдруг,
Что далеко-далече
Наташа, дочка, дом, Урал...
— Не надо вспоминать бы!—
А он, чужак, дожить мечтал
До девочкиной свадьбы.

Наташа!.. Где ты?.. Не забудь...
Весь небосклон в накрапах,
Сейчас умрет не кто-нибудь,
Сейчас умрет твой папа.

А умер — всё, навек умолк...
Но что ты тут попишешь,
Но что поделаешь — есть долг,
И он всего превыше.

И думал, что конец делам,
Что не увидит милых,
Что взводным меньше числить нам
В Вооруженных Силах.

Но рядом с этой — вот мудрец —
Другую мысль держал он:
Нет, шутишь, это не конец,
Еще гульнем, пожалуй.

Во все живущее влюблен,
В мозгу своем горячем
То веру в жизнь достанет он,

То снова тут же спрячет:
Мол, не к чему ребячья прыть
Под пулями на поле,
И — как бы это объяснить —
Ну, чтоб не сглазить, что ли?

По стеклам и по кирпичу
Он полз секунд пятнадцать,
А сердце все — хочу, хочу,
Хочу живым остаться!

И вот — зловещий вход в подвал.
Рука взлетела. Грохот...
Успел подумать: «В цель попал
И, значит, жить неплохо».

И пусть еще не понял он,
Что жив, да и к тому же
Не обожжен, не оглушен,
Не ранен, не контужен, —
Спасая землю, сам приник
К земле родной плотнее.

Видать, всегда в тяжелый миг
Мы неразлучны с нею!..
И загремело, как обвал,
По крыше черепичной,
Когда Василий Шаповал
Повел гвардейцев лично.

Слова!
Мы поручили им
Своих сердец глубины.
Сознательность, мы говорим,
Учеба, дисциплина.
И их теплом всегда согрет,
Ребенок или взрослый...

Но вот в сраженьях
Слов тех нет —
Они есть до и после.

А здесь, в особый час боев,
Совсем иная мерка;
Здесь воплощение этих слов
И этих слов проверка!

...И видел, кто остался жив,
Суровую проверку:
Враги, пощады запросив,
Подняли руки кверху.

И ты победу увидал, —
Ведь ты ее так жаждал!..
Шел бой за город, за квартал,
За дом, за угол каждый!





Ю. ХАЗАНОВИЧ

ЧЕЛОВЕК № 10 920

Р а с с к а з

В один осенний день 1944 года я шел по городу с приятелем, пожилым военным врачом.

Осень в том году была обычная для Урала — солнечно щедрая, сухая и жаркая. Листва на деревьях наливалась звонкой бронзой. В воздухе струились тонкие, как солнечные лучи, липкие паутинки. Пахло растопленным асфальтом.

Неподалеку от завода, где шоссе сворачивало за город, белели выщербленные на брусчатке широкие полосы — следы танков, ушедших в поле на обкатку.

Было воскресенье. Но, как и в будние дни, где-то на полигоне почти через равные промежутки времени гулко бухали тяжелые орудия, а из другого конца города доносился нескончаемый, на одной ноте, могучий рев моторов на испытательном стенде. Ни грохот трамваев, ни урчанье и сигналы автомашин — ничто не могло заглушить эти звуки; они плыли над городом, то усиливаясь, то затухая, привычные, давно уже никем не замечаемые.

На перекрестке двух улиц возле репродуктора толпился народ. Передавали сводку Совинформбюро.

Мой спутник вдруг стал внимательно смотреть вперед, словно боясь потерять кого-то из вида, и крепко взял меня за руку.

— Вам случалось видеть пронумерованных людей? Я не понял его.

— В госпитале у меня лежал, — быстро сказал врач. — На груди выколот пятизначный номер. Хотите, познакомлю? Интересная судьба. Только чуточку прибавим шагу.

В конце квартала мы поравнялись с человеком в поношенной солдатской одежде. Он сильно припадал на левую ногу. Узкая белая полоска бинта перечеркивала его лицо, закрывая левый глаз, часть лба и щеки.

— Здравствуйте, товарищ Адашкин! — громко сказал врач, беря его за локоть.

Человек оглянулся.

— А, доктор, — проговорил он обрадованно и немного смущенно.

На вид ему было около тридцати. Но, присмотревшись, я понял, что на самом деле он значительно моложе и что состарили его не годы, а, должно быть, какие-то большие испытания. Правая часть лица, не закрытая бинтом, несмотря на худобу и поразительную бледность, была красива той особенной строгой и мужественной красотой, сквозь которую прекрасно просвечивает другая красота — духовная.

Врач спросил, не беспокоит ли его нога.

— Франтите? — укоризненно качнул он головой. — С палочкой было бы легче.

— Надоели подпорки...

Знакомя нас, доктор сказал, что Адашкин воевал, был в плену и недавно вернулся «с того света» — из Майданека.

— Да, да, вы не ослышались, из Майданека, — проговорил он, заметив мое удивление.

Адашкин чувствовал себя неловко. Румянец залил его худые желтые щеки. Он был совсем по-детски застенчив, и это пробуждало к нему доверчивые, теплые чувства.

Хотя было воскресенье, мне не удалось позвать к себе ни его, ни врача. Шутливо пожаловавшись на свою врачебную судьбу, мой приятель направился в госпиталь, Адашкин же заявил, что вечером уезжает в санаторий на два месяца.

— Жаль, — вырвалось у меня.

— Врачи посылают, — развел руками Адашкин.

— А, может, продолжим наше знакомство по почте? — неуверенно предложил я.

Адашкин охотно согласился. Я дал ему свой адрес и пожелал счастливого пути.

Вопреки моим опасениям, Адашкин сдержал слово. Передо мной его письма. Это правдивый рассказ нашего современника, советского воина, комсомольца, на долю которого выпали неслыханно тяжкие испытания. Почти полтора года из своих двадцати лет он пробыл в фашистском плену. Я привожу его письма полностью, опустив лишь обращения и даты.

Письмо первое

Когда-то я любил писать письма, а теперь даже отвык от карандаша.

С чего начать? Начну с того, что в Свердловск я попал из Кунцево в 1941 году вместе с заводом, где работали мои родители. Успел окончить только девять классов, когда началась война. А как завод наш обособился на Урале, пошел работать. Не потому что была нужда в моей зарплатке. Семья у нас трудовая, жили мы по тому времени неплохо. Но я считал, что доучусь после войны, а пока главное — помогать фронту.

Поступил я учеником по лекальному делу, а через четыре месяца получил разряд. Обучал меня лекальщик Кравченко, известный на заводе человек. В газете как-то писали, что он художник своего дела; это истинная правда.

Видно, я пришелся ему по душе, мы быстро по-настоящему сдружились. Однажды Кравченко и говорит мне:

— Не могу больше работать, Левка. Выучил я много ребят, хватит с меня. Уйду на фронт. Если бы у меня года неподходящие или порча какая-нибудь в организме. А при таком здоровье шаблончики драить просто совестно...

Это было осенью сорок второго. Помните то время? На карту смотреть было страшно.

По совести говоря, я и сам подумывал о том же, но никому не признавался. А тут сказал Кравченко, что не отстану от него.

И мы уговорились ехать вдвоем. Тихонько пошли в военкомат, поплакали перед лейтенантом, написали

заявление, а он даже не проверил, забронированы мы на заводе или нет, и на другой день — нам повестки.

Расчет брать, конечно, не пришлось. Вообще на заводе никто не знал про наш сговор. Дома я рассказал отцу и матери. Отец спокойно принял мою новость, а мать, разумеется, всплакнула, а потом стала собирать меня в дорогу.

В вагоне у нас получилась неожиданная неприятность. Только уселись и закурили, как вдруг входит директор нашего завода. Мое сердце так и екнуло: беда!

Мы вполне смогли бы замаскироваться, но он застал нас врасплох. Не успели мы пикнуть, как он налетел на Кравченко.

— Ну, молодой человек, пора на работу! — а сам отдышаться не может, видно, долго бегал по вагонам, искал. Дело понятное — другого такого лекальщика на заводе не было.

Кравченко отпирался, показывал бумаги, да ничего не помогло, — не станешь ведь с директором комедии разыгрывать. Пришлось подчиниться. Меня же директор в лицо не знал, Кравченко не выдал, и я уехал.

Вместе с другими ребятами, тоже из Свердловска, попал в пехотное училище. Помню, заходит к нам лейтенант Казаков:

— Есть, — спрашивает, — среди вас ребята посмелестей, посмелее?

— Все, как один, — отвечаем.

— В разведку кто хочет?

— Все, товарищ лейтенант...

С того дня мы и начали учиться на разведчиков...

Сегодня, пожалуй, не успею больше написать: теперь «мертвый час», и врач, Александра Петровна, строгая, но симпатичная старушка, ходит по палатам, заставляет спать.

Какое все-таки плохое название придумали: «мертвый час». Я когда-то был несколько раз в пионерских лагерях, но раньше как-то не обращал на это внимания.

Письмо второе

Пожилой хмуроватый вояка из нашего батальона рассказывал мне, что у них, у бывалых фронтовиков, есть такая примета: если ты первые три месяца от-

воевал и невредим,— всю войну пройдешь. Меня ранило на третьем месяце. Печальное совпадение, конечно.

В январе сорок третьего мы выехали на фронт. Наша часть действовала в районе Торопца. Фашисты здесь укрепились основательно.

А места кругом очень красивые — леса да леса, высокие, густые, древние. Мне кажется, на фронте особенно замечаешь природу.

Смотришь вокруг и думаешь: разве можно уступить кому-нибудь такую красоту, ведь это все наше, родное, русское!

В этих-то местах я и получил, как говорится, боевое крещение. Ходил в разведку — тихую и с боем, выводил, что требовалось, приводил «языков» несколько раз вместе со стрелками отбивал атаки фашистов. Это время самое лучшее в моей жизни. Потом все вышло не так, как я загадывал, когда уезжал на фронт.

В конце марта я и еще пятеро разведчиков получили задание пробраться к гитлеровцам в тыл. Двое суток перед этим мы наблюдали за передовой противника.

Ночью поползли. Саперы перерезали проволочные заграждения и вернулись, а мы двинулись дальше, в лес.

Ночь была темная, с морозцем.

Вот минули первую линию траншей. Все в порядке. Стали подбираться ко второй линии. В это время сзади — белая ракета. Осветило нас, как миленьких — никуда не денешься. Фашисты сразу же открыли сумасшедший огонь. И началось...

Через сколько-то минут, а может, часов перестрелки — не знаю — слышу, стонет кто-то поблизости. Ранило двоих: Волошина и Лемеша. Я уложил их на плащ-палатку, ко мне на подмогу подполз Кузнецов, и мы потащили раненых назад, на свою сторону.

Светало. Сквозь туман уже была видна колючая проволока.

«Дотащить бы, — думаю, — до проволоки, там небольшой скат, там уже легче».

Чувствую, ужалило меня в левую ногу. Стало горячо, больно. Присел я, а подняться не могу.

— Тащи сам,— говорю Кузнецову,— я прикрывать буду.

Фашисты огнем поливали нас сзади, слева, потом затихли. А Кузнецов к проволоке все ближе. Давай, давай, друг, нажимай! Вдруг вижу; впереди, справа, совсем близко, двое гитлеровцев налаживают пулемет. Как назло, кончился у меня второй диск. Меняю диск и думаю: кто же раньше успеет?

Диск все-таки поставил, но больше ничего не помню.

Очнулся в маленькой комнатке с одним окном. У стены трехэтажные нары. На нарах раненые. Кто-то стонет. Посмотрел кругом и опять, наверно, забылся.

Пришел в себя оттого, что качает меня. Открываю глаза. Несут меня на носилках. Передо мной — серая шинель. Хлястик держится на одной пуговице. А на ней — наша звезда. И так спокойно сделалось на душе. Поднесли к товарному вагону, укладывают на хрустящую солому, кто-то поит меня,— и опять провал в память. Сколько это длилось,— кто знает? Снова открываю глаза: темно. Грохочут колеса. Где-то совсем близко незнакомые голоса. Говорят по-русски.

Губы у меня запеклись, во рту горько и сухо. Помню, попросил:

— Горячего бы мне.

По-соседству кто-то засмеялся невесело:

— Еще дадут и горячего и всякого...

А другой голос объяснил:

— Нас, брат, Гитлеру на обед везут, понял?

Мы — пленные! Но страха я не почувствовал тогда; наверно, оттого, что соображал еще туго.

Везли нас долго. В вагоне было холодно, темно. На какой-то станции поезд остановился, загремела снаружи щеколда, и дверь с визгом поползла.

Здоровенные гитлеровцы взобрались в вагон и начали просто выбрасывать раненых на снег, в кучу. Меня тоже плюхнули на кого-то, и я сразу потерял сознание.

Позднее узнал: привезли нас в Порховский лагерь. Лежу на деревянных нарах, голова будто не своя, точит голод. Помещение большое, но в нем пасмурно, тоскливо. Со двора долетит какая-нибудь команда на немецком языке, и опять тихо. Только раненые стонут,

ругается кто-то в бреду. А кругом все чужое-чужое, — и нары, и окна, заколоченные фанерой, и стены; как раз против меня висит портрет Гитлера с прилизанным на одну сторону чубчиком.

Чем больше я думал над своим положением, тем на душе становилось темнее. И вдруг я заметил на кирпичной печи, недалеко от моих нар, дощечку, прибитую высоко, почти под самым карнизом. На ней написано черной краской: «Ответственный за топку — красноармеец Иванкин». Видно, здесь когда-то была казарма.

Если разобраться, то что особенного в той дощечке? А чувство, знаете, какое вызвала? Вот когда попадешь в незнакомое место, люди кругом незнакомые, чужие и ты всем чужой, и неожиданно встречаешь знакомое, родное лицо. Честное слово, я даже бодрее себя почувствовал.

Не знаю, как доктора на это смотрят, но я на себе проверил: когда не хнычешь, не киснешь, и раны быстрее заживают.

В Порховском лагере я подружился с Костей Решетниковым и не разлучался с ним больше года. Но про это в другой раз напишу.

Вы спрашиваете, как я поживаю. Поправляюсь не по дням, а по часам. Лицо уже не такое зеленое, как было. Заикаюсь меньше, это у меня на нервной почве. Александра Петровна сказала, что обязательно вылечит.

Письмо третье

Я обещал написать про своего друга Костю Решетникова.

Он попал в плен примерно так же, как и я. Сам он из Воронежа, инженер-технолог. Звание имел пехотного капитана. Был он высокого роста, широкоплечий, до того живой и веселый, что даже трудно представить себе такого человека. Без него всем нам пришлось бы совсем горько. Если заметит, что парень какой приуныл, — не отстанет от него, пока не растормошит. Знал он массу всяких смешных историй.

У Кости была ранена правая рука, у самой кисти и выше локтя, в шее сидел осколок мины. Фашисты на

работу его не гоняли, потому что рука у него висела, как мертвая, а поворачивался он всем туловищем — рана на шее не заживала.

Костя бродил по лагерю и приносил нам новости. Вечером, бывало, сядет у окна, зажмурит глаза и поет баском: «Взяв бы я байдур...» Это была его любимая песня.

Он сносно знал немецкий и иногда переговаривался с конвоирами. В одной такой беседе он сказал пиллеровцу: — Ваше дело, мол, все равно пропащее... — И тот его избил плеткой.

Фашиста с пустыми руками — без плетки или тросточки — в лагере не увидишь. Конвоир, кроме виговки, всегда плетку носит.

Все надежды были на то, что поправимся, переведут в рабочий лагерь, а оттуда можно бежать. Режим в Порховском лагере, как я позднее понял, был не очень строгий. Доходили слухи, что из рабочего лагеря каждый день удирают на волю четыре-пять человек. Нам рассказали: перед тем, как нас привезли сюда, партизаны налетели ночью на лагерь, перестреляли охрану и увели почти всех, кто мог ходить.

Но рассчитывать на такое счастье не приходилось. Только на себя, на свои ноги. А у меня нога перебита в трех местах. Пленные русские врачи раз в десять дней перевязывали нас. Да что это были за перевязки! Фашисты давали вместо бинтов тонкую жатую бумагу, и ту в обрез. Такой бумагой, помню, мать когда-то украшала цветочные горшки. Приложат такую бумагу она в момент намокает, расплзается, и лежишь с открытой раной.

В нашем бараке перевязки делал пожилой врач с серебряным ежином и на редкость спокойным лицом — Петр Петрович; фамилии его почти никто не знал.

Как-то я спросил у него, можно ли поправиться при таком лечении, что говорит на этот счет медицинская наука.

Он внимательно так посмотрел на меня большими, очень спокойными глазами и сказал негромко:

— Медицина, друг мой, еще молодая и весьма слабая наука. К тому же она здесь почти ни при чем. Советские мы люди — в этом сейчас все. — Он помолчал, потрогал свои серые жесткие усы, снова поднял на

меня глаза, повторил тихо:— Советские люди. Я вспоминаю: когда мы в мирное время произносили эти слова, нам слышалось в них что-то лозунговое, громкое. А сейчас открылся настоящий смысл. Это, другой, сила духа. Неодолимая сила. Можно убить нашего человека, можно сломить его тело, но дух... Тут они ничего не сделают...

Эти слова глубоко запали мне в память. И я думаю, что не «лечение», а именно та сила, о которой говорил доктор, помогла мне.

В Порховском лагере, когда меняли повязку, я понял, что у меня поповеркано лицо, на месте левого глаза — яма. Но Костя уверял, что страшного ничего нет, и даже ввернул насчет свадьбы.

В Порхове я поднялся, начал выходить во двор. Рукой держусь за Костю, а на правой ноге прыгаю.

Только я встал, маляр разрисовал мой наряд, как было положено в лагере. На гимнастерке, над левым карманом и на спине — белой масляной краской — «SU», кроме того, на спине — большой красный крест и на брюках — широкие красные лампасы. Это чтобы конвоиры издали могли различить советского военнопленного, в каком бы положении он к ним ни находился.

Барак наш был у самой дороги. Однажды, когда часовой ушел в сторону, какая-то женщина бросила мне через колючую проволоку кусочек хлеба. Я не мог сказать ей спасибо, — так сдавило в горле.

— Может, нужно чего? — спросила она на ходу.

— Костыли бы мне...

— Нету у меня, сынок. Но я поищу. — И ушла.

На другой день она принесла костыли, выбрала удобный момент, ловко подкинула их под колючую проволоку, шепнула:

— Наши близко... — И быстро скрылась.

Лицо этой женщины я и сейчас помню. Большие синие глаза, прямой нос, гладко зачесанные светлые с сединой волосы, пробор посередине, — простое хорошее русское лицо.

Костыли были старенькие, по-моему, еще с первой мировой войны, но крепкие.

Женщина сказала правду: дня через два мы услы-

шали канонаду. Потом заметили, что фашисты зашевелились, стали собирать все под метелочку.

Вот бы наша армия обошла Порхов, отрезала его, тогда фашисты не успели бы увезти нас! Мы все мечтали об этом. Но мечты не сбылись. В одно хмурое утро гитлеровцы спешно подняли весь лагерь и под охраной конвоиров и собак погнали на станцию.

Привезли нас в эстонский город Валга. На окраине города, в нескольких рубленых домах, обнесённых колючей проволокой, помещался лагерь-лазарет. В одном из таких домов жили раненые, в других — здоровые военнопленные. Их каждый день посылали на сельскохозяйственные работы: на уборку урожая, рытье траншей для хранения картофеля, переиоску овощей на склады и т. д.

Лагерь был относительно спокойный, фашисты нас не очень доимали, режим здесь был слабее, чем в Порхове. Да и питание немного лучше: работающие подкармливали остальных всем, что им удавалось добыть. Через наших работающих товарищей население регулярно передавало для раненых бинты, лекарства.

По соседству с лагерем был небольшой особняк — аккуратный каркасный дом, со всех сторон окруженный садом. Хозяйка особняка, пожилая эстонка, для уборки двора и сада каждый день брала двух-трех ходячих пленных, в том числе и костыльников. Работали у нее с 7 утра до 12 дня.

Я слышал от товарищей, что хозяйка относится к пленным хорошо, и сам убедился в этом, когда меня направили в особняк.

Когда я пришел в первый раз, эстонка минут двадцать беседовала со мной, расспрашивала, кто я, откуда, как попал в плен. Она говорила по-русски с чуть заметным акцентом.

Это была женщина лет за пятьдесят, высокая худощавая, с умным и строгим лицом. И разговаривала она суховато и строго. Но мне казалось, что строгость эта напускная, деланная. Все работавшие у эстонки получали завтраки и обеды; они состояли из разных картофельных блюд. Иногда на обед давали даже кашу и молоко...

В этом лагере мы узнали правду о положении на

фронтах: до нас доходили сводки Совинформбюро. Вечерами, когда все были в сборе, кто-нибудь из товарищей вполголоса торопливо зачитывал сводку. При этом обязательно выставлялся наблюдатель; он покуривал за дверью и в случае опасности должен был предупредить всех.

После чтения мы подолгу обсуждали известия. А они были замечательные: наша армия выиграла битву на Курской дуге, освободила левобережную Украину, Донбасс, восточную часть Белоруссии. Наша армия наступала.

Как доходили до нас сводки, я сначала не имел представления. И, так как товарищи не говорили об этом, то я и не допытывался. Но вскоре все выяснилось.

Однажды, когда я подметал дорожку в глубине сада, издали показалась хозяйка. Поравнявшись со мной, хозяйка быстро посмотрела по сторонам и остановилась.

— Сейчас я дам вам сводку. Зачитаете товарищам. Сможете?

— Что за вопрос!

— Я так и думала.

Она быстро достала из кожаной сумочки тетрадный листок, сложенный, наверно, в шестнадцать раз, и передала мне. Я спрятал его за пазуху.

— Прочтете товарищам и уничтожите. Будьте осторожны.

Эти последние слова она сказала своим обычным строгим тоном, но в строгости этой было что-то материнское.

— Вы слушаете меня?— спросила она, видимо, заметив, что я растерялся.

Я кивнул.

— Завтра, когда я приду в лагерь за работниками, укажите мне надежного человека. Надежного, который нуждается в поддержке питанием. Только, чтоб немцы не заметили. Понятно?

Я опять кивнул, не отрывая от нее глаз. Она показала руками, чтобы я принимался за дело, и мелкими частыми шагами пошла дальше по садовой дорожке.

Так вот откуда залетали к нам в лагерь за колючую проволоку вести с родной земли! Нет, не просто

хороший человек эта эстонка! Теперь мне стало ясно, что и я попал к ней по чьей-то рекомендации.

Несколько раз махнув метлой в разные стороны, я бросил ее, спрятался за кустами крыжовника и прочитал сводку. Вечером я прочитал ее товарищам. А утром незаметно указал эстонке на Костю Решетникова...

В начале ноября сорок третьего года эстонка неожиданно исчезла. Из особняка вывезли имущество, а дом заколотили. На другой или на третий день после этого сменили охрану лагеря. А всех, кто хотя бы один раз побывал в особняке (фашисты вели строгий учет), вывели во двор лагеря, стали готовить к отправке.

В середине дня нас погрузили в товарный вагон. Семьдесят человек в обыкновенный двухосный вагон. Можно было только стоять. Запечатали двери и в открытые люки бросили хлеб.

Везли нас долго, может быть, недели две, мы потеряли счет времени. В дороге умерло больше пятидесяти человек. Мертвые не падали, потому что стояли мы плотно. Пить не давали — это было самое страшное.

Наконец, поезд остановился, загремели двери, раздалась команда выходить. Прнехали. В городе Валга к составу прицепили один вагон с военнопленными, а сюда прибыл поезд с такими же, как и мы, узниками. Видно, лагерей по пути было немало.

Лагерь, в который нас пригнали, не похож ни на Порховский, ни на тот, откуда мы прнехали. Все здесь построено основательно, фундаментально. Высокие железобетонные столбы, напоминающие букву «Г», в три ряда окружают огромный лагерь. Между столбами — колючая проволока. Белые чашки изоляторов блестят на солнце. Понятно: по проволоке пропускают ток.

— Сколько у них этих лагерей... — подумал я вслух.

— Все равно весь мир в лагерь не упрячешь, — сказал Костя.

Нас загнали в барак и каждому дали в руки по картонке. На моей картонке был номер 10 920.

За маленьким столом стоял гитлеровец в очках. В одной руке он держал пузырек с синей тушью, в другой — ручку с длинным и тонким, как жало, пером. Это был своего рода писарь.

Пленный подходил к нему, клал картонку на стол, и «писарь» выкалывал ему на левой стороне груди тот

номер, что стоял на картонке. Эсэсовец работал, как автомат, без передышки. Я не видел, чтобы он хоть кому-нибудь посмотрел в лицо, и глаза у него, кажется, не моргали.

Костя Решетников, я и еще товарищи отказались выкалывать номера. Нам приказали отойти в сторону. Через несколько минут в барак вошел унтер-офицер, в точности такой, каких у нас на карикатурах рисовали: низкорослый, рыжий, с волчьими глазами. Ему доложили.

— Выходи! — крикнул он и достал револьвер. — У меня патронов хватит...

Неужели погибать от такой дурацкой пули! И мы поплелись подставлять свою грудь. Мы уже начали отвыкать от своих фамилий: все заменял номер. В Порхове он был написан на одежде, в лагере Валга мы носили на шее железный жетон с номером. А теперь номер поставили прямо на живом теле. Если бы не товарищи, можно было бы забыть имя свое и фамилию и вообще все на свете. Но этот номер, конечно, никогда не забудется.

Эсэсовец не пожалел туши, проклятое клеймо никак не бледнеет. Но я все равно выведу его. Может, у вас есть знакомый химик? Очень прошу, узнайте, что можно сделать. Химики, по-моему, должны это знать.

Письмо четвертое

Лагерь, куда нас привезли, находился недалеко от Кракова. По-немецки он назывался Аушвиц, по-польски — Освенцим.

Костя Решетников, легко и быстро сходившийся с людьми, в тот же день познакомился с воннопленным, который работал в комендатуре лагеря. «Наш человек», — сказал о нем Костя. От этого человека он узнал, что партия, прибывшая из города Валга, значится в документах как политическая — «за коммунистическую пропаганду» — и направлена в Освенцим для кремации.

— Только спокойно, — предупредил он Костю, — ребятам ни слова. Постараемся уладить...

И он уладил. В Освенциме в это время работала комиссия Международного Красного Креста, и бла-

годаря некоторому переполоху среди гитлеровцев, «нашему человеку» из комендатуры удалось исправить документы. Партия наша переправлялась в Люблинский лагерь Майданек, а в сопровождающих бумагах слова о коммунистической пропаганде и кремации исчезли...

Привезли нас в Майданек в ноябре сорок третьего года. Описывать лагерь не стану, — Вы, наверно, читали уже все, что было напечатано. Просто расскажу несколько моментов из моей жизни в этом лагере.

Как только мы попали сюда, нам сразу стало ясно, что Майданек строже и страшнее лагерей в городах Порхов и Валга. От старожилов мы узнали, что Майданек, как и Освенцим, имеет еще одно название — лагерь смерти. Сами немцы открыто называли Майданек «фернихтунгслагер», то есть лагерь уничтожения.

На каждого из нас заполнили анкету на голубом бланке, выдали одежду, разукрашенную, как и в Порхове, буквами «SU», крестами и лампасами. Мне достались рваные штаны из английского сукна, темно-серый немецкий френч без правого рукава и на ноги — гремучие колодки. Костя Решетников и я попали в барак на втором поле.

Здесь обитали главным образом калеки, которые не могли работать. Товарищи познакомили нас с «внутренним распорядком» лагеря. На Майданеке было шесть полей, отгороженных одно от другого колючей проволокой. У самой проволоки проходила дорожка, она называлась «дорогой смерти». В того, кто выходил на нее, стрелял с вышки пулеметчик.

Движение пленных на всех шести полях разрешалось до 6 часов вечера. Как только темнело, на вышках зажигались прожектора. Они пересекали лагерь во всех направлениях, и тот, кто попадал под их лучи, оставался на месте: его укладывал пулеметчик.

Утром мы вышли с Костей из барака, и первое, что увидели, была длинная процессия. Она двигалась по территории лагеря. Старики, женщины, дети шли строем по пять человек в шеренге. Маленьких детишек несли на руках. Конвоиры следили, чтобы строй не ломался, чтобы между шеренгами соблюдалась определенная дистанция, — знакомый нам фашистский порядок. По бокам колонны и сзади конвоиры вели собак. Это были овчарки и доги, здоровенные, как телята.

Унылое шуршание сотен ног, жалобный плач малышей, резкие выкрики коивоиров, рычание и лай собак, — такой ужасной процессии я никогда не видел.

— В яр ведут, за шестое поле, — показав головой на колонию, тихо проговорил светловолосый парень лет двадцати пяти, подошедший к нам. Сквозь тонкую и желтую, будто калька, кожу его лица просвечивали синие жилки. Если бы не глаза, маленькие, серые, бойкие, его лицо казалось бы мертвым.

— Давно здесь? — спросил Костя.

— Сто девяносто шесть дней и ночей, — горько улыбулся парень. — Самому даже не верится, — живу. — И, продолжая смотреть на удаляющуюся колонию, добавил: — Сейчас музыку дадут...

— Какую музыку?

— А чтоб не слышно было...

И в самом деле, как только люди скрылись в овраге, на соседнем поле загремели репродукторы. Фокстроты чередовались с вальсами, а вальсы смеялись тягучими танго. Веселая музыка на мертвом поле, со всех сторон огорожениию колючей проволокой в несколько рядов, — это страшно.

Выстрелов действительно не было слышно, но человеческие крики долетали до нас даже сквозь этот шум. Я уже успел насмотреться всяких страхов, но холодные мурашки забегали по моей спине, а кулаки сами собой так сжались, что даже стало больно. Костя до крови прикусил губу.

— Кончают... — сказал парень. — Душегубы. Мирных людей. Печки, вишь, без остановки полыхают, — он показал костылем на шестое поле, где курилась черным дымом высокая серая труба крематория.

Ветер принес сладковатый, одурманивающий запах этого дыма, и меня затошнило.

— А я скажу, вот им, которых решают сейчас, им лучше... — раздумчиво проговорил парень. — Их сразу, а нас, лагерных — постепенно. Все тут смертники...

— Смертники, — негромко повторил Костя.

Я посмотрел ему в глаза и понял: не верит Костя в то, что он — смертник. И я тоже не верил.

Сколько потом довелось мне видеть таких процессий! Каждый день в лагерь по шоссе Люблин — Хелм пригоняли тысячи мирных людей: поляков, украинцев,

евреев — стариков, женщин и детей. Иногда музыка на шестом поле гремела с утра до ночи, — это когда уничижали большую партию людей. Потом их сжигали в печах. Из трубы на шестом поле круглые сутки всю неделю валил дым. А люди шли и шли на шестое поле. И никогда не сосчитать, сколько жизнью загубили фашисты...

Всем бараком нас повели в баню. Нужно было раздеться в бараке и голыми идти по осеннему холоду метров четырехста. Кое-кто поднатужился и допелся раньше других, но никого не пропустили, пока не собрались все, — такой был порядок. А тем временем тряпье, которое мы скинули, опрыскивали какой-то жидкостью. Дошкандыбали мы обратно совсем заочевенные, и пришлось напяливать на себя мокрую одежду. Жидкость была вонючая и ядовитая — все тело от нее зудило, кожа шелушилась.

Возле бани вплотную стояла серая каменная постройка; мы думали, — склад. Когда проходили мимо, я и еще несколько товарищей заглянули мимоходом в открытую дверь. Там было темно. В нос нам ударил удушливый воздух. Позднее мы узнали, что это газовая камера. Тут гитлеровцы газами душили людей. Потом приходилось видеть, как людей из города вели прямо в газовую камеру. А через некоторое время трактор тащил оттуда на шестое поле, в крематорий, прицеп, нагруженный трупами.

Очень скоро мы узнали «принцип», который гитлеровцы проводили на Майдаане. Все здесь было устроено так, чтобы ты попал на шестое поле. Но перед тем, как попасть туда, если раньше сам не отдашь богу душу, — пройдешь ад на земле: голод, холод, унижения, побои, пытки.

Переносить голод, холод, жажду тяжело, что и говорить. Однако человек может ко всему этому привыкнуть, приспособиться. Например, если быстро съешь пайку хлеба, не утолишь голод, даже, как говорится, червячка не заморишь. Но если ту же пайку жевать долго, терпеливо, со вкусом, — как будто насытишься...

Но разве можно привыкнуть, приспособиться к палке, к тому, что с тобой могут сделать все, что захотят? Нет, никогда, ни за что не сможет смириться с этим советский человек! Если он старшего поколения, значит,

собственной кровью добывал свою свободу. А такие, как я, как Костя? Ведь мы еще в первом классе большими буквами переписывали в свои тетрадки из букваря: «Мы не рабы...»

Не раз вспоминали мы с Костей лагерь на окраине города Валга, особняк в большом саду, пожилую эстонку (где она? Наверно, тоже мытарится в каком-нибудь лагере), и жизнь, которой мы там жили, казалась райской.

Только здесь, на Майданеке, Костя признался мне, что подготовлял побег из лагеря Валга.

— Если бы ты, дьявол, мог ходить, как человек, ушли бы, — сказал он с досадой.

Бросить меня Костя не хотел, и, чтобы выволить из лагеря еще нескольких таких же, как я, костыльников, он договорился с эстонкой, что она добудет лошадей. Но не успела...

Лучше бы Костя не рассказывал об этом. Я представил себе, что мы могли бы уже быть на свободе, и на душе сделалось еще невыносимее.

А сил с каждым днем становилось все меньше. Да и как им было не убывать? Наш дневной паек был такой: хлеб из каштановой муки с опилками и бурда из перетертой брюквы, так называемая баланда. Если из дневной порции хлеба, которую выдавали утром, пересилив себя, оставить кусочек на вечер, то его уже не раскусишь, — так он черствеет.

Каждый месяц нас взвешивали и вес записывали в голубую карточку. Такой уж у них был порядок во всех лагерях. В Порхове я весил 70 килограммов. На Майданеке дошел до 36.

В нашем бараке помещалось около двухсот человек. Каждый день умирало человек пять-шесть от ран, от болезней, а главное — от голода. Правда, пополнение приходило часто.

Светловолосый парень, с которым мы познакомились в первое утро на Майданеке, Николай Проук, землемер из-под Курска, как-то принес в барак два закопченных дымящихся котелка.

— Ну-ка, навались, ребята! — весело пригласил он, осторожно ставя котелки на свои нары. — Такого супа никто из вас сроду не едал. Ручаюсь.

Нельзя сказать, чтобы суп был жирный и вкусный,

но ни в одном лагере такого супа мы не ели. Шуточное ли дело — суп с мясом! Правда, оно сильно смахивало на резину, но все-таки мясо.

Человек пятнадцать поели досыта. С непривычки я даже почувствовал усталость от сытости. Когда поели, стали допытываться у Николая, где он раздобыл мясо.

Николай хитро усмехался и молчал, блаженно разваливаясь на нарах. Желтое лицо его покрылось кирпичными пятнами.

— Свистнул? — спросил кто-то. — Признайся, не выдадим.

— У кого тут свистнешь? — насмешливо проговорил Николай. — Да и не по моей это специальности...

— Дело нечистое, раз не говоришь, — с тревогой сказал Кротов, измученный и забытый человек. — Смотрите, хлопцы, еще достанется нам.

— За что достанется? — рассмеялся Николай. — Песик-то был приبلудный, ничейный, одним словом...

В сравнении с тем, что нас иногда заставлял есть голод, песик был, конечно, лакомством...

Николай Проук оказался человеком слабым. Физически он был не хуже других, но душа у него была хилая, немощная. Он часто плакал, не стесняясь. Вспоминал жену, дочку Галочку, говорил, что им никогда уже не увидать своего батьку, и плакал.

— Хороший хлопец, а волн ни на грош, — сказал о нем Костя. — Взяться за него надо, а то пропадет...

Но «взяться» за него было не так-то легко.

— Что ты меня заряжаешь? — отмахивался он с раздражением. — Никто не уходил отсюда. Никто. Понял? Агитируй не агитируй — дымом в небо уйдешь, и все...

— А я не хочу — дымом, — возражал Костя, хотя у самого кошки скребли на душе.

— Не спросят у тебя, желаешь ты или не желаешь.

— Знаешь, друг, — сказал Костя, закипая, — были бы мы поздоровей, я бы из тебя всю дурь выколотил, — и он показал костлявый кулак.

Николай махнул рукой:

— Не беспокойся, и без тебя выколотят. Вместе с потрохами...

Во время этого разговора в барак вошел офицер Мюллер с овчаркой, крикнул:

— Становись!

Мы построились. Мюллер, высокий, чуть сутулый, поправил пенсне на длинном тонком носу и, держа собаку на поводке, двинулся вдоль строя, оглядывая нас внимательным и презрительным взглядом.

Против Кривенкова он остановился, показал рукою на дверь, скомандовал своим резким высоким голосом:

— Идти!

У Кривенкова ноги были здоровые, а обе руки прострелены; обмотанные грязными тряпками, они неподвижно лежали у него на груди.

Пленный вышел. Офицер посмотрел на часы и что-то сказал собаке. Пес, нетерпеливо натянув кожаный поводок, смотрел на дверь.

Мы стояли не дыша. Сколько времени прошло, не знаю, возможно, минут пять или десять. Мюллер еще раз взглянул на часы и отпустил собаку. Пес бросился вперед, навалившись лапами на дверь, открыл ее и выбежал. Следом за псом вышел из барака и Мюллер. Дверь осталась открытой.

Мы подошли ближе и увидели Кривенкова. Он шел по снегу к проходной. Собака по следу помчалась за ним. Вот она сзади набросилась на пленного, повалила. Кривенков не мог обороняться, только кричал, а пес злобно рычал и рвал его.

Размахивая поводком, Мюллер не спеша двигался к проходной.

— Сволочи! — прошептал кто-то.

Мюллер, наконец, приблизился к собаке, взял ее на поводок, погладил, дал кусок сахара и увел. Кривенков остался лежать на снегу.

Как только Мюллер скрылся, мы поплелись за товарищем, притащили его в барак, перевязали новые раны.

В стороне от бани, за огородами, в специальном помещении находилась псарня. Каждый день собак водили на прогулку мимо лагеря. А ученье молодых собак офицеры проводили на полях, нередко применяя такие же «методы», как и Мюллер.

— Вот и выживи тут, — плаксиво проговорил Николай Проук.

— И выживем! — со злой убежденностью закричал

Костя. — Только не канючь, ради бога! Меньше будем ныть — легче будет...

На эти темы мы не раз говорили с Костей. Я тоже временами падал духом. Если бы знать, что делается на белом свете, где теперь наши, какое положение на фронтах, было бы не так тяжело. Раньше у нас была хоть какая-то связь с миром. А на Майданек, как в могилу, вести не проникали.

— Все узнаем, — убеждал Костя. — Как только они еще больше начнут свирепствовать, знай: дела у наших хорошие...

— Куда еще больше свирепствовать?

Скажу не ради красного словца, а по правде: как ни было тяжело, я не мог представить себе, чтобы они победили. Они могут нас удушить, расстрелять, сжечь, но не больше. А раз так, значит, надо держаться, чтобы и это не удалось. Держаться, несмотря ни на что!

И все-таки страшно хотелось узнать, что делается по ту сторону колючей проволоки. Вот почему, увидев парня из рабочего лагеря, стоявшего на третьем поле неподалеку от проволоки, я решил спросить у него, не слышал ли он новостей с фронта. Переговариваться запрещалось. Но я подался в проход между бараками и очутился у самой проволоки. Хотя у всех у нас выработалась привычка постоянно оглядываться, нет ли поблизости эсэсовца, я не заметил, как налетел капо — канцполицай, надсмотрщик.

Тут разговор короткий — за нарушение порядка приказано шкандыбать в первый барак. В этом бараке лупили плетками. Капо был сам кожаной плеткой с тремя концами.

«Отошел» я на нарах. Был уже вечер. Смотрю, надо мной стоит Костя и еще три товарища.

— Как же это ты?.. Что тебя занесло? — говорит Костя с упреком, а по глазам вижу — радуется, что я жив.

«Живой! — думаю я. — Поживу еще!»

На другой день произошел случай, который потряс дружную семью нашего барака.

С утра Николай Проук был мрачен, не разговаривал ни с кем. Потом стал рассказывать сон. Будто с женою и с Галочкой гуляет по парку: музыка, цветы, он в новом костюме и в шляпе, которой никогда не носил...

— Не бывать, не бывать этому, — закончил он и потянул носом.

— Чудак же ты! — усмехнулся Воробьев, бывший механик-водитель танка. — Еще как может быть!

— Нет, нет... Сон показывает все наизуворот...

Днем он вдруг быстро поднялся с нар, взял костыли и посмотрел на нас с улыбкой; она показалась мне безумной, отчаянной.

— Прощайте хлопцы... Все одно пропадать... — И заковылял из барака.

Никто сразу не смекнул, что он задумал. Несколько пленных вышли следом за ним. А Проук по снегу — прямо на проволоку. Товарищи стали кричать ему. Он даже не оглянулся.

Не успел он подойти к «дороге смерти», как с ближайшей вышки трахнула пулеметная очередь. Проук взмахнул руками и повалился на проволоку, она загудела, занеслась под ним.

Через час двое гитлеровцев в черных резиновых перчатках сняли его с проволоки и провезли мимо нас на шестое поле; он был весь черный, как уголь.

Барак удрученно молчал. Каждый думал о поступке Николая, о себе, о том, что ждет нас в жизни. Костя сидел на нарах, по-турецки поджав ноги и, как ребеночка, качал свою правую руку, перебитую в двух местах. В тишине раздался его тихий задушевный голос. Костя запел:

Сяду за решеткой в темнице сырой,
Вскормленный на воле орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном...

Сам того не замечая, я тихонько повторил за ним слова пушкинского «Узника». А когда Костя затянул: «Мы вольные птицы, пора, брат, пора», — песню подхватило еще несколько голосов.

— Нет, это не дело, — вдруг сказал Воробьев.

— Ты о чем?

— Да о Николае. Не выход это. Хилый был парень...

— А мы плохо помогали ему, — сумрачно заметил Костя.

— Поможешь, если у человека душонка, как у того кроля...

— Можно было, — упрямо качнул головой Костя. — Хороший урок дал нам Николай. Жаль только парня...

Я вспомнил врача Петра Петровича из Порховского лагеря, его слова о слабости меднцны и о неодолимой силе духа.

— Золотые слова, — задумчиво сказал Семенчук, немолодой добродушный украинец из Дарницы. — Можно палец царапнуть и уговорить себя, вроде это смертельно, и благополучно помереть. А можно и Майданек пережить...

Лежа на третьем ярусе, надо мной, Костя рассуждал вполголоса:

— Мы вот не задумываемся, почему они так лютуют, почему так зверствуют? А потому, что боятся нас. Мы безоружные, безногие и безрукие, а они нас боятся. Понимают — придет расплата. И чем меньше нас останется, тем лучше для них — свидетелей меньше. Зачем же нам самим облегчать их положение?

В ту ночь мы долго не могли заснуть.

Из одиннадцатого барака, где жил надсмотрщик Шальц, всю ночь неслись пьяные крики и завывание губных гармошек.

— Хотя б наши разбомбили Майданек, что ли, — мечтательно проговорил в потемках Воробьев.

— Дожить бы до этого, — вздохнул Семенчук. — Да где они сейчас, наши?

Совсем близко хлопнуло несколько револьверных выстрелов. Пьяные вопли и смех послышались возле нашего барака. Мы притихли.

Утром выяснилось, что гитлеровцы ночью встречали новый 1944 год. Мы не знали ни дней, ни чисел.

Письмо пятое

Весной жить стало немного легче; не так донимал холод.

Лагерь преобразился. Зазеленели березки; они росли вдоль всего поля в два ряда, строго под линейку. Как-то странно и больно было видеть нашу русскую красавицу-березку в фашистском лагере. Казалось, что и она тоже в плену...

Дорожки между деревьями посыпаны песком, на обоих концах дорожек разбиты клумбы с цветами. Несколько раз на день пленных заставляли подметать поле, чтоб нигде ни бумажки, ни окурка. И это в лагере смерти. Порядок, будь он трижды проклят!

Я все еще не мог ходить без костылей. Перелом заживал, но пуля, застрявшая в голеностопном суставе, не давала возможности выпрямить ногу. Это было и плохо и хорошо. Хорошо потому, что меня не могли перевести в рабочий лагерь. Во всех лагерях одно и то же: чтобы не работать на гитлеровцев, раненые сами и при помощи наших пленных врачей растравляли заживающие раны, всякими способами задерживали выздоровление. Это была своеобразная форма протеста.

Врач объяснил мне, что даже в условиях Майданека он мог бы кустарным способом удалить пулю, и нога быстро поправилась бы. Но он советовал пока не делать этого. Если появится угроза атрофирования сустава, тогда уж придется... Пулю мне удалил в Свердловске Ваш знакомый врач, который нас познакомил.

В том, чтобы оставаться больным, было еще одно преимущество. Больных эвакуировали в последнюю очередь, таким образом, увеличивались шансы попасть к нашим.

Гитлеровцы в ту пору уже открыто заговорили о своем «планомерном» отступлении, и мы понимали, что дела у них «швах», как говорится по-немецки. Тем сильнее хотелось остаться в живых, встретить победу, своими глазами увидеть, что наступила мирная жизнь, без фашистской Германии, без лагерей смерти, порожденных ею. Именно в это время на Майданеке появилась песня, начинающаяся словами:

Кто жив будет, вернется, расскажет,
Как нас мучили, как истязали,
Как кормили нас на убой —
Двести граммов с опилками хлеба
И пол-литра балаиды с ботвой...

В один из первых теплых дней мы с Костей Решетниковым медленно шли по дорожке напротив барака. От проходной на велосипеде катил офицер Мюллер.

Я не двинулся с места, потому что не мешал ему: дорожка была такая, что по ней свободно прошла бы и машина. Но Мюллер на полном ходу врезался мне рулем в бок, ради забавы, наверно.

Я свалился. В голове от боли помутилось. Когда опомнился, увидел: нога сломана на старом месте. Товарищи перенесли меня в барак, Костя отыскал деревянные плашки и соорудил что-то наподобие шины.

А через пять дней я заболел. Пленный русский врач определил сыпной тиф. Меня перегинали в двенадцатый барак. Там лежали больные заразными болезнями. Нары в этом бараке такие же, как и в нашем, — трехъярусные. Мое место было на нижнем этаже, а на втором и третьем лежали смертельно больные парии. У них горлом шла кровь. Воздух в бараке был невозможный.

«Неужели тут конец?» — думал я.

Тиф у меня был в легкой форме, памяти я не терял. Костя приходил раза три на день, сидел возле меня, рассказывал разные байки, чтобы развеселить, заставлял есть. Хлеб, который я не поедал, он уносил.

Эсэсовцы в этом бараке не появлялись, — боялись заразиться.

Через месяц, должно быть, я поправился, встал. Меня качало сильнее прежнего. Но все-таки живой!

Я вернулся в свой барак. Многих товарищей я не досчитался здесь. Но самый дорогой для меня человек — Костя Решетников — был со мной. Он сильно подался за это время, на висках у него появились ямы, глаза ввалились, но блеск их остался прежним — живым и веселым. Как только я пришел, Костя принес мешок, сделанный из рукава старой гимнастерки, полный закаменелых сухарей. Это были сухари, что я не доел во время болезни. Костя собирал их для меня.

— Почему же ты не ел? — спросил я.

— Ничего, сам съешь. После тифа только подавай!

Он был прав. Эти сухари крепко поддерживали меня. В кипятке они размокали, и их можно было есть.

Вдруг опять надвинулась беда: Костя, наверно, заразился от меня и тоже заболел сыпняком. Но его скрутило страшно. В первый же день он потерял сознание. Я почти не отходил от него. Он бредил. Часто пел свое любимое: «Взяв бы я байдур...» Наш врач

говорил, что положение у него серьезное, и разводил руками. У кого просить помощи?

Костя погнал на наших глазах; его можно было спасти, а мы ничего не могли сделать. Тиф, как видно, ударил на легкие, у Кости началось кровохарканье.

Через десять дней я навеки потерял своего друга. Я попрощался с ним. Потом к двенадцатому бараку подъехала тачанка. На ней сидели двое пленных из рабочего лагеря, ходячие мертвецы, и конвоир. Он остался на поле, а пленные вытащили из барака труп Кости Решетникова, заодно еще четыре трупа, с трудом взвалили их на тачанку и увезли на шестое поле.

В лагере, как и в жизни, встречаются люди неприметные. Живет такой человек в бараке, потом исчезнет, и почти никто этого не замечает. Не таким был Костя Решетников. Он был не только замечен, но и нужен всем, и теперь его не хватало, его все вспоминали. Про себя говорить не буду — мы ведь еще из Порхова вместе путешествовали, и отношения у нас были душевные.

В эти дни меня в числе других пленных погнали перебирать картошку. Это помогло немного отвлечься. Огороды тянулись вдоль лагеря. Недалеко от того места, где в буртах лежала картошка, буйно росла капуста. Ее называли «кучерявка». Такой капусты я никогда не видел. Страшно было ходить по этим огородам: все на человеческих костях, на пепле.

— Когда-нибудь и мы удобрим эту землю, — сказал Воробьев.

— Не дождутся! — вырвалось у меня.

Голод брал свое: мы набросились на сырую картошку. И снова досталось от Мюллера. После работы всех привели в первый барак и по приказу Мюллера канцполнцай Шальц «отпустил» каждому по двадцать пять плеток...

В скором времени в лагере началось что-то непонятное. Пустело поле за полем, всех работающих гитлеровцы угоняли куда-то. Ослабла охрана, увели собак.

Однажды ночью я проснулся оттого, что меня кто-то трясет.

— Вставай, сынок, — шептал Семенчук, склоняясь надо мной.

— Наши! Чуешь? Наши!

Я сел на нарах и сразу услышал: где-то далеко грохочет гром. Может, гроза? Нет, не похоже — гром не умолкает, оч катится бесконечными глухими волнами.

Семенчук будил моего соседа, приговаривал, всхлипывая:

— Та вставай же, послухай, як гремит. Наши идут!

Конечно же, это не гроза. Это был тот самый артиллерийский гром, которого мы так ждали, который давно мечтали услышать. Барак проснулся. Даже те, кто вчера не в силах был подняться повставали со своих твердых нар и прислушивались.

Шрамко, молодой паренек, проснувшись, забыл про все фашистские порядки и кинулся к выходу. Товарищи закричали испуганно, а Семенчук схватил парня за рукав, постучал пальцем по его лбу:

— Побереги свою головешку. Скоро она тебе сгодится...

Кто-то посмотрел в окно и, задыхаясь, крикнул:

— Горит!

Над Люблином пылало небо.

Что творилось в ту ночь в нашем бараке, не спрашивайте. Мы целовались, смеялись и плакали. Под утро Семенчук сказал:

— Глядите, хлопцы, будьте осторожны. Чтoб они даже по нашим глазам ничего не заметили. Ждать уже недолго.

Ох, как это трудно, спрятать радость, когда она переполняет сердце, а сердце так изголодалось по радости!

Гром грохотал уже не только ночью, но и днем. Он приближался, становился все сильнее.

Сквозь проволочные заграждения мы видели: по шоссе Люблин—Хелм с востока на запад отступали фашистские войска. Несколько раз над лагерем проносились самолеты с красными звездами. Сколько нужно было сил, чтоб не вскочить, не закричать! Самолеты бомбили отступающие войска, взрывы грохотали совсем близко. Что ни взрыв, то острая боль в моей раненой ноге. Но ничего, думаю, пускай поболит...

Кто-то из пленных сказал, что радоваться еще рано: гитлеровцы могут успеть прикончить всех нас в последнюю минуту перед бегством.

— Всех эвакуируем, — говорили конвоиры.

Эсэсовцев трудно было узнать: стали растерянные, суетливые. Под сторожевыми вышками пулеметчики рыли себе щели. Кончалась у фашистов счастливая жизнь. Сухопарый немец, который выдавал нам пищу, спросил у Воробьева:

— А что нам будет, если в плен попадем?

— А что заработали, то и будет, — утешил его Воробьев.

От артиллерийской канонады в бараке позванивали стекла. По ночам в Люблине гремели взрывы.

И вот однажды во всем лагере ночью не зажегся свет, не зажглись прожектора. В следующую ночь тоже было темно. Говорили, что гитлеровцы подорвали электрическую подстанцию.

Пришло время бежать. Мы сговорились уходить небольшими группами. Я и еще семь человек, все костыльники, ночью тихо подползли к проволоке, потрогали ее костылями на всякий случай, не искрит ли, и полезли.

Пулеметчик на вышке услышал шорох и дал вслепую три очереди. Двое наших остались лежать, даже не пошевелились. В лес приползло нас шестеро.

Зашагали мы в сторону от шоссе, полями, рощами, по звездам, на восток, домой. Идем, идем, светает уже, а кажется, будто на одном месте топчемся. Под утро добрались до первой хаты какого-то польского хутора.

Навстречу нам вышла старуха. Она говорит по-польски, мы по-русски, а понимаем друг друга. Спрашивает, откуда. Мы объяснили.

— Майданек? — переспросила она. Глаза у нее сделались страшные, лицо побелело: с того света люди явились. Она не слышала, чтоб из Майданека кто-нибудь выходил.

Старуха накормила нас. В доме у нее было голодно, так что излишняя еда нам не угрожала. Потом она отыскала в своем сундуке и собрала у соседей одежду для нас. Все было, конечно, старенькое, драное, но зато мы скинули с себя колодки и лагерное тряпье. Навсегда...

Около восьми месяцев пробыл я на Майданеке. И как жаль, что Кости Решетникова не было теперь с нами.

Женщина сама предложила: внук ее проводит нас навстречу русским тихой, безлюдной дорогой. И он вел нас километров двадцать, потом мы отпустили его.

Нам не верилось, что впереди нет колючей проволоки, что можно идти, куда хочешь, что возле тебя нет мюллеров и шальцев, что рядом не дымит серая труба крематория. Шли и по привычке оглядывались.

Часов через пять после того, как отпустили польского паренька, мы встретили наших разведчиков: капитана с бойцами. Тут уж были и поцелуи, и слезы — все, как водится в таких случаях.

Они нам дали махорки, растолковали, как добраться до ближайшего городка. В городке нам выдали так называемые проходные свидетельства, сделали перевязки, хотели в госпиталь положить. Но не тут-то было. Домой!

Еду в Свердловск, а навстречу эшелон со станками. Значит, эвакуированные заводы возвращаются на старые места. Что, думаю, если и наш завод обратно укатил?

Домой я приехал 10 июля 1944 года. С марта сорок третьего здесь ничего обо мне не знали.

Дней через пять отец пришел с завода и говорит мне:

— Признаюсь, Лева, верил я твоим рассказам про этот Майданек. Но, знаешь, бывшие пленные, случается, нет-нет и приврут малость. Теперь вижу — правда...— И показал газеты, в которых появились первые статьи о Майданеке и снимки, сделанные в пустом лагере.

Вот и все. Помните, я писал Вам про лекальщика Кравченко? У него получилось благополучнее. Месяца через три после неудачного бегства он все-таки вырвался на фронт. Орудовал он там, как и на заводе, по высшему разряду. Получил ордена Славы всех трех степеней...

Лечение мое заканчивается. Скоро вернусь, буду работать на нашем заводе. Врач Александра Петровна довольна мной.

Вы меня не узнаете: растолстел, все пуговицы переставлять приходится. Заикаюсь теперь очень редко и, когда хожу, почти не оглядываюсь...

Недавно, перебирая старые бумаги, я нашел сложенную вдвое репродукцию с пейзажа художника Н. Вроченского «Гора Таганай»; на ее обратной стороне был чертеж, поспешно сделанный чернильным карандашом. И я вспомнил Льва Адашкина. Во время одного разговора я попросил его изобразить схему всех полей и сооружений Майданека. Под рукой оказался этот пейзаж...

На дне ящика, в блокноте, я нашел снимок: мужественно красивое лицо, наискось перечеркнутое белой полоской бинта, твердо сомкнутые губы. В треугольнике распахнутой гимнастерки из груди — четкий номер 10 920.

В 1946 году Лев Адашкин вместе с заводом, где он работал, вернулся в Москву. С этих пор мы не встречались, и я ничего не знал о нем.

Как дальше сложилась судьба этого человека? Как показал он себя в мирной жизни? Не опустошила ли его отчаянная нечеловеческая борьба, из которой он вышел победителем? Не остыло ли сердце? Что с ним теперь?

Получив справку из Московского адресного бюро, я написал ему и довольно быстро получил ответ, который и привожу здесь.

Письмо шестое

Ваше письмо взволновало меня, напомнив многое. Да, прошло 13 лет со времени моего побега из Майданека. Вспомнилось вдруг все-все, да так отчетливо, будто это было только вчера. А временами, честно скажу, даже не верится, что все это было...

Вспомнил я, как выдавая мне после плена новый комсомольский билет, секретарь райкома сказал:

— Надеюсь, ты и в дальнейшем пронесешь его с честью...

Мне навсегда запомнились эти слова.

Хорошо помню и другое: родители и друзья по заводу присматривались ко мне и тревожились, — особенно сильно в первое время. Я догадывался, какие думы их беспокоят: не паду ли я духом оттого, что остался инва-

лидом, без глаза, с поврежденной ногой, а главное — не выпотрошил ли мою душу фашистский плен, не сломил ли он меня. Мало ли что, — там держался человек, боролся, как мог, за жизнь, прошел через ад и растратил весь жизненный запас, оставил там, за колючей проволокой, и волю, и охоту к борьбе. А ведь и в мирной жизни есть борьба, и для нее нужны и воля, и смелость, и сильный дух.

А тревожились обо мне совсем напрасно. Для меня самого, например, было ясно, что я вернулся более сильным, чем уходил на фронт, во всяком случае, духовно. Уходил мальчишкой, а вернулся взрослым человеком, хотя прошло всего полтора года. И не для того хотелось остаться в живых, чтобы отыскать какое-нибудь уютное местечко и зажить по-мещански тихо и мирно. Не о том мечтали мы с Костей Решетиниковым, сидя на Майда-неке.

У меня в то время тоже была тревога, но совсем другая. Зрение заметно ухудшалось, и о возвращении к прежней работе лекальщика не могло быть и речи. Куда же пойти? Вот над чем я думал тогда дни и ночи.

Вернувшись в Москву, я поступил на строительство. Работал сначала мастером, потом нормировщиком, а после окончания специальных курсов исполняю обязанности инженера производственно-технического отдела.

Прекрасная работа у строителя! Самая что ни на есть созидательная! Приходишь в лес или на голый пустырь, а через полгода сам не узнаешь местности — целый район города поднялся!

Наше управление — самое крупное в тресте. Каждый месяц строим на два миллиона рублей. Думаю, жильцы нас не ругают — дома сработаны на совесть.

Несколько лет я был секретарем комсомольской организации стройки. В октябре 1949 года меня приняли в партию. Вот уже три года коммунисты избирают меня членом партбюро и заместителем секретаря парторганизации строительного управления.

Большие перемены произошли и в личной моей жизни. На заводе, где я работал лекальщиком, вторым секретарем комитета комсомола была Лида Круглова. В Свердловск она попала, как и я, — вместе

с заводом. Все время случалось так, что мы спорили с нею. Спорили на комсомольских собраниях, на заседаниях комитета, редколлегии стенной газеты.

— Ладно, горячая голова,— не раз обрывала она меня спокойным голосом,— немножко поостынь, потом будешь рассуждать...

Я обычно злился:

— Пускай — горячая голова, а ты... ты... — и замолкал, не находя, что сказать.

В общем, у нас постоянно бывали какие-то стычки, раздоры, и я считал Круглову занозистым, вредным человеком.

Однажды вечером, когда я возвращался с занятий (я заканчивал тогда вечерний университет марксизма-ленинизма при Московском горкоме партии), мы встретились с Лидой возле метро.

— Левушка! Как я рада! — громко и быстро заговорила она. — Живем в одном городе и за столько лет впервые встретились...

Я видел, что она и в самом деле рада: Лида никогда прежде так меня не называла. Язык у меня отнялся, заговорил я минут через пять или десять. Я смотрел на нее, — Лида стала как-то заметнее, красивее, — и мне вспомнились наши бесконечные споры. Я не выдержал, засмеялся, — как все это было далеко и каким смешным казалось теперь...

Вскоре мы поженились. Лида тоже член партии, работает на заводе имени Лихачева. Живем мы хорошо, дружно. Но, чтобы быть честным, признаюсь вам: она и сейчас временами охлаждает мой пыл, как это делала когда-то.

Через год после женитьбы наша семья выросла: появилась дочь Леночка. Теперь это уже человек, сама одевается, а послушали бы, как рассуждает.

Недавно увидела на моей груди номер и пристала:

— Пап, это у тебя что?

— Клеймо это, номер...

— А зачем?

— Фашисты, Леночка, поставили.

— Фашисты — нехорошие люди...

— Совершенно верно, дочка.

— А как они поставили? Написали?

— Нет, иголкой выкололи...

Леночка съежилась.

— Иголкой? Так это же ой как больно...

— Больно, милая. Ужасно больно.

Задумалась, потом озабоченно спрашивает:

— А фашистов уже нет, правда, пап?

— Не будет фашистов, Леночка. Никогда не будет,— заверил я свою дочь.





В. СТАНЦЕВ

КНИЖКА

В любом бою, в любую передышку
Мы слышали набат железных строк...

Носил стихов потрепанную книжку
Во взводе нашем рядовой стрелок.

Он с храбростью сражался беззаветной
Но редкий отдых наступал едва,
Он нам читал стихи из книжки этой.
И звали в бой нас
Молнии-слова...

Я помню бой...
Мы начали седьмую
В тот день атаку за короткий срок,
И вот тогда упал на грудь земную,
Прямив цветы, израненный стрелок.

Враг отступил...
Закат качался рдяный...
Стрелка мы положили в смертный ряд.
Я у бойца взял книжку из кармана
И развернул страницы наугад.

И будто мертвых колыхнулись груди,
Устами павших крикнул мятый лист:
«...Пускай нам
Построенный общим памятником будет
в боях
социализм».





ВИКТОР СТАРИКОВ

ПРОРЫВ

Повесть

1

В начале декабря вдруг стало пустынно на всех оживленных до этого магистральных дорогах, ведущих к главным переправам советских войск через Вислу. Немецкие воздушные разведчики, трижды в день появлявшиеся над плацдармом — на рассвете, в полдень и на закате короткого зимнего дня, — не могли обнаружить никаких признаков передвижения войск. Изредка лишь где-нибудь показывался одинокий грузовичок и, проплыв несколько километров по бесснежной, сверкающей под холодным зимним солнцем нитке шоссе, исчезал в сосняке или в деревушке. Да у самой Вислы замечалось движение подвод в тех местах, где польские крестьяне помогали советским войскам в укреплении третьей линии обороны.

Но по ночам начиналось густое движение. Длинные растянувшиеся колонны машин, танков, орудий двигались по всем направлениям к Висле и, переправившись по мостам, растекались на широком плацдарме. Шли отдельные роты и батальоны, батареи и дивизионы, полки и дивизии, корпуса и армии. Было трудно понять, в каких лесах к утру успеют укрыться эти огромные массы людей и техники. И од-

нако они успевали укрыться. К утру движение на дорогах прекращалось.

В частях, расположенных у переднего края обороны, в эти дни шла обычная, прискучившая жизнь. Здесь стояли войска, которые в августе форсировали Вислу. Многодневные тяжелые бои закончились. Одни роты находились в обороне, в окопах переднего края, от которых до немцев в некоторых местах было так близко, что в тихие дни и особенно по утрам можно было услышать обрывки разговоров на чужом языке; другие роты отдыхали, отведенные за три-пять километров в уцелевшие и оставленные поляками деревушки.

Изредка наши или немецкие орудия открывали огонь. Но солдаты обеих сторон глубоко закопались в землю и сидели в таких надежных блиндажах, что артиллерийская стрельба особых потерь никому не приносила. Однообразие жизни еще нарушалось короткими ночными разведывательными боями.

Все, от солдата до генерала, на плацдарме жили в ожидании предстоящих боев. Говорили только об этом — о возможных сроках и размерах наступления. Солдаты и офицеры, которым приходилось бывать по служебным делам за Вислой, рассказывали о подходе на плацдарм новых свежих армий, подготовленных в тылу, и слухи о скором предстоящем наступлении с каждым днем усиливались.

• • •

Шел уже третий час, а заседание Военного Совета фронта, начавшееся в десять часов утра, все еще продолжалось.

На заседании присутствовали командующие армиями, члены военных советов, начальники штабов. Генералы сидели за большим столом, накрытым зеленым сукном. На стене висела карта предстоящих боев, вся исчерканная острыми красными стрелами. Начальник штаба фронта, высокий худой генерал-полковник Колегаев, про которого говорили, что он семь раз отмерит, а потом два раза отрежет, неторопливо и обстоятельно докладывал о плане предстоящего наступления.

В комнате слышались только его ровный и суховатый голос и скрип сапог командующего фронтом маршала Широкова, прохаживавшегося по ковровой дорожке, заложив за спину руки. Крупное крестьянское лицо Широкова, покрытое резкими морщинами, было сосредоточенно и спокойно. Казалось, что голос докладчика не мешал ему думать о чем-то очень далеком и важном, но не имевшем отношения к плану операции.

За столом, справа от председательского места командующего, сидел член Военного Совета Табачников, грузноватый человек, старый коммунист, имя которого было связано с московским восстанием в 1905 году, и, подперев рукой грузную голову, просматривал политдонесения, делая на них пометки карандашом. По возрасту он в зале заседаний был самым старшим.

Колегаев, закончив доклад, вопросительно посмотрел на командующего, вытирая платком узкий лоб. Широков быстро взглянул на него и прошел к своему председательскому месту, кивком головы разрешив Колегаеву сесть.

— Вопросы есть? — негромко спросил он, наклонив коротко остриженную седеющую голову и обводя лица всех внимательным взглядом серых глаз из-под густых нависающих бровей.

— Разрешите? — спросил встав генерал Голиков, неизвестный большинству присутствующих, только что прибывший из тыла с резервной армией.

— Да, — произнес командующий, внимательно вглядываясь в свежее молодое лицо щеголеватого генерала.

— Полагаю, — протяжно произнес Голиков, близко к глазам поднося бисерно исписанный листок из блокнота, — что в плане наступления предусмотрены все возможные переброски противником своих подвижных частей и сосредоточения их на различных участках. В частности, меня беспокоит мой правый фланг. Сейчас нет угрозы, что противник может сюда стянуть подвижные резервы. Однако мне неясно, какими резервами я смогу располагать на случай появления превосходящих сил противника на этом рубеже, — говорил Голиков, растягивая слова и упруго покачиваясь всем корпусом, все так же близко у глаз:

держа листок из блокнота и не замечая, как хмурится Широков, нетерпеливо перекатывая по столу карандаш.— В том случае, если наши части окажутся скованными справа, я попаду в затруднительное положение, и перехват дороги — моя главная задача — окажется очень затрудненным...

Генерал все говорил и говорил, не замечая выразительных знаков, которые ему делали соседи. Такое выступление, вероятно, сделало бы ему честь на академическом разборе. Тут же оно было неуместно, ибо исходило не из практических выводов доложенного плана, а из теоретических обоснований возможностей проведения широкой операции. Широков уже несколько раз дернул головой, недовольно морщась, и, видя, что генерал, увлеченный потоком мыслей, все расходится, прервал его:

— Генерал Голиков! Эти вопросы интересны только вам. Вы их сможете разрешить особо в частном разговоре с начальником штаба. У вас есть вопросы по существу доложенного плана?

Голиков сконфуженно оглянулся на соседей и сел.

Широков подошел к карте и с минуту молча смотрел на нее, потом повернулся лицом к собранию.

— Вам ясна задача, которую поставила перед нами Ставка?— спросил он.— Мы обязаны выполнить ее теми силами, что нам даны, а их у нас достаточно.

Обращаясь к двум сидевшим рядом генералам, командующим танковыми соединениями, маршал продолжал:

— На вас возлагаются особые задачи. Вы оба диктуете всему фронту темп наступления. Вы, Трофимов, не должны допускать преждевременного поворота вашей армии на север. Держитесь! Навязывайте свою волю противнику. На север вы должны повернуть только на меридиане Пшенске. Вот там и ищите взаимодействия с соседним фронтом. Не раньше! А вы, Жабко, наступая, помните: после овладения первым же водным рубежом — стремительно на запад. Вы прокладываете дорогу фронту. Но только от одного вашего наступления пользы будет мало. Тащите за собой соседей слева и справа. Мне важно, чтобы весь фронт двигался вперед,— и он сделал широкий жест обеими руками.

Адъютант командующего подполковник Назаров вошел в зал заседания с шифровкой Ставки в ту минуту, когда Широков, опершись крупными руками о стол, оглядывая всех зоркими блестящими глазами, говорил:

— Полагаю, вам ясно, что теперь наша задача вторгнуться на немецкую землю, добить там гитлеровскую армию и положить конец войне. Вот наша задача!

Командующий увидел вошедшего с бумагами Назарова и кивком головы подозвал к себе. Адъютант с торжественным лицом подошел к Широкову и передал ему шифровку. Маршал быстро взглянул на нее, лицо его дрогнуло и как-то радостно изменилось, складки разбежались, и глаза осветились улыбкой. Довольно сощурившись и показывая шифровку члену Военного Совета, Широков тихо произнес:

— Видишь... Недаром я торопился...

— Что ж, в добрый час,— тихо сказал Табачников и, взяв шифровку, перечел ее еще раз.

— Я не мог назвать точной даты нашего наступления,— громко сказал Широков. — Ставка приказывает начать его пятнадцатого. Уверен, что вы свои обязанности выполните. Теперь же попрошу всех возможно быстрее выехать к себе и еще раз проверить всю подготовку,— и кивком головы отпустил всех.

Широков сел в кресло и негромко позвал:

— Генерал Жабко! Задержитесь.

Не оборачиваясь, командующий спросил Назарова:

— Наградные листы готовы?

Адъютант положил перед ним папку. Широков быстро прочитал фамилии и, продолжая довольно щуриться, размашисто подписывал приказы о награждениях.

Коренастый, с хитрыми блестящими глазами, генерал-полковник Жабко стоял в нескольких шагах от Широкова и ждал, когда тот обратится к нему. Всем было известно, что командующий фронтом особенно жалуется этого талантливого танкового генерала.

Продолжая подписывать приказы, Широков уже несколько раз нетерпеливо оглядывал зал, очевидно, дожидаясь, когда разойдутся участники совещания. Как только за дверью скрылся последний генерал, он, сдвинув в сторону бумаги, повернулся к Жабко.

— Ну, Илья Кузьмич, — сказал, загадочно улыбаясь, Широков, — тебе я хочу доверить одну тайну. — Он посмотрел на члена Военного Совета, словно спрашивая его одобрения в этом деле, и тот ответно улыбнулся. — В Германию вступаем, за Одер шагаем, — продолжал говорить все тем же счастливым голосом, каким он объявил дату начала наступления. — Но это еще не все. Надо бы... — он провел ребром ладони круг на сукне стола и ударил раскрытой ладонью в центр обведенного круга. — Ясно? Сил у нас для этого достаточно. Еще бы такое окружение, как, помнишь, в сорок третьем на Украине? У меня есть один план. Какой — пока не скажу. Но помни, что, если ты хорошо поведешь наступление, тебе и выполнять его. Что я требую от тебя? Держи заданный темп наступления, по возможности усиливай, наращивай. Это можно. Ты уж так наступал. Но силы свои береги. Наступай и помни, что главные бои у тебя впереди. В крупные не ввязывайся, перехитри противника, матвеевская пехота и артиллерия будут за тобой идти и свое сделают. Ты рвись вперед, выходи к Одера, захватывай плацдармы. Выйдешь раньше срока — тебе и эту особую задачу выполнять. Опоздаешь — остановимся на Одере. Дальше нам пока не протолкнуться.

— Григорий Иванович, — сказал Жабко, — вы знаете, что я сам предлагал усилить темп наступления.

— Знаю, знаю, — перебил его Широков. — Но Ставка приняла этот план. Мы с тобой можем говорить и обсуждать, а там хотят действовать наверняка и задачу ставят нам с некоторым запасом сил. Мы в Ставке тоже сказали, а нам ответили — не запрещаем, но спрашивать будем за выполнение своего плана.

Он вспомнил о Назарове и спросил его:

— Еще что есть срочное?

— Больше ничего.

— Тогда распорядитесь, чтобы подали обед. Вот и Илья Кузьмич с нами пообедает, не все нам его объедать. В четыре поедem на плацдарм. Узнайте точно, где стоят разведчики. К двенадцати ночи пусть готовят все разведанные о последней дислокации противника и вызовут артиллеристов, — говорил он адъютанту, продолжая подлисывать наградные приказы.

Темная приземистая легковая машина стояла у подъезда особняка. На бронетранспортерах, составлявших охрану командующего во время его выездов, солдаты сняли чехлы с орудий и пулеметов. Широков вышел из подъезда, разговаривая на ходу с командующим артиллерией, взглянул на темное низкое небо, сеявшее редким снежком, попрощался и пошел к машине. Он сел рядом с шофером и едва хлопнул дверцей, как первые два бронетранспортера двинулись.

Машины быстро миновали сосновый лес, где в каменных коттеджах польской знати размещались отделы штаба фронта, и выехали на покрытое брусчаткой шоссе — центральную фронтową магистраль. Два бронетранспортера чуть маячили впереди, не раздражая глаз. На шоссе, таком оживленном еще две недели назад, теперь не было никакого движения.

— Позвонили Матвееву?—спросил, не поворачивая головы, Широков.

— Да, — ответил Назаров.

Регулировщицы на перекрестках, узнавая бронетранспортеры, выбегали из будочек и с особым щегольством козыряли Широкову. И он всякий раз, как видел эти румяные, веселые лица русских красавиц, улыбался им, и рука его тянулась для ответного приветствия. К этим девушкам, оторванным от матерей, он испытывал отцовское чувство любви и жалости. Сколько раз ему хотелось остановить машину и поговорить с такой вот русоволосой девушкой, раскрасневшейся на дорожном ветру, родом откуда-нибудь из славного зеленого Кашина или из тихой Вологды, потрогать ее по распухшей и красной от холода «кнопке», хоть несколькими словами подбодрить, но уже проносила машина, поднимая за собой легкую снежную пыль, и таяла в ней застывшая неподвижно фигура регулировщицы, а впереди вырастала еще одна, такая же стройная, даже в мешковатой шинели, и опять поднимал руку для приветствия маршал.

По мосту, построенному саперами, сверкавшему белизной теса, они переехали темную и быструю Вислу, схваченную льдом только у берегов. Пошли дубовые хорошие леса. Стоял декабрь, а крепкие высохшие ли-

стья еще держались на ветках. Среди стволов мелькнул просторный помещичий дом, и Широков подумал, что, очевидно, здесь и живет тот родовитый любезный граф, что неделю назад встретил его на дороге и предлагал для штаба свой дом.

Утомительно блестящая дорога бежала под колесами машины. Широков думал о предстоящих днях. Теперь, когда весь план наступления был ясен во всех деталях, он чувствовал то облегчение, какое испытывает человек, завершивший большую и трудную работу, преодолев множество сложных задач, все хорошо решив. Он сожалел только, что не мог в свое время в Москве предложить этот дополнительный план, ставший ему ясным лишь в самые последние дни. «К концу идет война, к концу», — вдруг радостно подумалось ему, и он вслух сказал:

— Хорошо! Все складывается очень хорошо...

Шофер покосился на него.

Они ехали по пустой и длинной липовой аллее, миновали шлагбаум и вытянувшихся солдат, предупрежденных о приезде маршала. В конце аллеи стоял большой барский дом, окруженный хозяйственными службами. Сделав крутой разворот, машина остановилась у подъезда, где ее ожидал майор.

— Как Матвеев? — спросил Широков майора, выходя из машины.

— Лежит, товарищ маршал.

Широков, знакомый с расположением комнат, по коридору дошел до последней двери.

В комнате с двумя большими окнами, на широком диване, накрывшись до подбородка одеялом, лежал командующий армией Матвеев. Отечные мешки под глазами были так велики, что все желтое лицо Матвеева казалось опухшим. На маленьком столике стояли пузырьки с лекарствами. Увидев командующего, Матвеев приподнялся на локтях, и лицо его оживилось.

— Что? Опять сердце? — спросил Широков, придивигая кресло к дивану и усаживаясь.

— Да, не ко времени свалился, — ответил Матвеев. — Что-то частенько начинает пошаливать.

— Тебе уже передали о наступлении?

Матвеев кивнул головой.

Широков встал и прошелся по комнате, затем оста-

новился у окна и, наблюдая, как два бойца, присев на корточки, возятся с пулеметом, сказал:

— Это наступление окончательно определит ход войны. Союзники застряли во Франции, но, подозревая, что мы готовимся вступить в Германию, усиливают свою активность, уже называют сроки, когда, возможно, закончится война. Они боятся, как бы им не опоздать, опасаются, что мы овладеем Германией раньше, чем они.

Он резко отвернулся от окна, сделал несколько шагов и с неожиданной горячностью заключил:

— Судьба Германии уже решена, и не союзниками, а нами. А мы в этом наступлении покажем господам генералам из немецкого верховного штаба, как надо воевать на чужой земле...

Он сразу же успокоился и, распустив морщины, опять сел в кресло возле Матвеева и заботливо спросил:

— Ну, а сегодня тебе хуже или лучше?

Матвеев протянул руку за папиросой и с усилием ответил:

— Врачи обещают, что через три-четыре дня встану.

— Не торопись. Главное — к наступлению будь на месте. — Широков помолчал, вглядываясь в желтое лицо Матвеева. — Да, нехорош ты. А я, Михаил Максимович, для тебя большую задачу готовлю в этом наступлении. Карта есть?

Матвеев показал на стол. Широков взял карту и, держа ее на коленях, разглаживая складки в местах сгибов, понизил голос, словно опасаясь, что их могут услышать, сказал:

— Подумай об этой задаче. По замыслу мы разрушаем фронт в направлении на юг. Потом неожиданно поворачиваем на запад и выходим на Одер. Идея наступления — держать противника в неведении относительно цели и масштабов наступления. Немцы, наконец, выясняют наш замысел и направление удара. Одер! И тут они нам готовят оборону. А я повертываю Жабко на юг и наношу удар их группировке с запада. Путь для танков тут тяжелый — триста километров. Немцы никогда не подумают, что мы решимся на такой разрыв в коммуникациях. Но Жабко пройдет. Ты тоже бросаешь в этом направлении свой резерв. Недели на эту операцию достаточно. Ты понимаешь, что это будет!

Мы с малыми потерями разгромим сильнейшую группировку и в одном наступлении выиграем два сражения.

Широков довольно рассмеялся и потер руки.

— Я встану, — вдруг сказал Матвеев.

— Лежи, лежи, — приказал Широков.

Матвеев приподнялся, опустив на коврик ноги, и закурил папиросу.

— В этом есть элемент переоценки своих сил, — медленно, обдумывая каждое слово, сказал он. — Представь, что силы противника окажутся большими, его подвижные части сумеют перегруппироваться и сами навяжут нам бои. Мы и первой задачи можем не выполнить, и все усилия окажутся напрасными. Тут много рискованных положений.

— Да, да, — подтвердил Широков, — много риска и много неизвестных. Солдат, поднимаясь в бой, не всегда знает, с какой стороны по нему будет открытый огонь. Он рискует жизнью, но идет. И мы с тобой всего о противнике никогда не знаем. Без риска и нам не обойтись, рискуем и на этот раз. Все будет решать темп наступления, срок выхода на Одер и удача с захватом плацдармов. Поэтому-то я и не мог еще в Москве доложить о своем плане. Я просил дать другой темп наступления. Мне указали, чтобы я выполнял задачу в прежнем объеме, но не запрещают наступать быстрее. Разрешение на эту операцию будем просить в ходе наступления.

Широков расстегнул верхние крючки кителя и попросил:

— Скажи, пусть дадут чаю.

Когда девушка внесла на подносе два стакана чаю, Широков и Матвеев стояли возле стола, на котором была расстелена карта, и маршал в чем-то горячо убеждал более осторожного командующего армией.

— Пойми ты, — настойчиво и даже сердито, как показалось девушке, говорил Широков, — ежели только мы выйдем к этому сроку на Одер, то немцы, несомненно, бросят все силы, чтобы задержать наше продвижение на этом участке. Им и в голову не придет, что мы рискуем взять на себя задачу соседнего фронта. На их месте я поступил бы точно так.

Широков оглянувшись на девушку, показал ей, чтобы она поставила чай на каминную полку.

Громко восемь раз пробили часы, и командующий фронтом сказал:

— Пора ехать. Единственно, чего я боюсь, что когда Жабко повернет, то он не встретит значительных сил противника. Все окажется напрасным, он только потеряет время, не разовьет успеха. Вот это меня очень и очень тревожит. Для меня теперь ясны все слабые места гитлеровцев. Я вижу, что они боятся каждого нашего наступления. Я эту школу уже прошел. Помнишь, как под Москвой мы сидели и гадали, где они могут ударить, какими силами, как сделать, чтобы не только не дать им продвинуться, но и задержать их.

Эти воспоминания о далеких и тревожных днях сорок первого года, когда Широков еще командовал армией, а Матвеев — дивизией, были сейчас обоим приятны.

— Да, да,— подтвердил Матвеев, опять перебираясь на диван и устраиваясь в полулежачем положении. Широков с тревогой следил за его осторожными движениями.— Еще бы не помнить, когда ты мне расстрелом прозил, если я отойду хоть на два километра. А я отошел на десять.

— И расстрелял бы... Да твои соседи отошли на двадцать километров. Как тогда фронт удержался — и сейчас понять не могу. Все на волоске висело.

Широков взял с каминной полки стакан с чаем и, отхлебывая маленькими глоточками, присев возле Матвеева, говорил:

— Да, хорошая была школа, но дорогая. Тогда я как-то разом вдруг почувствовал, что вот за моей спиной стоит вся Россия, и я перед ней отвечаю за каждый свой поступок, перед миллионами людей, и они — судьи всей моей жизни.

Он поставил стакан на маленький столик, сдвинув в сторону пузырьки с лекарствами.

— Еду!.. А ты,— дотронулся он мягко до колена Матвеева,— поправляйся.

— Спасибо, что заехал.

— Пустое говоришь. Мы друг друга, кажется, не сегодня узнали. Лечись,— сказал Широков, вставая,— и помни, что я хочу видеть тебя здоровым к началу наступления.

В машине, когда опять выехали на шоссе, Широ-

ков, неприметно улыбаясь, припоминал все подробности этой беседы со старым товарищем, испытывая удовлетворение, что Матвеев так хорошо его понял и одобрил этот план, взялся помочь в его осуществлении.

Резкий свет фар лился двумя потоками, выхватывая из темноты и бросая стремительно назад деревья, дорожные столбы, редкие фигуры людей.

Внезапно шофер резко затормозил машину. Шоссе пересекала колонна людей. Навстречу бежал человек в шинели, угрожающе размахивая руками. Шофер выключил свет. Назаров, первый выскочивший из машины, услышал в вышине гудение немецких самолетов.

— Какого черта со светом ездите! — орал подбежавший человек. — Приказ не знаете? Сейчас как дам по фарам.

Он почти столкнулся с Назаровым, тяжело дыша ему в лицо.

— Спокойнее! — приказал Назаров, всматриваясь в него. — Кто такой?

— А тебе что? — крикнул тот дерзко и гневно. — Я не посмотрю, что тут начальство. Приказ для всех писан.

— Что за часть? — услышали они голос подошедшего к ним командующего.

— Выясняю, товарищ маршал, — ответил Назаров.

Рука неизвестного офицера взлетела к виску, и он доложил:

— Сто двадцать третий гвардейский полк. Следует маршем к месту сосредоточения. Докладывает командир взвода Смирнов.

— Разыщите командира полка, лейтенант, — приказал Широков.

Лейтенант побежал. Широков стоял на темном шоссе. Впереди смутно виднелась колеблющаяся слитная масса людей, слышались приглушенные бодрые голоса и звонкий стук сотен ног по мерзлой земле, позвякивание котелков, оружия.

Послышался голос по цепи:

— Командира полка срочно на шоссе.

В вышине все гудели самолеты, словно они кружили на одном месте. В той стороне, где были висленские переправы, в темном небе внезапно вспыхнули

цветные нити пулеметных трасс. Осветив облака желтоватым грязным сиянием, в небе повисла ракета, и часть пулеметных трасс потекла к ней, отрывая от нее горящие ключья.

Кто-то торопливо, сбиваясь с ноги, шел по шоссе. Высокая фигура в коротком полушубке, перехваченном ремнем, выросла перед Широковым.

— Товарищ маршал, по вашему приказанию прибыл. Докладывает командир полка подполковник Сухов,— торопливо и встревоженно доложил он.

— Как проходит марш?— спросил Широков.

Подполковник стал рассказывать. Широков молча слушал его, потом перебил:

— Все у вас обуты?

— С обувью плоховато. Не хватает кожи для починки.

— Много у вас таких — с разбитой обувью?

— Около пятидесяти человек.

— Как же вы докладываете, что у вас все в порядке! Около пятидесяти в разбитой обуви... Как же в бой солдат поведете? Босиком? Что вы думаете делать?

— До начала наступления обувь приведем в порядок.

— Откуда вы знаете, когда вам в бой,— раздраженно спросил Широков.— Может быть, это будет завтра же. А полк не боеспособен. Да, не боеспособен! Плохо, подполковник!

Подполковник молчал.

— Передайте командиру дивизии, что я им доволен,— сказал Широков.— В дивизии первый же встреченный полк не боеспособен. Наверное, и в других полках не лучше. Даю вам два дня, подполковник, чтобы привести в порядок всю обувь. Запишите, Назаров, пошлите в эту дивизию кого-нибудь для проверки. Доложите мне. А как настроение людей, подполковник?

— Товарищ маршал,— сдержанно, боясь фальшивого пафоса, сказал подполковник,— люди к бою готовы. Сейчас только этим и живут. Все рвутся в бой. Сорок пять человек вступили в партию...

— Вот видите...— смягчился Широков.— А вы их обуть не можете. Передайте личному составу полка, что вам будет предстоять большая задача, и я надеюсь,

что полк выполнит ее с честью. А теперь прикажите, подполковник, пропустить меня.

Шофер включил свет, и машина двинулась дальше.

3

Не так часто удавалось командующему фронтом покинуть штаб и побывать в войсках. В часы, которые он проводил в подразделениях, он испытывал особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Вся большая работа штабников, весь личный труд его проступали в войсках в какой-то физически ощущаемой реальности. Ему казалось, что именно в войсках, в духе войск лежит основа всего того, что делает он. Намечая наступление, разрабатывая план операции, он как бы видел перед собой людей, которым придется все это выполнять, учитывал их физические и моральные силы.

И чем ближе бывало к наступлению, тем чаще Широков выезжал в войска, тем в более неожиданных местах фронта видели маршала. Все встречи, все разговоры как бы обновляя его физические силы, поднимали тонус жизни.

Короткий разговор в темноте с командиром гвардейского полка из армии Матвеева, так сдержанно ответившего о готовности солдат к бою, имел для Широкова особый смысл, подтверждавший его наблюдение, что войска уже проникаются наступательным духом.

Они приближались к переднему краю. Шофер включил свет, осторожно на малом газу вел машину, но ее чаще и чаще встряхивало на выбоинах. Дорога становилась все хуже. Наконец, Широков услышал, как адъютант сказал: «Кажется, приехали». Справа темной стеной стоял лес, впереди проглядывалась возвышенность; она угадывалась потому, что над ней светлело небо, усеянное холодными яркими звездами.

Назаров ушел куда-то в темноту. Широков стоял один, лишь догадываясь о присутствии бойцов из роты охраны. Где-то впереди вдруг протрещала короткая торопливая пулеметная очередь, и тотчас послышался звук выстрела миномета. Широков, повернув голову, по особенному характерному звуку отметил, что это тяжелый немецкий миномет. Разрыв сверкнул на правом фланге.

Опять все стихло, только хрустели веточки под ногами ближнего бойца.

Адъютант внезапно появился перед задумавшимся Широковым и тихо произнес:

— Разведчики живут на этой опушке.

— Ведите.

Двое неизвестных людей и адъютант шли по лесной тропинке, за ними Широков. Шествие замыкали автоматчики охраны. Кое-где, казалось, прямо из-под земли вылетали трещавшие в воздухе рои золотистых искр, смолистый дым вдруг заставлял жмурить глаза. Группа прошла шагов двести по лесу. Все остановились и расступились, пропуская Широкова. Он осторожно спустился по сбитым земляным ступеням, открыл узенькую низкую дверь и остановился. Направо и налево шли общие нары, прямо под маленьким окошечком за столом, накрытым газетой, сидел старшина и что-то писал. Возле двери гудела большая печь, сделанная из железной трофейной бочки. Старшина поднял голову и нетерпеливо крикнул:

— Дверь закрывай!

Широков, нагнув голову, вошел в землянку. Старшина, еще не различая в темноте у двери, кто вошел, но по всему вдруг угадав, что это какое-то высокое начальство, пружинисто поднялся. Он увидел большие звезды на погонах Широкова.

— Встать! Смирно!— закричал он таким резким голосом, что с нар в проход посыпались люди, как спали, распоясанные, босые.— Товарищ командующий фронтом...

— Вольно, вольно!— сказал Широков, махнув рукой, и прошел к столу.— Кто тут живет?— спросил он, усаживаясь на шаткую скамью и облачаясь на ненадежный столик.

— Разведчики, товарищ маршал,— доложил старшина.

— Что же это вы, разведчики, дома греетесь?

— А мы, товарищ маршал, только вчера вернулись,— с фамильярной почтительностью, чутко угадывая добродушный тон маршала, ответил старшина.

— Ну, и удачно?

— Очень удачно,— радостно подтвердил старшина.— Офицера взяли.

Широков оглянулся. Солдаты, успев натянуть сапоги, подпоясаться, сгрудились, плотно стояли один к одному, жадно ловя каждое слово разговора.

— Назаров! — негромко позвал Широков, и солдаты расступились, давая пройти адъютанту.

Назаров поставил на стол ящик, где лежали маленькие картонные коробочки с наградными знаками. Широков взял одну из них, достал справку и прочел:

— Старший сержант Гладышев...

— Ранили его, вчера ранили, товарищ маршал! — торопливо и виновато откликнулся старшина. — В госпитале лежит.

Широков отложил в сторону эту коробочку и взял следующую — с орденом Красной Звезды.

— Горбылев!

К столу, раздвинув широкими плечами солдат, выдвинулся сержант. На правой щеке у него краснел глубокий шрам, на застиранной светлой гимнастерке резко выделялись восемь золотых и красных нашивок, полученных за ранения, блестела начищенная медаль. Широков взглянул на него, и глаза его задержались на могучей груди сержанта.

— Нашивки заработал, а наград не получил?

— Потому и наград мало, что нашивок много, — смело ответил сержант веселым голосом. Эту фразу он, очевидно, говорил не раз — так точно и четко звучала она. — Все в госпиталях лежал. Как бой, так опять в госпиталь за нашивкой.

Широков опять дружелюбно посмотрел на него.

— Давно воюешь?

— Начал у вас в армии под Москвой.

— Это когда же: в отступлении или в наступлении?

— И отступал у вас, и наступал, когда в сорок первом Ельню брали...

— О!.. — Широков улыбнулся, сощурил глаза.

Сержант стоял перед ним так свободно, словно разговаривать с командующим фронтом для него было таким же обыкновенным делом, как с командиром своего взвода.

— Много у вас таких старых солдат? — спросил Широков, откладывая в сторону коробочку с орденом Красной Звезды и оглядывая всех солдат.

— Где же многим быть? — словно удивляясь, отве-

тил Горбылев.— Воюем давно. Я тут только трех старичков с сорок первого года встретил, остальные молодежь, а разведчики — народ самый военный, понюхавший пороху, без нашивок у нас тут никого нет,— и он оглянулся, словно приглашая маршала проверить его слова.

— Откуда же сам?— спросил Широков.

— Из Омской области.

— Сибиряк... Письма домой пишешь?

— А как же без писем,— опять удивился Горбылев.— Воевать воюем, а думки о доме...

— Что же из дому пишут?

— Разное... Все больше о помощи фронту. Ну, спрашивают, когда нас всех домой ждать. Торопят войну кончать.

Широков понял эту солдатскую хитрость.

— Что же ты отвечаешь?

— Пишу, что вот, как до Германии дойдем, там увидим, когда войне конец. А скорей придется нам до Берлина идти. До последних сил фашист будет воевать. С союзниками, может, и пойдет на замирение, а с русскими нет. Обидно ему и страшно перед русскими на колени вставать.

— Правильно ответил!— одобрил Широков. Выбрав одну из коробок, он открыл ее и вынул орден.— За хорошую, честную службу Родине по поручению правительства награждаю тебя орденом Отечественной Войны Первой степени,— стоя, торжественно произнес он и крепко пожал руку Горбылева.

— Служу Советскому Союзу!— спокойно и твердо ответил Горбылев и отошел на два шага в сторону, чутко понимая, что его разговор с маршалом закончен.

— Гвардии рядовой Парамонов,— назвал Широков, и к столу выдвинулся невысокого роста молодой боец, лица которого бритва, наверное, еще и не касалась, с удивительно милыми, по-детски быстрыми яркими глазенками.

Много раз Широкову приходилось вручать правительственные награды разным людям и в различной обстановке. Но только в кругу солдат, в такой вот землянке он как-то всем сердцем понимал особенную ценность этих наград. В них для солдат заключалась как бы стоимость действительно пролитой крови и не

какого-нибудь выдающегося подвига, а честного, как сама жизнь, служения высшей потребности защитить свою страну, свободу и мирный труд своего народа. Солдат за солдатом подходил к столу и получал от маршала награды. Руки у разведчиков были большие, рабочие, натруженные в работе еще до войны. Бережно они принимали ордена и осторожно и сильно пожимали руку Широкову.

Назаров, все время находившийся в землянке, видел, как восторженно сверкают глаза солдат, встретившихся так близко со своим полководцем. Они знали, что маршал из крестьян и солдатом стал с первых дней революции, а начальную военную выучку получил в дни крещения Красной Армии в боях с немецкими войсками под Псковом. Да и у Широкова лицо очень пошло, даже голос изменился. Столько в нем было душевной теплоты, что адъютант, видевший до этого маршала только в служебной обстановке штаба фронта, не узнавал его.

Пока шло вручение наград, за стенками землянки несколько раз поднималась артиллерийская стрельба. Земля вздрагивала, принимая удар металла, подпрыгивала на столе гильза, заменявшая лампу, и струйки сухого песка, шурша, сыпались с накатника. Только раз, когда снаряд разорвался особенно близко, Широков поднял голову, и глаза его задержались на бледных листьях, проросших на ветках берез, уложенных в потолочном перекрытии.

— Как в саду живете, — сказал он, усмехнувшись. Солдаты поняли его.

— Срубили дерево, а оно живет, — сказал ближний к маршалу солдат, получавший награду.

Закончив раздачу наград, Широков усталое сел. Солдаты стояли молча, и он понял, что разведчики ждут от него каких-то особенных слов, которые они могли бы запомнить, передать сегодня же солдатам других землянок.

— Война идет к концу, — сказал Широков то, о чем ему так радостно думалось. — Дни фашистской Германии сочтены. Теперь от вас, солдат, зависит, сколько еще стоять гитлеризму. Скоро мы пойдем в новое наступление. Из Польши мы должны войти в Германию, перенести войну на землю фашистов и добить гитле-

ровскую армию. Я уверен, что вы свой воинский долг выполните с честью.

И Широков пошел к выходу. Сзади разом возбужденно и радостно заговорили многие голоса.

Неподалеку шел ночной бой. Ракеты взлетали над передним краем. Тени деревьев упруго качались под ногами. К маршалу метнулся какой-то человек и доложил, что он командир полка.

— Что у вас тут происходит?

— Рота противника перешла в атаку против нашего правого фланга.

— А вы что, свой командный пункт возле этих землянок расположили? — не без ехидства спросил Широков, пробираясь по лесу к машине.

— Я полагал, что мне необходимо...

— Спасибо... Ценю. Но сейчас ваше место там, где сейчас воюют люди — на командном пункте полка.

— Разрешите пойти?

— Разрешаю.

Широков, не интересуясь подробностями этого обычного разведывательного боя, которые происходили каждую ночь на одном из участков фронта, открыл дверцу машины.

Он все же постоял несколько минут, прислушиваясь к звукам ночного боя. Шла пассивная артиллерийская и пулеметная стрельба. Ничего интересного этот бой не обещал. Широков сел рядом с шофером и бросил:

— Домой.

4

У самой переправы через Вислу машину маршала задержали проходившие на плацдарм войска.

За сорок минут до этого немцы устроили одновременный разведывательный налет на все переправы. Что-то гитлеровцы подозревали, нервничали. Однако посты воздушного наблюдения своевременно предупредили о появлении противника. В войсках успели подготовиться к налёту.

Когда самолеты, встреченные сильным зенитным огнем, появились над Вислой и сбросили серии зажигательных ракет, на мостах и берегах войск не оказалось: они успели укрыться от наблюдения.

Широков, выслушав доклад полковника — главного коменданта переправ, приказал поблагодарить весь личный состав за хорошую службу.

Сейчас переправлялись войска генерала Голикова. Он находился на главной переправе и наблюдал за порядком движения колонн. Это понравилось Широкову.

Солдаты, заполняя всю ширину моста, шли торопливым шагом. В темноте звучали слова команды. Регулировщицы с фонариками в руках указывали направление маршрутов подразделений.

— Когда закончите сосредоточение?— спросил Широков Голикова.

— Завтра ночью,— ответил генерал и стал перечислять, какие части уже прошли, какие пойдут завтра.

Эта осведомленность тоже понравилась командующему, и он, вспомнив, как оборвал его на Военном Совете, спросил:

— С начальником штаба все вопросы разрешили?

— Так точно, товарищ командующий.

— Попрошу вас в эти дни налечь на занятия с бойцами. Ваша армия необстрелянная, да и для всех задачи новые. Бой за населенный пункт, действия в лесистой местности, форсирование каналов — отрабатывайте эти темы.

— Слушаюсь.

За пехотой по мосту шли обозы. Звонко постукивали подковы о деревянный настил моста. Громко кричали ездовые.

Воспользовавшись коротким перерывом в движении, Широков переехал Вислу и уже через час был в штабе фронта, где в зале заседания к назначенному часу его ожидали артиллеристы.

— Я вижу, что у вас все готово,— довольно произнес Широков, здороваясь за руку с маленьким седым генерал-полковником, командующим артиллерией фронта, всматриваясь в развешанные на стенах карты. Артиллерийский генерал стоял, опираясь на палку: одной ноги у него не было, ее заменял хорошо сделанный протез.

— Давайте начнем,— предложил Широков, усаживаясь в свое кресло. После этой поездки, встречи с разведчиками, он чувствовал себя бодрым, свежим.

В подготовке плана артиллерийского наступления

командующий фронтом принимал близкое участие. Это уже была пятая или шестая встреча с артиллеристами. Впервые создавалась очень мощная насыщенность фронта орудиями. Широков сам определял количество орудий на километр фронта, интенсивность и продолжительность огня. Он с удовольствием замечал, что штабники хорошо поняли его мысль, какой должна быть эта подготовка, как должны быть расставлены части, чтобы артиллеристы могли, не теряя времени, поддерживать огнем последующие после прорыва обороны противника действия штурмовых батальонов и общее наступление пехоты.

За все время совещания Широков ни разу не взглянул на часы, позволяя всем высказаться полностью.

— Очень хорошо, очень хорошо, — несколько раз произнес он.

В конце совещания Широков, стоя у карты, прищурил глаз, что-то прикидывая.

— А что, если нам... — сказал он и, повернувшись к артиллеристам, закончил мысль, — немного попутать противника? Повторить артиллерийское наступление? Как вы думаете, Алексей Николаевич? — обратился он к командующему артиллерией.

— Именно? — спросил тот обеспокоенно, подозревая, что доложенный план не совсем понравился командующему. — По нашим расчетам противник будет подавлен и деморализован в большей своей части. Таких артиллерийских наступлений еще не бывало.

— Согласен, согласен, — торопливо сказал Широков и стал развивать мысль, что после артиллерийской подготовки противник будет ожидать наступления пехоты и танков и приведет в действие всю замаскированную систему своей обороны, выдвинет части, которые должны отразить попытки прорыва линии обороны. И если на сорок минут устроить паузу, то противник примет ее, как задержку наступления пехоты, что случалось, постарается воспользоваться этим временем и сконцентрировать свои части. Второе артиллерийское наступление завершит разгром обороны противника, внесет еще больше дезорганизации и позволит нашим частям с меньшими потерями пройти оборонительные рубежи.

Генерал-полковник недоверчиво, с выражением обиды на лице, слушал Широкова. Но когда в конце

командующий сказал, что в этом случае артиллеристы смогут уж наверняка разрушить всю оборону противника, оживился и убежденно стал поддерживать предложение маршала.

Только начальник штаба Колегаев, потирая платком лысеющий затылок, резко заметил, что теперь уже поздно пересматривать план, доведенный до артиллерийских подразделений, что времени для подготовки у них осталось мало. Хорошо будет и то, если они сумеют осуществить доложенный тщательно и интересно задуманный план полностью во всех его частностях. При этом он несколько раз нервно посмотрел, отворачивая майжет кителя, на свои большие ручные часы, как будто приросшие к его худощавой руке. С новым планом, говорил начальник штаба, могут они задержаться, и тогда дважды повторенное, но плохо проведенное артиллерийское наступление не сделает и того, что задумано одним.

Широков, ни одним движением не выдавая своего отношения, молча слушал раздраженную речь начальника штаба.

— Что скажут артиллеристы?— спокойно спросил он, когда Колегаев замолчал.

— Считаю эту тревогу напрасной,— быстро заговорил, приняв все близко к сердцу, генерал-полковник.— Уложимся в сроки. Так?— обвел он глазами своих людей, ища у них поддержки.— Видите, возражений нет! Если будет приказано...

— Будет приказано,— подтвердил Широков, вставая.— Прошу артиллеристов в три дня подготовить мне новый план. Хватит трех дней?

— Вполне,— торопливо согласился генерал-полковник.

— Приступайте!..

Это было знаком, что совещание окончено.

Артиллеристы поднялись.

Командующий и Колегаев остались одни. Давая на подпись бумаги, начальник штаба не утерпел, хотя и знал, что командующий не любит возвращаться к решенным вопросам, не утерпел, чтобы не сказать своего последнего слова:

— Вы берете на себя большой риск.

— Сколько я вас знаю, Василий Васильевич?—

спросил, добродушно улыбаясь, не желая обижать измученного бессонными ночами начальника штаба, Широков.— Мы ведь с вами и до войны встречались, помнится, на каких-то маневрах, и уже тогда вам не хватало времени. Вам всегда кажется, что мы не успеем уложиться в сроки. А? Разве не так?

Колегаев не мог не улыбнуться, но продолжал настаивать:

— Тогда это были только маневры.

— Да, тогда это были только маневры, а теперь — война. Вот почему мы должны не всегда считаться с тем, что в сутках двадцать четыре часа. Я хочу действовать наверняка. Если будет нужно, то сломаем готовый план и накануне наступления. Вы помните споры при форсировании Вислы?

— А разве я был неправ? Оно нам обошлось дорого потому, что мы не могли в такой короткий срок подтянуть части, создать перевес в силах.

— Да, вы были правы,— сказал, нахмурившись, Широков.— У нас не было перевеса сил, и мы, теоретически, не должны были бы захватывать плацдарм. Но мы его захватили и удержали, хотя это и дорого стоило. А вы полагаете, что у Вислы мы должны были остановиться? Вы представляете, как нам трудно было бы теперь и каких потерь это стоило бы? Математика в войне — не всегда точная наука. Сейчас мы имеем великолепные плацдармы для развертывания наступления. Мы миновали последний крупный водный рубеж. Теперь перед нами только Одер.— Широков помолчал. Молчал и Колегаев, все же обиженный.— Прошу вас проследить, как артиллеристы будут готовить этот план. Они вас не подведут,— счел нужным Широков опять смягчить разговор с Колегаевым.

Только в шесть часов утра, просмотрев разведывательные донесения из района, носившего шифр «б», Широков лег спать, приказав разбудить себя в десять часов утра. На это время он назначил совещание с работниками тыла.

5

Блиндаж командующего фронтом — это добротный крестьянский сруб из смолистых толстых сосновых бревен, опущенный в землю, с потолком в несколько

накатов. Опалубленный коридор шел вниз. В комнате Широкова, оклеенной бумагой, в углу стояла железная печь. Широков сидел у печи в шинели, накинутой на плечи, грелся, протянув к огню руки. До начала артиллерийского наступления оставалось еще около часа. Все приказания заранее отданы, теперь оставалось только ждать открытия огня.

— Вы все проверили?— спросил Широков артиллерийского начальника, не потому что он подозревал, что не все сделано, а чтобы нарушить молчание.

— Так точно,— механически ответил артиллерист и невольно посмотрел на часы.

Широков поднялся, прошелся по комнате и остановился возле стола, за которым сидел Коллегаев, отмечая что-то на карте.

— Никаких надежд на авиацию?— спросил Широков.

— Не могут даже с аэродромов подняться. Никакой видимости.

— Плохо, очень плохо. Придется сегодня одним артиллеристам поработать. Хорошо, что мы придумали двойное артнаступление.

Подали чай. Маршал первый взял стакан с чаем и пил его, стоя возле печки. Внешне он был очень спокоен, более, чем другие. Ни разу не взглянул Широков на часы, и те два вопроса, что он задал командующему артиллерией и начальнику штаба, были единственными в этот последний час перед началом наступления фронта.

— Пора!— произнес, шумно вздохнув, командующий артиллерией.

— Да, пора,— подтвердил Широков и направился к выходу.

На улице ветер нес сырым снегом. В трех шагах ничего не было видно, кроме белых от снега спин впереди идущих людей. Над головой глухо шумели деревья, раскачиваемые сильным ветром. Вся группа генералов во главе с Широковым неторопливо прошла опушкой леса до наблюдательной вышки. В крошечной тьме не виднелось ни одного огонька, не слышно было ни одного выстрела.

Широков стал подниматься по грубо сделанным ступенькам на вышку, держаась руками за покрытые

полосками снега перильца. Вышка была не велика, и только несколько генералов поднялись на нее, остальные остались внизу. Наверху ветер дул еще сильнее, и хлопья мокрого снега слепили глаза.

— Разгулялась погодка,— заметил кто-то в темноте.— Сейчас, верно, у противника самый сладкий сон.

Широков облокотился на перильца, всматриваясь в чернильную даль. Глаза искали хоть какой-нибудь предмет, чтобы задержаться на нем.

— Осталось три минуты!— громко-сказал генерал-полковник, чувствуя себя сейчас главным на этой вышке.

В черном небе, оставляя за собой светлый след, медленно поднялась зеленая ракета, описывая крутую линию полета, за ней — красная и опять — зеленая. И тотчас серии таких же ракет поднялись во многих местах справа и слева. Свет их еще не потух, как заговорили разом все орудия, словно приведенные в действие одной рукой. Свет выстрелов тысяч орудий был так силен, что осветился весь горизонт. Но еще более сильное зарево, отражаемое низким плотным небом, встало над линией немецкой обороны. Так был силен многоголосый рев орудий, что на вышке надо было кричать, чтобы быть услышанным.

Через час сорок минут все орудия так же внезапно, как открыли огонь, стихли. Наступал рассвет. В неверном зыбком свете зимнего утра виднелись серые лица генералов, черные орудия, стоявшие в земляных укрытиях на поле, фигуры солдат, ходивших возле окопов. Впереди, там, где располагались позиции немцев, в нескольких местах что-то горело. Светлые языки пламени, казалось, доставали тучи, и они клубились над местами пожаров.

Широков все еще стоял на вышке, пристально всматриваясь в местность, лежавшую перед ним. Генералы тоже не расходились, они начинали по-мальчишески возиться, топали по снегу ногами, стараясь согреться.

Начинало быстро светать. По мере того как прояснялась даль, все больше вокруг усиливалось движение, словно свет возбуждал энергию людей.

Второе артнаступление не было таким впечатляющим, как первое. Теперь все наблюдали, как над линиями немецкой обороны вставали черные клубы раз-

рывов и очистившийся от темных облаков горизонт опять обволакивало плотной стеной черного дыма.

Широков, осторожно спускаясь с вышки, увидел бегущего начальника оперативного управления.

— Штурмовые батальоны пошли в наступление, — доложил он. — Противник оказывает слабое сопротивление...

— Ну, какое может быть теперь сопротивление, — хвастливо подтвердил генерал-полковник, довольный четкой работой артиллеристов.

— Держите связь, — отрывисто сказал Широков, — и все время докладывайте обстановку. — Он обратился к начальнику штаба: — Авиации скажите, чтобы при первой возможности поднимались в воздух.

Торопливо шагая, командующий прошел в землянку. На столе стоял приготовленный для него завтрак, но Широков, сняв шинель и постояв немного у печки, чтобы согреться, подошел к столу, где лежала карта. Он сел в кресло, закурил папиросу и подозвал начальника оперативного управления.

В комнату вошел член Военного Совета Табачников. Лицо его было красно, всю ночь он провел в частях. Сняв шинель, приглаживая седые волосы, Табачников, здороваясь со всеми, довольно сказал:

— Кажется, хорошо начали. Я был на участке, где уже продвинулись на шесть километров.

— Где, где? — нетерпеливо спросил Широков.

Все трое низко склонились над картой.

— Держите связь с этими полками, — говорил Колегаеву Широков. — Главное, как ведет себя противник... Толкайте артиллерию. Нарращивайте прорыв. Что у танкистов? Когда войдут в прорыв?

С той минуты, когда начальник оперативного управления доложил Широкову, что первые подразделения успешно пошли в наступление, он целиком погрузился в ежеминутно меняющуюся обстановку движущегося фронта. На карте командующий как бы видел движение огромных масс войск, подчиненных воле штаба фронта, сердился, когда замечал, что это продвижение замедляется, усиливал там, где успешно шло, посылал туда новые части, торопил отстающих.

Это была до предела напряженная работа, которая исключала всякие иные дела, все, что могло отвлечь его

от хода операции. Даже напоминания о необходимости позавтракать, пообедать раздражали Широкова. Ближайшие люди, зная это, обращались к командующему фронтом лишь в исключительных случаях по делам, непосредственно относившимся к наступлению, которые могли быть решены лично им.



По шоссе, очищенному от мин, двигалась бесконечная колонна танкового соединения Жабко, входившего в прорыв. На перекрестке дорог маршал вышел из машины и долго смотрел, как проходят войска. Его узнали. По всей колонии пошел разговор, что на шоссе — командующий фронтом. Эта весть дошла до переправы, где сгрудились машины. Забегали вдоль колонны офицеры. Движение машин заметно усилилось.

Вдали гремели орудийные выстрелы.

Нечего было и думать пытаться проехать дальше по этой забитой войсками дороге. Широков приказал свернуть в сторону на проселочную дорогу, по которой уже успели пройти саперы, оставив за собой вешки: «Дорога разминирована». Машина шла медленно, объезжая воронки, разбитые повозки, трупы лошадей. Колеса буксовали в мягкой земле. Вдали что-то горело после утреннего артогня. Проехали первую линию обороны противника: окопы, а перед ними ржавые свитки колючей спирали Бруно. В окопах валялись кучи соломы, каски, противогазы, оружие. Кое-где лежали трупы солдат в мышиного цвета шинелях. Все это уже припорошивал снежок.

Воронок от снарядов встречалось все больше и больше. У второй линии обороны, проходившей по пологим высотам, покрытым редким кустарником и крупными валунами, Широков опять остановил машину. В черных опалинах лежала перед ним земля. В воронках уже успела скопиться вода. В темнеющем воздухе все ярче разгоралось пламя пожара в недалекой деревушке, где высоко над домами поднимался тонкий шпиль костела. Расщепленные деревья ветвями касались земли. В деревню втягивался длинный пехотный обоз. В прохладном воздухе доносились отчетливо ленивые покрякивания ездовых.

— Вот и опять пошли на запад,— сказал Широков единственному спутнику возле себя Назарову.— А? Кажется, успех хороший для первого дня. Поедемте домой.

На еще более тихой скорости, опасаясь в темноте съехать с узкой дороги, они вернулись к перекрестку. Все пространство, которое видели глаза, занимали в несколько рядов танки, орудия, автомашины. Колонна то двигалась, то останавливалась. Задержка в движении происходила из-за возникающих на переправе «пробок».

— Очень хорошо начали!— сказал Широков.— Так мы еще ни разу не начинали.

6

На третий день продвижение многих частей замедлилось; они вступили в активные бои с противником. И только танковые армии, широкими клещами двигавшиеся в обход противника, энергично продвигались вперед. В эти узкие коридоры, проломленные пехотными частями и расширенные танкистами, командующий фронтом слал все новые и новые части.

В штабе фронта Широков не покидал своего маленького кабинета и почти не отходил от стола с картой. Надо было успеть разобраться во всей вихревой сумятице донесений, часто противоречивых, принять быстрые решения.

Начальник штаба Колегаев ходил с красными от недосыпания и усталости невидящими глазами. Он почти не покидал кабинета командующего, отлучаясь только затем, чтобы передать очередные распоряжения.

Рано утром в приемную командующего ввалился знакомый Назарову по Академии широкоплечий здоровяк, веселый и общительный подполковник Антонов, присланный из танкового соединения Жабко для личного доклада Широкову об обстановке.

Блестя живыми глазами, очень довольный всем, Антонов повалился в кресло возле Назарова и весело сказал:

— Ну, брат, дела! Вот идут танкисты! Ты понимаешь, коридор в три километра, дорогу то и дело перехватывают немцы. Я в двух местах еле проскочил.

А трофеев... Все обочины забиты орудиями, машинами. Шесть складов захватили.

— Подожди, потом расскажешь, — сказал Назаров. — Сейчас доложу о тебе командующему.

— Строг? — тревожно спросил Аитонов.

Назаров неопределенно пожал плечами.

Он вошел в кабинет, где горела только настольная лампа, накрытая зеленым абажуром. Широков в расстегнутом кителе, из-под которого виднелась шелковая сорочка, молча посмотрел на адъютанта и отвернулся.

— Нет, нет, — решительно сказал он Колегаеву. — Все это частные задачи, не отвлекайтесь ими. Все свежие силы бросайте только в эти участки прорыва. Кто там? — спросил он Назарова.

— Прибыл подполковник Аитонов из соединения Жабко.

— О! — лицо командующего оживилось. — Быстрее его сюда.

Когда Аитонов вместе с адъютантом вошли в кабинет, Широков, оборвав начавшего докладывать о себе подполковника, спросил:

— Когда выехали? Рассказывайте, что там делается?

— Выехал сегодня в три часа ночи.

— Долго, очень долго ехали. Ну, что вы тут встали? Показывайте, где ваши части.

Сердито сопя, он слушал доклад Антонова, следя за движениями его карандаша по карте.

— Так, так, очень, очень хорошо, — приговаривал Широков, слушая Антонова. — Записывайте номера немецких частей, — попросил он Колегаева. — Ведь просил я обеспечить надежную связь с таджиками. Видите, что у них, а мы тут ничего не знаем.

Колегаев молча пожал плечами.

— Что на дороге делается? Ближе противник от города? — показал Широков на кружок на карте.

— Говорят, что в шести километрах появилась какая-то немецкая пехотная дивизия.

— Какая-то! — чуть не закричал Широков. — Номер части, фамилия командира?

— Еще не установлено.

— Свяжитесь любыми средствами с Жабко. Узнайте, что за часть? Ведь это важно! Где немцы держат

Штромберга? Ведь это резервная армия. Идите, ищите связь!— приказал он Колегаеву.

Он повернулся опять к Антонову.

— А наши части идут? Где они? В каких местах?

— Очень мало. Я встретил пехотный полк и два дивизиона тяжелой артиллерии.

— Номера? Не знаете?— удивился Широков.— Ничего вы не торопились, а ворон по дороге ловили. Да, да... С трех часов в пути!.. Плохо служите. Вот и пуговица у вас на гимнастерке не пришита,— придираясь, крикнул он.— Назаров!— позвал Широков.— Отправьте обратно подполковника на самолете.— А вам,— обратился он к Антонову,— вечером быть обратно. С точной обстановкой, где сейчас наши части, их направление, какие новые немецкие части противника встретили. Жабко передайте, чтобы не снижал темпа. Матвеев его подпирает. Поняли? Выполняйте!

Бодро щелкнув каблуками, несколько обескураженный Антонов вышел из кабинета.

— Да! Крутоват!— сказал он в приемной, отдуваясь.

— А ты, действительно, хорош,— сказал, посмеиваясь, Назаров.— Стоило ехать... Не спросил, какие части к вам же идут. Ведь это и Жабко интересно.

— С чем послали, с тем и приехал. А если по дороге номера частей узнавать, я и к завтрашнему утру до вас не добрался бы.

Назаров стал звонить по телефону на аэродром.

— Где я садиться буду? — сокрушенно говорил Антонов.— Сам черт не разберет, что там теперь делается. Ведь это не фронт, а слоеный пирог. Как раз к немцам угодишь.

— Лети, лети, — подталкивая в плечо, провожал его Назаров. — Увидит командующий, что ты еще здесь — обоим всыплет.

В этот день Широкова особенно беспокоило положение на левом фланге, где противник предпринял контрнаступление крупными силами. Донесения шли самые противоречивые. В первом сообщалось, что немецкое наступление является, очевидно, просто разведкой с целью прощупать наши силы на этом участке. Затем сообщали, что в дело со стороны противника вступили новые крупные части, появились танки и самоходные орудия. Но командующий армией заверял, что атаки

врага успешно отбиваются, и совершенно неожиданным было последнее донесение, что наши части отошли на шесть километров и сдали несколько населенных пунктов. Противник продолжает наступление...

Вечером, когда Назаров с разведсводкой вошел в кабинет, Широков, полузакрыв глаза, слушал доклад Колегаева о положении на этом участке. Всем своим пасмурным видом он не одобрял нервозности начальника штаба.

— Ну, отлично, — сказал он, когда Колегаев стал сообщать о том, что наступающая дивизия, не выдержав плана первого дня, все дальнейшее уже делала с опозданием и потому, как казалось Колегаеву, не смогла противостоять противнику. — Отлично! — повторил Широков, понимая, что ничего отличного в этом не было. — Пусть они и продолжают отбивать атаки. Какая же это вина комдива, что он встретил большие силы! Это уж наш с вами просчет. Чего уж его бить, — ворчливо заметил он. — Комдив уж и так побит немцами. Давайте-ка подумаем, чем мы можем облегчить его положение.

Он пожевал губами.

— А вот командующий армией путает... Укажите ему. Я теперь ничему верить не могу. — Он увидел стоявшего Назарова и внезапно, словно только адъютант и мог выручить его, обрадовался. — А, вот хорошо, что вы тут. Садись-ка сейчас в самолет и лети к Голикову. Посмотри, что у него там за обстановка. — Он взглянул на часы. — Светлого времени у вас хватит. Все узнайте в течение ночи, обязательно в дивизии побывайте и к пяти — обратно. Так? Давайте бумаги и идите, не задерживайтесь. Очень важно...

* * *

В пять часов утра, когда на связном самолете У-2 Назаров вернулся в штаб фронта, командующий еще не ложился спать. В приемной за столом сидел дежурный офицер из оперативного управления майор Прохоров, да на кушетке спал какой-то подполковник, укрывшись шинелью, из-под которой торчали ноги в белых шерстяных носках.

— Что там? — спросил Прохоров, увидев входившего Назарова и зная, куда и зачем он летал.

— Горячо, очень горячо и трудно, — быстро ответил Назаров, сбрасывая с себя овчинный полушубок и растирая щеки, ознобленные ветром в открытом самолете. — Кто это? — указал он на спящего.

— Офицер связи из танкового соединения Жабко. Тоже на самолете прилетел. Командующий приказал ему никуда не отлучаться.

«Антонов», — догадался Назаров и спросил:

— Кто у командующего?

— Никого. Тебя уже два раза спрашивал.

— Курить хочется, — сказал Назаров, но, увидев протянутый Прохоровым портсигар, махнул рукой. — Потом, потом, — и, одернув гимнастерку, вошел в кабинет.

Широков сидел возле камина. Он не слышал, как вошел адъютант, и продолжал читать книгу. Назарова вдруг поразило выражение глубокой усталости на его лице. Это была усталость человека, уже давно позабывшего, что такое отдых, нормальный сон; мозг которого непрерывно работал почти круглые сутки. Усталость проглядывала во всех чертах крупного и грубоватого лица, по-солдатски обветренного.

— Товарищ командующий, — вполголоса произнес Назаров, остановившись в нескольких шагах.

Широков пошевелился и медленно повернул лицо к Назарову, всматриваясь в него и словно не узнавая.

— Да, прилетел? Хорошо, что вовремя. Так что у них там делается? — неожиданно звучным и твердым голосом спросил Широков, выпрямляясь в кресле и этим движением разом освобождаясь от всех признаков старческой усталости.

Назаров, как это бывает с людьми, только что вышедшими из-под огня и вдруг попавшими в обстановку, где не было слышно даже шагов, заглушаемых коврами, еще находился во власти нервного напряжения, выражавшегося в том, что он говорил в несколько повышенном тоне. Широков несколько раз внимательно и проницательно посмотрел на адъютанта, слушая подробный доклад.

— Там очень тяжело? — вдруг спросил Широков.

— Да, — ответил Назаров, поднимая глаза от карты

и чувствуя на себе пристальный изучающий взгляд маршала. — Мне кажется, что в сводках наши потери преуменьшены.

— И сомневаться не стоит, — подтвердил Широков. — Докладывайте дальше, — попросил он.

Назаров коротко доложил обстановку, и по мере того как он рассказывал, лицо Широкова становилось все строже.

— Командарм предполагал отстранить командира дивизии, допустившего отход, — сказал Назаров.

— Всегда они горячку порют, — вскипел Широков. — Колегаев тоже — «отстранить...» А командир дивизии — умный и храбрый офицер, я его по Западному фронту помню.

— Отошли, когда бои еще не такие тяжелые были. Солдаты с немцами впервые встретились, а сейчас закрепились, хорошо стоят, — счел Назаров нужным защитить командира дивизии.

— Ты говоришь, что там теперь ничего серьезного? — переспросил командующий. — Выдохлись немцы? Хорошо. Я артиллерию им все же подброшу, а утром и авиацию наведем.

Он посмотрел на часы, и как раз в эту минуту резко зазвонил телефон. Широков неторопливо снял трубку и, все еще глядя на карту, сказал: «Да, слушаю...»

Он жестом показал Назарову, чтобы тот убрал карту, придвинул к себе блокнот, напряженно вслушиваясь.

— Докладывает командующий фронтом, — начал Широков.

Назаров, осторожно закрывая за собой дверь, слышал, как Широков говорил:

— Задачу Ставки выполняю... Да! Прошу учесть мои нужды....

В приемной Назаров сказал Прохорову:

— Пойду немного вздремну. К командующему никого не пускайте. Он разговаривает со Ставкой.

7

Назарову казалось странным, что командующий фронтом, разговаривая со многими в эти дни, расспрашивая иногда о таких деталях, которые, казалось, не имеют существенного значения, ни разу ни с кем

не заговорил о предполагаемом повороте танкового соединения на юго-восток после того, как оно выйдет к Одеру и обеспечит захват плацдарма. Карта этой операции, подготовленная Назаровым, лежала свернутая в трубку. Широков за дни наступления ни разу не взглянул на нее.

Потом Назаров понял: Широков не забыл о своем плане, и все его действия, направленные к тому, чтобы наилучшим образом выполнить задачу Ставки, служили одновременно и той, что была задумана и готовилась им.

Часами стоял командующий возле карты фронта. Ему, как никому из тысяч людей его фронта, ясны были смысл всех движений войск, внезапные повороты дивизий, вдруг отходивших перед слабейшим противником и перестраивавших фронт своего наступления. Он видел возможные контрудары противника, метавшегося в широком пространстве «котла», действия его подвижных механизированных и танковых частей, рубежи спешно подготовленной обороны. И передвижки частей не были бессмысленными маневрами. Этими передвижениями управляла твердая рука, теперь дробившая части врага, торопившая таежников выходить на Одер.

Назаров сопровождал Широкова в поездке на правый фланг, где одна из дивизий, наткнувшись на организованное сопротивление противника, прекратила наступление.

Командующий фронтом и адъютант ехали в открытом дожде в сопровождении все тех же четырех бронетранспортеров.

Ненастные дни сменились сухими, ясными. Дороги и поля, покрытые тонким слоем пушистого снега, золотились под негреющим желтоватым солнцем. Вереницы разбитых и растоптанных таежками машин, горелое железо «тигров» и «пантер», трупы немецких солдат — все говорило, что бои здесь были внезапные для противника, скоростные.

Попалось навстречу несколько колонн немецких пленников. Они брели покорным шагом людей, не знающих своей судьбы, в грязных порванных шинелях, с серыми лицами, обмотанными от холода тряпьем.

— Не солдаты, а куклы, — сказал сквозь зубы Ши-

роков. — Дрались, видно, до последнего патрона, зная, что за сдачу в плен расстрел полагается. А теперь один сержант ведет целую толпу, как стадо, и они не помышляют разбежаться.

Стали слышны гулкие звуки артиллерийской стрельбы. Впереди шел бой. Шоссе взбежало на лесистый пригорок. Прямо уходила гряда холмов, на которых виднелись деревни, блестящие оцинкованными крышами домов, и серые кубы костелов. Почти по всей линии горизонта шел бой. Левее, где на пригорке темнел лес, по дороге двигалась растянувшаяся колонна. Видны были белые клубки разрывов, потом приходил звук выстрела. Шестерка самолетов, построившись в круг, бомбила одну из деревень.

Они проехали маленькую деревушку. Над зданием уцелевшей школы хлопало на ветру полотнище с красным крестом. Две грузовые машины готовились в тыл; санитары на носилках выносили из школы раненых.

Сразу за деревней начались позиции артиллеристов. Солдаты окапывали орудия, натягивали над ними маскировочные сети. Дороги дальше не было, машины у взорванного моста съезжали с шоссе в объезд. Теперь орудийная стрельба слышалась совсем близко.

Дорога, петляя на заболоченном лугу, забирала все вправо, где, видимо, сейчас и сосредоточился бой. Во многих местах чернели свежие воронки авиабомб.

Шофер сам, никем не понуждаемый, остановил машину, едва они въехали в деревню. Она находилась в зоне сильного артиллерийского огня. Снаряды рвались на улицах, среди домов. Посреди улицы, загораживая дорогу стояли два наших разбитых танка, справа горели два дома.

К доджу подбежал майор, оказавшийся начальником штаба дивизии, расположившийся в этой деревне. Он хотел показать, где дом штаба, но Широков спросил:

— Где ваши полки?

— В двух километрах.

— Вот туда и поедem.

— Но обстрел, товарищ командующий.

— Поэтому и поедem туда. Садитесь, майор.

На большой скорости они проскочили деревню, поле, где расположились орудийные и минометные расчеты, и шофер свернул машину к большому фольварку.

Широков вылез и спокойно, не обращая внимания на свист снарядов, которыми немцы продолжали методический обстрел деревни, выслушал доклад командира полка.

— Энергичнее, энергичнее надо действовать,— сказал командующий.— Что же вы тут вторые сутки стоите? Сами виноваты, что вас теперь противник держит.

Полковник Быстрицкий, утром раненный в левую руку и носивший ее на перевязи, хмурая черные тонкие брови, слушал маршала.

Потери, наверное, большие? — спросил Широков.— Что же вы людей под огнем держите? Не можете наступать — отойдите, есть возможность — атакуйте решительно. Но не бездействуйте.

Вслед за командиром полка Широков поднялся на башню каменного фольварка, где расположился наблюдательный пункт. Маленький и толстенький майор звонким голосом кому-то отвечал по телефону: «Успеха не имею. Положение остается прежним».

Широков взял у него трубку и спросил, кто у телефона.

— Седьмой,— ответил чей-то голос и тотчас начал ругаться.

— Слушайте, седьмой! — крикнул командующий.— Говорит Широков. Быстро сюда! — и бросил трубку в руки телефониста, ловко поймавшего ее.

Назаров видел, что маршал сдерживает себя, чтобы не разразиться вспышкой гнева. Он несколько раз, заложив руки за спину, пересек тесную комнатку, ни на кого не глядя, потом подошел к стереотрубе и, нагнувшись, стал осматривать позиции. Несколько минут прошло в неловком молчании.

— Где ваша артиллерия? — отрывисто спросил Широков.— Вы что — снаряды бережете? А ну, откройте огонь.

Все то, что делал потом Широков, отдавая приказания, выслушивая доклады, было так обыденно и просто, как будто дело происходило не в километре от противника, а в штабе фронта. Назаров, знавший по себе, как тяжело действует на командиров нервозность старших начальников, подивился выдержке командующего.

— Где же командир дивизии? — неторопливо спросил Широков.

— Поднимается, — ответил кто-то иронически.

Широков так строго посмотрел на этого уже немолдого офицера, что тот сразу стушевался.

В комнату поспешно вошел пожилой усатый полковник.

— Что же это вы, Николай Семенович, — медленно сказал Широков, — так плохо воюете? Вы понимаете, — строго, но все так же спокойно продолжал он, — что вы мне сейчас весь фронт держите? Ваша дивизия тут встала и дорогу всем частям закрыла. Почему не наступаете? Я спрашиваю: почему?

— Я сделал три попытки, — с сознанием своей вины ответил полковник. — Но сами видите, насколько тут активен противник, как велика плотность его огня.

— Я вижу вашу пассивность. Привязались к деревне. Тоже место нашли. Немец прижал огнем, у вас все в голове помутилось. Вот где место вашему штабу. — Здесь! — ткнул Широков пальцем. — А его, — указал он на командира полка, — впереди! — Он помолчал и заключил: — Даю вам полтора часа на подготовку наступления. Посмотрю, можете ли вы воевать, можно ли вам дивизию доверять. Опять артиллерия замолчала! Не давайте покоя противнику, прижимайте его огнем.

Послышалось гудение немецких самолетов.

— С утра бомбят, — счел нужным пожаловаться командир дивизии. — А наших ни одного.

— И не нужны вам, — оборвал его Широков. — Наши части уже входят в Германию, и там нужны самолеты. А вы тут застряли и все мне портите. — Он подошел к окну и увидел, что самолеты, держась на высоте от зенитного огня, бросают бомбы на деревню.

— Видите, — торжествующе сказал он, — какое вы себе место для штаба выбрали?! Вот и вообразили, что не сбить противника. Ну, начинайте, действуйте, — и он пошел к выходу.

На дворе фольварка повозочные поили лошадей из длинной каменной колоды, в стороне дымили полевые кухни. Шла такая спокойная жизнь, как будто война была отсюда далеко. Даже появление командующего не вызвало особого волнения, словно солдаты хотели сказать, что они и встретили бы его, как полагается, да сейчас заняты более важными делами.

Широков пересек двор и за воротами свернул в сторону, где тянулись окопы пехотинцев. Видимо, тут уже неведомо какими путями знали о приезде маршала. Головы солдат показывались из окопов. Широков спрыгнул в ход сообщения и пошел по нему пригнувшись; солдаты давали ему пройти, плотно прижимались к стенкам.

Дойдя до командного пункта командира роты, Широков остано­вился.

— Хорошо окопались,— заметил он, обращаясь к лейтенанту, командиру роты.— Похоже, что надолго. Почему не наступаете?

— Приказа нет,— смущенно ответил тот.

— А наступать можно?

— Если весь полк пойдет.

— Не полк, а вся дивизия.

— У нас только штурмовыми ротами пытались. Но не вышло.

Широков оглянулся и увидел, что уже множество солдат, как в деревнях на посиделках, собрались к командному пункту.

— Могу раскрыть военную тайну,— заговорщицки сказал он.— Наши части уже подошли к самой границе Германии, а сейчас, может быть, воюют на гитлеровской земле.

Радостный говор всколыхнул солдат.

— Да,— повторил он,— невозможно, а наверняка гвардейские части уже в Германии.— И тут его голос из добродушного стал отечески строгим.— А вот вы, гвардейцы, тоже могли быть уже там. Германия от вас в двадцати четырех километрах — четыре часа ходьбы. Вас послали впереди всей армии, надеялись, что не останете от гвардейцев-такистов. А вы задержались, остановились, и немец перехватил дорогу. Почему? Сил нет? Себе не верите? Вы и не знаете, какая армия стоит за вами, чтобы вступить в дело. Впереди вас немецкие части, которые хотят выйти из окружения.— Он все повышал голос.— Они делают сейчас все, чтобы задержать вас, выгадать время для подхода своих частей. Сегодня вам уже труднее пробить немецкую оборону, чем было вчера, а завтра — труднее, чем сегодня. А я требую, чтобы эту задачу вы выполнили.

Он обвел глазами солдат и значительно сказал, понимая, как много значат для них его слова:

— Через час-полтора дивизия начнет наступать. Я прикажу стянуть сюда всю артиллерию корпуса, подходят танки. Сам буду следить, как будете наступать. Могу надеяться, что завтра вы будете в Германии?

— Товарищ командующий,— сказал, вставая, рябенький солдат,— от лица всей роты...

— Зачем — от роты? Скажи, ты какое обещание даешь? От роты легко обещать. А вот от себя?

— Даю!— восторженно закричал тот.— Ура, ребята! И все нестройно, но дружно подхватили «ура».

— Вот это ответ по-солдатски,— одобрил маршал.

Над головой, словно откликнувшись на этот крик, просвистела мина. Командир роты с изменившимся лицом робко сказал:

— Надо вам уйти. Опять открыл огонь.

— Куда же я сейчас пойду?— добродушно ответил Широков.— Теперь надо переждать. Уж потерпите...

Но тут же он встал, хотя обстрел и продолжался, и пошел по ходу сообщения, провожаемый гулом солдатских голосов. Он шел спокойно, неторопливо, так, как ходил у себя в кабинете, как бы презирая самую мысль о возможности несчастья.

В фольварке командующий застал перебравшийся сюда штаб дивизии и командиров артиллерийских подразделений. Двор был густо заставлен повозками, суетились во всех направлениях связисты. В штабе шли последние приготовления к наступлению. Та самая задача, которая утром казалась многим невыполнимой, сейчас, когда тут был маршал, представлялась легкой, и ни у кого не было сомнения, что иочевать они будут в другом месте.

Дух воодушевления, который нельзя отметить ни в каких донесениях, охватил всех.

— Можно начинать? — спросил полковник, командир дивизии, Широкова.

— Да,— он подошел к окну.

Командующий пробыл в этой дивизии до вечера, когда после двухчасового боя полки сбили немцев с высоты и заняли следующую деревню. Широков приказал двигаться вперед до тех пор, пока не встретят противника. За этой дивизией уже втягивались новые

части, завязавшие бои по сторонам все расширявшегося коридора. Пауза на этом участке фронта закончилась. Наступление продолжалось.

В машине, когда они уже возвращались в штаб фронта, Широков, обернувшись к Назарову, душевно сказал:

— Сколько хорошего написано о нашем солдате! И все-таки не было дано полного ответа, откуда у советского солдата такая сила духа, такая твердость! И я на это не отвечу. Но верю в него так, что готов с ним и чудо совершить. А может быть, то, что мы делаем, и есть то самое чудо.

Он замолчал и всю длинную дорогу больше ничего не говорил. Вдруг Назаров услышал легкое посапывание. Маршал спал.

В штабе фронта командующего ждали два чрезвычайной важности сообщения: первое — войска фронта на одном из участков вступили в пределы Германии и продолжали успешно продвигаться, и второе — на том участке, откуда они приехали, крупные силы противника перешли в наступление.

Ну, какое там может быть сильное наступление? — засмеялся Широков, довольный сообщением о переходе границы Германии.

— Там действуют две немецкие потрепанные дивизии. Подбросьте туда еще одну из ближайших дивизий да пару танковых батальонов, и они справятся с немцами.

И, решив, что он сделал все, что нужно, Широков в следующие дни не интересовался подробностями боев на этом участке фронта, довольствуясь обычной сводкой, сосредоточив теперь все свое внимание на продвижении дивизий, развивавших успех танкового соединения, приближавшегося к Одеру.

Наступал день, когда Широков должен был приступить к осуществлению своего дополнительного плана.

— Сейчас, когда противник собирает ударные кулаки на наших флангах, спешно сооружает оборону на Одере, мы должны произвести быструю перегруппировку сил и ликвидировать эти попытки, — говорил Коле-

гаев.— В этих условиях мы нуждаемся в соединении Жабко.

Широков развел руками:

— Позвольте, вы рекомендуете отказ от поворота армии Жабко? Правильно я вас понял?

— Нет, не отказ. Но еще не пришло время. То обстоятельство, что мы раньше времени вышли на Одер, выполнив свою главную задачу, создало дополнительные трудности. Наши коммуникации растянуты; войска распылены. Учтите и то: танковое соединение совершило большой путь. Материальную часть надо подготовить, подбросить боеприпасы, горючее.

— Это отказ от плана,— угрюмо возразил Широков.

Он остановился возле карты, висевшей на стене. Табачников подошел к нему и хотел что-то сказать, но Широков повернулся и грубо крикнул:

— Почему же, черт возьми, вы молчали раньше? Почему? Я вам запрещал? Нет! Ради чего мы гнали войска? Эти группировки могли быть раздавлены в ходе наступления. Но мы берегли свои силы. Нет, план менять не будем. Извольте выполнять мои приказания. Обеспечьте Жабко всем для выполнения задачи.

— Подожди,— остановил его Табачников.— Может быть, у Жабко положение действительно такое, что эта задача сейчас ему не под силу. Может, нам вызвать его?

— И ты против поворота Жабко?

— Нет, но хочу, чтобы у Военного Совета была твердая уверенность и ясность во всем.

— Хорошо. Назаров, вызови Жабко. Пусть летит немедленно. А вы,— повернулся он к Колегаеву,— заготовьте для него приказ. Мы на войне, черт возьми, а не на маневрах, чтобы обсуждать варианты. Вы не цените временей. Через день я, может быть, и сам не пошлю Жабко. Понимаете вы это?

Колегаев с выражением незаслуженной обиды на лице вышел из кабинета.

Член Военного Совета весь этот день был у Широкова. Назаров, заходивший в кабинет командующего с текущими делами, слышал только обрывки разговоров. Но и по ним он понял, что сегодня ночью ожидается принятие важного решения. Он видел, что мар-

шал, один задумавший эту операцию, один сейчас и принимает решение.

Жабко прилетел на самолете через пять часов после того, как его вызвали. Он вошел в приемную, прихрамывая, опираясь на палку.

— Маршал у себя? Здоров? — торопливо спросил он, счастливый, что сделал все, что ему приказывали, что он может рассказать приятные новости.

— Очень вас ждет, — сказал Назаров.

— Да? Ну, провожай...

Назаров отворил дверь, пропуская впереди себя Жабко.

— О! — воскликнул Широков, увидев Жабко. — Завоеватель Германии! — И тут же испуганно спросил: — Что с ногой?

— Пустяки, — небрежно ответил Жабко. — Царапило осколком. Позавчера немцы наш штаб пытались захватить. Пришлось отбиваться.

Широков и Жабко обнялись и трижды поцеловались. Табачников крепко пожал руку.

— Рассказывай, что там у вас, — нетерпеливо потребовал Широков.

— На Одер вышел, — сказал Жабко, усаживаясь и устранивая поудобнее раненую ногу. — Сейчас готовят переправы. Ночью танки и орудия будут на том берегу Одера. Моя пехота уже там.

— А Матвеев?

— Его передовые части наводят переправы. К ночи подойдут и главные силы. Очень хорошо себя пехотинцы ведут. Почти не отставали от нас. Плацдармы обеспечены, но бон будут сильными. Нужно побольше артиллерии, авиации.

— Дадим, все дадим. А без тебя Матвеев справится?

Жабко ответил не сразу.

— Справится, конечно, и без нас, но... Да, тяжело будет. Главное, нужна артиллерия. Немцы готовятся бросить танки, мы чуть-чуть опоздали, а то переправались бы по льду через Одер. А теперь немцы открыли шлюзы, вода поднялась. Сразу всю артиллерию не перетянешь.

Жабко, понимая, что вызов его в такой решающий момент операции, когда войска должны прочно закре-

пить плацдармы на Одере, связан с чрезвычайными обстоятельствами, вопросительно посмотрел на Широкова.

— Пойди сюда,— позвал его командующий, подходя к карте на стене.

Жабко, хромая, приблизился и стал рядом, опираясь на трость. Широков дал ему время взглянуться в схему.

— Видишь? Сейчас надо браться за решение этой задачи, и мы собираемся поручить ее тебе. Матвеев один будет удерживать плацдармы.

— Уже есть приказ?

— Нет,— сердито сказал Широков, заподозривший, что у Жабко есть какие-то возражения.— Приказа нет, и его может не быть. Сегодня ночью буду просить Ставку разрешить эту операцию.

— Триста километров,— подсчитывал вслух Жабко.— Танки дойдут. Надо будет сбросить нам по пути с самолетов горючее. Это возможно. Операция интересная.— Он повернулся к Широкову с загоревшимися глазами.— Буду рад, если эту операцию доверят мне.

— Но это еще не все,— испытующе продолжал маршал.— Я держал в секрете потому, что боялся всякой случайности. Начало операции завтра же, а конец через неделю, и сразу же назад — к Одеру, на плацдармы. Весь смысл этой операции в ее внезапности и маневренности. Этим появлением танков мы окончательно запутаем противника.

— Вернусь в срок назад,— решительно заверил Жабко.

— Вот видишь,— произнес довольно Широков, обращаясь к Табачникову.— Вот как решают солдаты. А у теоретиков десятки сомнений. Быстро Коллегаева,—приказал Широков Назарову.

Когда через десять минут начальник штаба вошел в кабинет командующего с папкой под мышкой, Широков сухо спросил:

— Приказ у вас готов? — подчеркивая этим твердость принятого решения.

— Да.

— Давайте.

И все четверо углубились в чтение приказа.

Ночью состоялся разговор командующего фронта со Ставкой. При нем присутствовал и Жабко. Ставка дала

согласие на эту операцию, и полчаса спустя после окончания разговора с Москвой Жабко уже летел на самолете в свой штаб, с тем чтобы утром первые части смогли выйти на марш.

9

Темное небо, словно отражавшее хмурую землю, моросило мелким дождем. Сухая морозная погода сменялась гнилыми влажными днями.

Это уже была Германия. Широков остро вглядывался во все, что встречалось на этих первых километрах недавно отвоеванной немецкой земли. Верейицы немки и поживых немцев с тусклыми, серыми, осунувшимися лицами, с рюкзаками за плечами, толкая перед собой груженные узлами и чемоданами коляски, брели по краям узкой дороги, обсаженной березами со стволами, забрызганными грязью тысяч машин.

Мелькали деревни с аккуратными беленькими домиками под высокими черепичными крышами. Маленький палисадник, где зеленели аккуратно подстриженные кустики. Но были и выгоревшие дома с пустыми глазницами окон, рухнувшими крышами. Во всех домах были раскрыты окна, а с чердаков свешивались белые флаги. Это было как вопль о пощаде. Цветное тряпье валялось на улицах. Среди домов и по полям бродил скот, черно-белые коровы, голодные и отягощенные молоком, надрывно ревели.

Они въехали в город Гутенберг.

На центральной площади, выложенной серой брусчаткой, перед киркой, стоял массивный каменный «Железный крест» — памятник немецким воинам этого города, погибшим в первую мировую войну. Напротив горело большое четырехэтажное здание универсального магазина. Из окон, словно нарочно раскрытых, вырывались языки пламени. Черный пепел большими хлопьями кружил над площадью.

В центре ее стояла высокая стройная регулировщица с красной повязкой на рукаве, окруженная девушками в гражданской одежде. Они о чем-то наперебой расспрашивали регулировщицу.

Но едва бронетранспортеры и машина Широкова, въехав на площадь и свернув к кирке, встали, как все девушки, словно стая воробьев, ринулись к ним.

Они затараторили разом, перебивая друг друга.

К машине спокойным шагом подошла регулировщица, и, девушки, видя в ней представителя военной власти в немецком городе, расступились.

— Что у вас тут такое? — спросил ее Широков.

— Наши украинские девчата из неволи до дому идут, — ответила она.

— Это какими красавицами тут жили? — спросил Широков, удивленный, что все они одеты в хорошие пальто и новые туфли.

— Нет, сейчас приоделись. Износились в неволе девчата. Я им сама дорогу к немецким магазинам показала. Пусть приоденутся, — покровительственно добавила регулировщица.

Широков добродушно усмехнулся. И девушки, замолкшие было, приободрились, заулыбались.

— С утра сегодня пошли с Одера, — стала рассказывать регулировщица. — Идут и идут... Сколько их фашист угнал... Тысячи...

— Миллионы, — поправил ее Широков. — А войск много прошло?

— Ночью и утром конца не было. Сейчас стихло.

— В городе немцы есть?

— Никого... Только наши девчата, — и тут же поправилась: — рота ВАД...

Широков, пожелав девушкам счастливого пути, пошел в сторону от площади по узенькой улице. Назаров и автоматчики двинулись за ним. Командующий медленно шел, заложив за спину руки, вглядываясь в чужие дома, словно хотел восстановить ту чужую жизнь, что теплилась в этом городе, брошенном жителями еще несколько дней назад. Пустая и мертвая улица упиралась в кладбище, обнесенное гранитной стеной с чугунной решеткой. Широков повернул назад, остановился возле дома, где у ворот валялась брошенная ручная тележка с чемоданами, и, толкнув дверь, вошел в подъезд.

В квартире все было прибрано, словно хозяева только недавно отлучились.

Вдруг над головой звонко начали бить часы. Широков поднял голову и прислушался. Часы шли, заведенные еще рукой хозяина, который брел где-то теперь по дороге. Этим часам отозвались другие в соседних ком-

натах. Перезвон пошел по всем комнатам, и опять сумеречная гулкая тишина спустилась в дом.

В кабинете, где вдоль стены стояли шкафы с книгами, на стене висела большая карта, около которой Широков задержался. Булавками с красными и зелеными стеклянными головками на ней было отмечено движение западного и восточного фронтов. Видно, немало тяжелых минут, бледнея от страха, провел у этой карты хозяин квартиры, отмечая, как сближаются вокруг Германии фронты.

Зашли в другой дом, и там стояла кладбищенская тишина. Так же все было прибрано, и так же во всех комнатах часы отсчитывали время, еще были теплы кафельные печи.

Они выходили из третьего или четвертого дома, когда Широков обернулся к Назарову и сказал:

— Вот мы и в Германии. А?

Назарову почудилось в тоне командующего легкое разочарование.

Решено было, что надо где-то поужинать. Направились к большому жилому дому. Уже темнело. Они вошли в темную квартиру. На кухне в плите горел огонь, пахло жареным мясом. За столом сидели какие-то люди. Назаров включил большой фонарь, осветивший стол и сидящих за ним трех русских бородачей. Они испуганно поднялись при виде военного начальства.

— Ну, давайте отсюда, в другой дом, отцы,— благодушно начал было Назаров.

И старики покорно двинулись к двери, когда Широков спросил их:

— Вы кто такие?

— Из германской неволи идем,— сказал один из них, гулко прокашливаясь, выдвигаясь вперед, видимо, старший среди них.

«Неволя» — это слово чаще других слышал сегодня Широков.

— Где же невольничали?

— У Одера, на кирпичном заводе...— ответил все тот же.

— Сами откуда?

— Из-под Карачева. Город около Орла.

— Знаю этот город...

Широков все всматривался в крупные, запавшие от голода серые лица. Они стояли, все так же согнувшись, тяжело висели большие руки тружеников. Каждый из них мог быть ему отцом. Какой-то комок гнева и боли перехлестнул Широкову дыхание при виде этих старых согнутых людей.

— Как жилось? — с трудом произнес он.

— Какая жизнь... Вот... уцелели... а как и сами не знаем.— Он вдруг сделал шаг к Широкову и, прижав руками драную шапку к груди, сказал, повышая голос: — Спасибо, что пришли. Всего натерпелись. А сколько тут наших костей по Одеру позарыто... русской косточки...

Широкову показалось, что слезы блеснули на глазах старика.

— Садитесь, отцы,— сказал он, и сам первый присел к столу.

У плиты уже возился повар, настороженно посматривая в сторону командующего и стараясь не греметь посудой.

— А вот считай... Как немец пришел в Орел, так месяца через четыре нас и забрали. А как там на нашей Орловщине?

— Попалил там все фашист, все деревни начисто сжег, а Карачев взорвал. В землянках народ живет. Старики сокрушенно повели головами.

На улице слышался шум подъехавших машин, зазвучали громкие голоса.

В кухню торопливо вошел Коллегаев и остановился у порога, вглядываясь близоруко прищуренными глазами.

— Разрешите доложить? — спросил он Широкова.

— Хорошее?

— Очень хорошее! — с гордостью сказал начальник штаба, вытаскивая из полевой сумки карту.

— Ну-ну,— нетерпеливо сказал Широков, вставая.

Старики уже ушли из кухни, когда Коллегаев доложил:

— Первое — плацдармы на Одере закреплены прочно. Переправили всю артиллерию. Наведены надежные переправы. Имею сведения, что сегодня наши части расширили плацдармы по фронту и в глубину.

Немцы в своих сводках сообщили, что русские за Одером. Второе — доносят, что сейчас развернулись бри по уничтожению окруженной группировки. Успех у Жабко полный.

— Это победа! — громко сказал Широков. — Шифровка в Ставку готова?

— Пожалуйста, — протянул донесение Коллегаев.

— Да, да, это победа, — говорил Широков, поправляя в донесении отдельные фразы. — Передайте Жабко, как только танки начнут освобождаться, пусть шлет их сюда. Но ничего у него не требуйте, не торопите его. Надо теперь сюда все войска стягивать.

Он поднял голову от бумаги.

— Что же, Василий Васильевич, я думал здесь поужинать. А теперь вижу — надо за Одер ехать. Через два часа там будем. А завтра — к Жабко. Это пусть сейчас же передадут, — сказал он, возвращая донесение. — А сами поехали...

Они вышли на улицу. Здание универсального магазина все еще горело, и отсвет пламени бродил по площади.

Регулировщица, освещенная пламенем пожара, флажком указывала путь машинам артиллерийской части. С машин ей что-то весело кричали солдаты, и она приветливо махала им рукой. Из черноты все выныривали машины, тащившие на прицепе орудия, и, огибая площадь, чуть задерживались возле регулировщицы и опять исчезали в темном провале улицы.

Три старика стояли плечом к плечу на краю площади и молча смотрели на это ночное движение русских войск.

— Вот и Германия! — громко сказал Широков. — Вот как обернулась для тебя минута, когда подняла ты руку на советский народ. Запомни это!





Н. КУШТУМ

СОЛДАТСКАЯ ЧЕСТЬ

Когда нам радио Кремля
Сказало в трудный час:
— Друзья! Советская земля
Зовет на подвиг вас! —
Покинул я родной Урал,
Пошел с ружьем туда,
Где горизонт в огне пылал,
Горели города.
Там враг прошел.
Он гибель нес,
Топтал мои поля,
И вся, любимая до слез,
Обуглилась земля.
Я под Москвой морозной дроз,
Я шел под свист огня,
На Волге подлый враг не смог
Заставить лечь меня.
И вот могучее «Ура!»
Гремело, как прибой,
Когда от Волги до Днестра
Я шел из боя в бой.
Ступив на край земли родной,
Где столб чугунный врыт,
Отчизна, верный воин твой
Расплакался навзрыд.
Когда повержен был Берлин,

Последний бой кипел,
Отчизна милая, твой сын
От радости запел.
И вот дорогою прямой,
Путем больших побед
Я еду на Урал, домой,
За все держать ответ.
И где бы поезд ни стоял,
Скажу в любых местах,
Что я отчизну отстоял,
И честь моя чиста.
По звездам, что горят в Кремле,
Сверял я жизнь мою.
Да будет вечен на земле
Мир, добытый в бою!





ЯКОВ РЕЗНИК

ГАЛОЧКА

О черк

Разыскивая в 1947 году в берлинских архивах необходимые мне для работы над романом «Рассвет над Влтавой» материалы о последних днях Юлиуса Фучика, я одновременно пытался найти документы об осужденных гитлеровцами советских патриотах, попавших в рабство в Германию. Много пожелтевших от времени, а иногда и полусгоревших дел пришлось увидеть и прочесть. Среди них я нашел папки с материалами о подпольной деятельности, о суде и казни члена подпольного Центрального Комитета Чехословацкой компартии Юлиуса Фучика, судебные дела немецких подпольщиков — коммунистов из организации «Красная капелла», документы о польских, французских патриотах, смело боровшихся против гитлеровцев. Однако долгое время не удавалось найти ни одного судебного дела советских людей. Я уже склонен был разделить мнение товарищей, считавших невозможным найти такие материалы, так как подобных судебных разбирательств, по их заключению, не могло быть. И вдруг я обнаружил сперва запись о пребывании советской девушки в берлинской тюрьме Плёцензее, а затем то, что было поистине неожиданной находкой, — обвинительное заключение по делу молодежной подпольной антифа-

шистской организации, возглавляемой Галиной Романовой.

Советский человек среди осужденных в тюрьме Плѐцензее! Это был исключительно редкий случай. Гестапо и гитлеровская верховная прокуратура не желали тратить время на ведение следствий, подготовку судебных процессов против граждан нашей страны из военнопленных или угнанных на каторжную работу в Германию. Слишком много пришлось бы фашистам организовывать процессов, не хватило бы им и судей и следователей, чтобы разобрать бесчисленное множество активных выступлений советских патриотов против гитлеровского рейха!

Граждане СССР, попавшие против своей воли в фашистскую Германию, в невероятно тяжелых условиях находили способы проявлять свою жгучую ненависть к врагу. За многочисленные акты саботажа на предприятиях, за диверсии и частые побегі, за громко сказанное слово и гневный смелый взгляд десятки тысяч наших отважных и гордых людей были расстреляны в лагерях и тюрьмах, отравлены в душегубках без всякого следствия, без всякого суда. Должно быть, в предчувствии неизбежной расплаты за свои злодеяния гестаповцы старались не оставлять даже списков казненных советских патриотов.

А тут передо мной лежал объемистый документ верховной фашистской прокуратуры по делу советской девушки и ее молодых товарищей, документ, который невозможно читать без глубокого волнения.

«...Врач Галина Романова, родилась 18 декабря 1918 года в селе Романково Днепропетровской области, гражданка Советской России... Руководила группой восточных рабочих, входящих в подпольную организацию «Интернациональный Союз».

Эти слова обвинительного заключения, составленного фашистским прокурором Лаутцем, заставили еще и еще раз перечитывать страницу за страницей. Чем дальше, тем настойчивей вставали передо мной вопросы: какими путями пришла Романова в подпольную организацию? Зачем нужно было фашистским следователям на протяжении нескольких месяцев после ареста составлять обвинительное заключение? Для чего им понадобилось и после составления его еще 70

дней собирать дополнительные материалы против обреченной на смерть Галины? Что заставило верховную имперскую прокуратуру так тщательно готовить суд, со дня на день откладывая разбирательство дела советской девушки и ее друзей?

Читая первый документ о Галине Ромаиновой, еще невозможно было ответить на эти вопросы. Обвинительное заключение почти не говорило о жизни девушки в Советском Союзе. Оно лишь частично раскрывало причины того, почему гитлеровцы были вынуждены столько времени тратить на следствие, на подготовку процесса против закованной в кандалы, казалось, беспомощной узницы. Лишь после долгих поисков новых документов, писем, после встреч с самыми близкими Галине людьми можно ответить на эти вопросы и раскрыть величие подвига верной дочери Советской Родины — бесстрашной Галины Романовой.

* * *

Следователи гестапо, затем чиновники верховной имперской прокуратуры, а впоследствии судьи меньше всего интересовались годами, прожитыми девушкой в Советском Союзе, когда складывался ее характер, закалялась ее воля. Скупые три строчки обвинительного заключения говорили лишь о том, что обвиняемая Галина Романова — дочь кузнеца, семь лет посещала среднюю школу, три года — медицинский техникум и четыре — медицинский институт, что она была пионеркой, а затем членом комсомола. Следователи старались соблюсти требуемую формальность, не задумываясь над большим содержанием, скрытым за скупыми анкетными данными. Разве могли понять фашистские палачи, что именно советская школа и институт, пионерская, а потом комсомольская организации дали девушке столько гордой силы, воспитывали в ней пламенную любовь к Родине и верность долгу! Разве могли они постичь смысл того, что с малых лет Коммунистическая партия растила Галину, как и всю советскую молодежь, заложила в ее сердце зерна мужества и стойкости, которые в дни грозных испытаний дали прекрасные всходы!

В годы мирной жизни любовь и преданность девушки к Отчизне сказывались в ее трудолюбии, в ее отличной учебе, в честном отношении к общественному дол-

гу. А когда война со всей суровостью предстала перед Галиной, она без остатка отдала себя борьбе за свободу и независимость Родины. В тот час тяжелых испытаний коммунисты Днепродзержинска помогли Галине занять свое место в строю бесстрашных.

В августе 1941 года части Советской Армии вела тяжелые бои с врагом на подступах к Днепродзержинску. Галина хотела с матерью и бабушкой эвакуироваться в восточные районы страны, но не успела. Фашистские войска заняли Днепродзержинск прежде, чем Романова сумела вернуться в город из детского оздоровительного лагеря, в котором она работала во время своих последних каникул в институте. Оставить малышей, среди которых были больные, молодой врач не мог, не имел права. Рискуя жизнью, Галина привела детей в Днепродзержинск, доставила их родителям, а сама не знала, куда ей деваться, что дальше делать.

Решение было принято в тот вечер, когда Романова впервые за дни оккупации увидела своего соседа Петра Гавриловича Кириенко. Галя с детских лет знала его как честного рабочего, активного коммуниста, и сердце подсказало ей, что именно таких людей партия могла оставить для подпольной работы.

Домики матери Петра — Евдокии Семеновны Кириенко — спрятались за высоким дощатым забором через три двора от дома Романовой. Галя раскрыла калитку, вошла в знакомый двор и тут встретила Евдокию Семеновну и Петра. О чем она беседовала с ними, девушка не говорила даже матери, от которой до того вечера у нее никогда не было секретов. Но мать не могла не заметить, как оживилась дочь, как засверкали ее глаза. Галина все чаще стала уходить ночью из дому.

С того дня Галя помогала членам подпольной коммунистической организации Днепродзержинска Евдокии и Петру Кириенко и своей подруге по школе и институту Тарасовой в их большой и опасной работе. Дом Евдокии Кириенко был местом сбора партизанского штаба. Здесь, в подвале, подпольщики ремонтировали старое оружие, печатали листовки с призывами к населению всеми силами бороться против гитлеровцев. Глухой переулочек, оканчивающийся у дома Кириенко крутым спуском, был удобен для незаметного прихода подпольщиков.

Девушка научилась незаметно подбрасывать листовки рабочим завода, выполняла все более важные задания Петра Кириенко и Любы Тарасовой. Она действовала решительно, находчиво. И когда поздней июньской ночью 1942 года гитлеровцы громко стали стучать в дверь и в окно квартиры, Галя прежде всего подумала, не провалились ли Петр Кириенко и Люба. Ей велели одеться и быстро собрать вещи для далекой поездки в Германию. «Вы врач,—сказал эсесовец Галине,—и будете лечить ваших русских в лагерях». Даже проститься с матерью и с бабушкой ей не дали.

Романову привезли на окраину Берлина, в один из «трудовых» лагерей. Здесь в нечеловеческих условиях жила оторванная от родной земли советская молодежь. В самых вредных цехах военных заводов, на химических предприятиях работали подростки. Туберкулез, тиф и другие болезни косили людей и молодой врач трудилась до полного изнеможения, чтобы спасти своих сестер и братьев. Галина объявляет войну не только болезням. Она борется с апатией, растерянностью более слабой части молодежи, вселяет в них веру в победу правого дела, в победу Советской Армии.



В декабре 1942 года Галину Романову отправили из Берлина в город Ораниенбург. К этому времени сюда привезли для работы на военных предприятиях несколько эшелонов парней и девушек с оккупированной советской территории, из Чехословакии, Франции, Бельгии и Голландии. В огромном, окруженном колючей проволокой и рвами лагере жили в тесных, темных, холодных бараках не менее пяти тысяч человек. Лагерь был разбит на 11 строго изолированных друг от друга секторов. И врач Романова, которая обслуживала людей во всех секторах, стала для поработанных, измученных непосильным трудом и неволей рабочих лучом света в темном гитлеровском царстве. Она приносила с собой и лекарства для больных и вести о победах Советской Армии. Она исподволь, оставаясь с глазу на глаз с пришедшими к ней на прием людьми, изучала их, отбирала самых стойких для подпольной борьбы.

Обвинительное заключение устанавливает, что с де-

кабря 1942 года, с момента прибытия Романовой в Ораниенбург, она начинает активную подпольную деятельность, становится организатором боевой антифашистской группы — «Интернационального Союза».

Приступив к изложению существа дела, автор обвинительного заключения прокурор верховной имперской прокуратуры Лаутц описывает, каким образом Галина привлекала рабочих в организацию, как она встретилась с французом Буаселье, как руководители «Интернационального Союза» установили связь с немецкими антифашистами в Берлине.

Можно себе представить, как были взбешены гитлеровцы, узнав о существовании боевой юношеской организации во главе с советскими людьми. Шутка ли: в городе, находящемся недалеко от Берлина, да и в самом Берлине, рядом с имперской канцелярией и резиденцией главаря гестапо Гиммлера, в течение года существовала и вела разностороннюю деятельность антифашистская организация, само название которой не могло не вызывать у гитлеровцев гнев и дрожь. Это был подлинный интернациональный братский союз!

Гражданка Союза Советских Социалистических Республик врач Галина Федоровна Романова и гражданин Французской республики электротехник Владимир Буаселье были руководителями двух групп организации, созданных с самого начала ее деятельности.

Галина Романова — дочь советского рабочего-металлурга, воспитанная на социалистических принципах человеческих отношений и морали, обучавшаяся в советской средней и высшей школе, выращенная Коммунистической партией и комсомолом, и Владимир Буаселье — сын мелкого французского торговца, которого родители обучали больше торговле, чем электротехнике. Какими различными они были по воспитанию, по взглядам, по характеру! Но здесь они нашли общее в самом главном — в борьбе с ненавистным фашизмом. Молодых людей, по-разному понимающих свободу, полюбивших ее всем пылом юной души, сблизил самая важная в то время цель — победа над гитлеровской Германией.

Во многом Галине Романовой было труднее действовать, чем французам и чехам. Она хуже знала немецкий язык, обычаи, быт и нравы населения капита-

листической страны. Но она имела перед ними другое, более важное преимущество. Она была дочерью социалистического государства. Она лучше, чем ее товарищи, понимала цели борьбы, яснее видела пути к победе, ни на секунду не теряла веру и поэтому более последовательно и смело боролась с врагом, сплачивая вокруг себя молодежь различных национальностей.

Пользуясь правом выезжать за медикаментами, Галина бывает в Берлине, связанном электричкой с Ораниенбургом, и во время этих поездок встречается с антифашистами. На подпольной явке она докладывает членам «Интернационального Союза» о политическом положении, о великой Сталинградской победе. Романова требует от членов организации перейти от слов и пожеланий к широкой агитационной работе, предлагает установить связь с немецкими антифашистами, чтобы с их участием организовать выпуск листовок на русском, французском и чешском языках. Молодые подпольщики, увлеченные большой программой действия, активизируют свою деятельность среди иностранных рабочих, устанавливают связь с немецкими антифашистами. Романова в сумке с медикаментами приносит в лагерь первую пачку листовок с рассказом о воинском мастерстве, героизме и доблести воинов Советской Армии, с призывом к молодежи, увезенной в рабство, ни на минуту не прекращать борьбы.

Даже бесстрастный, сухой язык обвинительного заключения раскрывает перед нами образ вожака «Интернационального Союза». Фашистский прокурор, обвиняя Романову как непримиримого врага гитлеровского режима, записывает проникновенные слова девушки, сказанные ею рабочим лагеря.

«Война идет к концу, Германия терпит катастрофу. Вы обязаны всеми силами помогать своей Родине — Советскому Союзу. Вечный позор ожидает тех, кто ничего не делает для своей Отчизны», — заявила Галина товарищам, вселяя в них бодрость, желание бороться, подсказывая им формы и методы борьбы.

* * *

С каждым месяцем 1943 года росло количество случаев саботажа на тех предприятиях Берлина и Ора-

Ораниенбурга, где работали советские люди. Ни угрозы, ни репрессии не помогали. Брак военной продукции, предназначенной для немецких армий на Восточном фронте, продолжал расти. Гестапо арестовывало рабочих, усиливало наблюдение за всеми советскими людьми, но тщетно. Время от времени в «трудовых» лагерях и на заводах появлялись листовки с сообщениями о наступлении Советской Армии, с призывами открыть боевой действующий фронт в самом Берлине и вести войну с фашизмом любыми средствами.

К лету 1943 года Романова уже имела в каждом секторе лагеря одного-двух человек, которые, соблюдая все меры предосторожности, распространяли правду о ходе войны против гитлеровской армии, информировали своих товарищей о победах советских войск, призывали молодежь скрывать свои профессии, портить оборудование, выпускать бракованную продукцию. Члены «Интернационального Союза» не ограничивались этими действиями. В нескольких местах обвинительного заключения прокурор Лаутц подчеркивает, что Романова, Буаселье и другие подпольщики начали вести подготовку к вооруженному восстанию, которое должно было вспыхнуть в лагерях Ораниенбурга и Берлина в момент приближения советских войск к столице Германии.

Подробно об этом периоде жизни и борьбы Галины Романовой рассказывают оставшиеся в живых члены «Интернационального Союза».

Несколько раз мне удавалось видеться с учителем, ныне директором школы на Украине, коммунистом Петром Кирилловичем Зозулей. Он подолгу говорил об условиях жизни в Ораниенбургском лагере и особенно подробно о Галине, о ее организаторской роли в «Интернациональном Союзе».

— В наш сектор лагеря, который находился на окраине Ораниенбурга, — рассказывал Зозуля, — два раза в неделю на прием больных приходил врач, которого мы ласково называли Галочкой. Маленькая, в стареньком изношенном пальто, быстрая и ласковая, девушка привлекала к себе людей готовностью не только лечить, но и помочь, поддержать добрым словом. Умела она отстаивать наши интересы даже перед лагерным начальством, оформляла освобождение от ра-

боты так искусно, что немцы не всегда могли придраться к нам.

Вскоре она мне помогла перейти на работу санитаром. Ко мне и моему товарищу Лесику Галина долго присматривалась, беседовала с нами, пока не доверилась, и дала первое поручение: изучать людей, постепенно подбирать из них годных для подпольной работы. Через несколько дней, выслушав наши сообщения, она передала нам содержание последних сводок Советского информбюро и велела распространить их. Позднее мы получали у Романовой отпечатанные немецкими антифашистами в Берлине листовки и раздавали их нашим людям во время бомбежек, когда охрана убегала прятаться в подвалы. Листовки сообщали о победах Красной Армии, об издевательствах гитлеровцев над нашими людьми, в них был призыв к саботажу и срыву всех военных мероприятий фашистских властей.



Возможно, гестаповцам еще долго не удалось бы раскрыть организацию, возможно, молодые борцы дождались бы прихода Советской Армии, если бы не провал члена «Интернационального Союза» Садкевича. Оказавшись в гестапо, он раскрыл известные ему имена, и Галина Романова, Петр Зозуля вместе с другими девятью членами организации были арестованы.

Услышать из уст Романовой хоть одно-другое имя означало для следователей нащупать след, проложить себе дорогу к десяткам неуловимых бойцов. Вот почему они оттягивали процесс, вот почему больную, истерзанную пытками девушку допрашивали не только в гестапо, но и в тюремной камере.

Рассказ бывшего члена организации «Интернациональный Союз» Петра Зозули ярко раскрыл благородные душевные качества Галины Романовой, ее негибаемую волю и твердость духа во время следствия и на суде.

Дело «Интернационального Союза» разбиралось 27 апреля 1944 года в высшем гитлеровском судебном органе — в первом сенате фашистского трибунала в Берлине. На скамье подсудимых сидели Галина Романова, Владимир Буаселье, Садкевич, Зозуля и еще восемь участников организации.

Председатель первого сената фашистского трибунала Ролланд Фрайслер, который присудил к смерти национального героя чехословацкого народа Юлиуса Фучика, прокурор Лаутц и члены суда надеялись перекрестным допросом добиться от Галины каких-нибудь полезных для суда показаний.

— Кто был организатором сопротивления среди русских в лагере Ораниенбурга? — допытывался председатель трибунала.

— Я! — смело ответила Галина. — Все, что вам известно, сделано в Ораниенбурге мною.

Девушка хорошо знала, что ее ожидает после этих признаний. Но она и на суде решительно брала на себя чужую вину, в том числе и вину вовлеченных ею в организацию Петра Зозули, Ивана Лесика, добиваясь облегчения участи подсудимых и оберегая жизнь тех членов организации, которые оставались вне тюрьмы.

— Расскажите, как вы распространяли листовки по заводам? Кто помогал вам? — вмешался прокурор верховной имперской прокуратуры.

— Моя совесть — совесть советского человека — помогла мне, — ответила Галина.

Прокурор, думая запугать Романову, перебил ее:

— Признавайтесь! Иначе вам не миновать гильотины!

— Я знаю, что меня ждет, — смело бросила в лицо фашистским судьям Галина. — Но такой меня воспитала моя Родина, и вам не удастся уstrasить меня. Я не унижусь перед вами и гордо приму смерть. Жалею лишь об одном — мало пользы успела принести своей Отчизне. Пусть простит мне это мой народ...

В пять часов вечера 27 апреля 1944 года председатель трибунала огласил смертный приговор Галине Романовой, Владимиру Буаселье и еще пяти участникам «Интернационального Союза». Пять человек, благодаря Галине, взявшей их вину на себя, были присуждены к различным срокам тюремного заключения.

Наступил момент прощания с боевыми друзьями. Каждого осужденного к смерти Галина обняла, расцеловала, затем пожала руки остальным товарищам и взволнованно произнесла:

— Кто из вас останется в живых, передайте нашим

людям, что я до последней минуты своей жизни буду бороться за любимую Родину.

Долгих сто четырнадцать суток после суда Галину держали в одиночной камере смертника. Палачи все еще надеялись сломить ее волю, хотели, чтобы она кого-нибудь выдала. Что может быть мучительней, чем каждой ночью ожидать: «Сейчас придут за мной, сейчас меня поведут на казнь». Уже белыми стали ее волосы, только одни глаза — впалые, опромные, чуть напоминали прежнюю Галину. Но сердце ее оставалось твердым.

Вечером 19 августа 1944 года в камеру к Романовой пришли прокурор, палач и его два помощника. Оставив сопровождавших на пороге, прокурор именем фюрера объявил о приближении казни и удалился.

Под охраной старого немецкого надзирателя, не имевшего права в эту ночь отлучиться из камеры, Галина осталась ждать сигнала идти в свой последний путь. Незадолго до рассвета девушка сумела уговорить немца, чтобы он вынес из тюрьмы сохранившуюся у нее семейную фотографию и передал ее врачу Анне Круподер, увезенной вместе с Галиной из Днепродзержинска и работавшей в больнице для русских рабочих в Берлине. Романова надеялась, что последние написанные ею на фотографии строчки попадут к матери. И она не ошиблась.

...Я держу в руках эту семейную фотографию, которую девушка до последних минут жизни сберегала у своего сердца. На снимке худенькая светловолосая десятилетняя Галочка в белом платье сидит между отцом и матерью. У ног родителей примостились малыши — двое ее братьев. В ту ночь, когда Романова в последний раз целовала эту фотографию, братья с оружием в руках шли к границам Германии. Но не дождалась их Галина: несколько месяцев отделяли ночь ее казни от светлого дня победы.

Торопясь, она скованной кандалами дрожащей рукой написала на обороте фотографии:

«Город Каменское, Днепропетровской области, Славянская улица, 7/3.

Дорогие, любимые, как жаль, что вижу лишь ваш отпечаток. В то время, как вы от меня далеко, далеко...»

Ей хотелось сказать многое, а места на карточке

не было. Она написала на немецком языке свое имя и фамилию, затем снова на русском «тюрьма — Берлин. 19/VIII — 44». Нарисовала кандалы и дрожащей рукой вывела еще три строчки: «Хочу видеть вас еще раз и тогда была бы счастлива. Родные, целую вас крепко. Ваша дочь и сестра».

Вероятно в это время раздался звонок: тюремный диспетчер, ведающий точным временем вывода на казнь, торопил, и Галина в уголочке справа, обращаясь к родным и ко всем советским людям, успела дописать лишь одно слово:

«Прощайте!»



Через несколько лет после войны я разыскал адрес Галиной матери и встретился с ней. Пока я рассказывал Ирине Павловне Романовой о героической борьбе и трагической судьбе ее дочери, она молчала. Только глаза ее — большие и темные — выражали безмерное горе.

— Скажите мне, как они убили Галочку? — тихо и настойчиво спрашивала мать.

Не хватило сил при первом разговоре произнести слово «гильотина». Я попытался уклониться от прямого ответа и стал расспрашивать о детских годах дочери.

— Она рано лишилась отца, — говорила мать. — Мне казалось, что я не сумею выучить ее и вырастить мальчиков. Но спасибо нашей власти, не дали дочери простой работницы остаться без знаний. Галина умела ценить и ласку большой советской семьи, и мою ласку.

Ирина Павловна раскрыла ящик старинного комода и вынула тщательно завернутые в цветной кусок материи документы и фотографии Галины. На одной — девушка с пышными, опускающимися на плечи, вьющимися волосами. Глаза серьезные, как у матери, круглый подбородок приподнят, губы раскрыты, и вся она точно желает вам сказать что-то теплое, приятное.

Натруженные руки Ирины Павловны положили на стол произведения Пушкина, Горького, Шолохова и Николая Островского.

— Это ее любимые писатели. В одну ночь Галочка прочитывала книгу. Она была жадная к знаниям, к на-

стоящей жизни. Разве могла она мириться с позором быть у кого-нибудь рабыней! Разве могла она в Германии хоть на минуту забыть нашу родную землю! Из ее писем я уже чувствовала, я уже знала многое. Хотите их прочесть?

...Пожелтевшие от времени листки, некоторые со стершимися буквами, но это живая Галочка сквозь годы говорит с нами страстным и нежным голосом.

22 октября 1942 года Галина пишет из Берлина матери:

«Хотела бы вас всех увидеть хотя бы на минуточку. Нет, не на минуту, а навсегда. Навсегда возвратиться и быть там, где я полезна нашему народу».

Позднее, когда деятельность подпольной организации «Интернациональный Союз» дала уже ощутимые результаты, Галина не могла удержаться, чтобы намерком не дать знать о счастье, которое она нашла в борьбе.

«Дорогая мамочка! У меня есть один секрет, касающийся только меня. Сообщу тогда, когда буду иметь успех... Только прошу, не волнуйтесь. Это очень хорошее начинание... Вы можете услышать лишь тогда, когда я буду около вас. А это будет, я не теряю надежды».

Не сбылись надежды Галины Романовой. Им не дали сбыться враги, казнившие в тюрьме Плещензее девушку-борца. Но, как писал Юлиус Фучик, «человек не становится меньше от того, что ему отрубят голову». Не в силах были фашисты заставить умолкнуть верную дочь Советской Отчизны. Она и сегодня среди нас!

* * *

В дни своего последнего посещения Днепро-дзержинска я с Николаем Романовым обошел исторические места города, которые были близкими, родными для его сестры.

С небольшого возвышения смотрим на металлургический комбинат, раскинувшийся у живописного правого берега Днепра. Николай с гордостью показывает цеха красавца завода, тепло говорит о коллективе блюминга, где он приобрел квалификацию сварщика, нашел после армии чутких, заботливых товарищей. Он вспоминает, что с этого места они с Галинкой любили

вечерами глядеть на золотисто-огненное зарево, поднимающееся над домами в момент выпуска металла.

Через некоторое время мы с улицы Заварихина свернули в переулок и остановились перед домом № 5, на котором висит гранитная доска с надписью: «Здесь в период немецкой оккупации находился штаб отряда партизан Отечественной войны».

Входим в небольшой дворик. Нас приветливо встречает старшая дочь Евдокии Семеновны Кириенко — Лидия Гавриловна — и дочка героически погибшего Петра Кириенко. Завязывается беседа. Лидия Гавриловна рассказывает о подпольной деятельности матери и брата, о том, как в январе 1943 года Евдокию Семеновну, Петра Кириенко и других подпольщиков эсэсовцы расстреляли у стены коксохимического завода.

— Вы видели наш памятник Славы лучшим людям города? — спрашивает Лидия Гавриловна. — На нем имеются имена и наших любимых.

На небольшой, всегда многолюдной площади, в окружении молодых деревьев, цветочных клумб и газонов, стоит воздвигнутый в первые годы Советской власти памятник Освобождения. Мощный постамент легко держит на себе высокую отточенную бетонную колонну. На вершине ее возвышается человек, разорвавший на своих руках цепи рабства. В страстной, порывистой фигуре ощущается торжество победителя и внутренняя могучая энергия борца, готового свершить новые подвиги.

Под этой стремительной фигурой, отлитой рабочими Днепродзержинска, на стенках пьедестала начертаны имена героев гражданской и Великой Отечественной войн. Возлагая живые цветы на братскую могилу у подножия памятника, люди с глубоким уважением читают среди других славных имен имена матери и сына Кириенко, комсомолки Любы Тарасовой — близких друзей и наставников Галины Романовой.

И тут, у подножия памятника Славы, приятно слышать из уст рабочих, что они помнят Галину Романову, что ее бесстрашие, ее верность Советской Родине служат светлым примером для подрастающего поколения.

Бессмертны те, кто отдал свою жизнь за мир, за счастье людей, за светлое будущее своего народа.



Ю. ЛЕВИН
Н. МЫЛЬНИКОВ

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ПОЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ

О черк

Стояли осенние дни 1941 года. С фронта шли вести одна тяжелее другой. Фашистские захватчики, вооруженные до зубов, рвались к сердцу советской Родины — Москве.

Мимо станции Синарской один за другим шли эшелоны. Одни спешили на запад, к фронту, другие мчались на восток.

Однажды у станции остановился санитарный поезд. Путеец Григорий Кунавин стоял на перроне.

— Товарищ, какая это станция? — донеслось из окна вагона.

— Синарская, — ответил Кунавин и подошел к вагону.

— Какая у вас тут тишина, — сказал раненый.

Поезд тронулся. Кунавин не уходил. Он еще долго смотрел вслед уходящим вагонам. Перед взором стоял этот молодой израненный солдат, а в ушах слышался его голос: «Какая у вас тут тишина...»

В этот день Григорий пришел домой поздно вечером. Или разговор у санитарного вагона, или еще что подействовало на него, но он окончательно решил, что его место на войне, он коммунист и должен быть там, где может принести пользы больше, чем на далекой

уральской станции. И он решил пойти на фронт добровольцем.

— Ухожу на фронт, Катюша,— сообщил он жене. — Пора...

...Эшелон уходил на фронт. Все жители Синарской вышли провожать своих земляков.

— Я буду бить врага так, как мне велит долг советского человека, долг члена Коммунистической партии,— поклялся тогда Григорий Кунавин перед земляками.

А в декабре 1941 года на полях Подмоскovie он уже принял первое боевое крещение.

Стрелковое отделение, в котором служил рядовой Кунавин, стремительно ворвалось в траншею врага. Завязался рукопашный бой. Григорию Кунавину пришлось выдержать поединок с тремя гитлеровскими автоматчиками. Заметив одного из них, Кунавин бросился вперед и нанес врагу смертельный штыковой удар.

В это время Григорий почувствовал острую боль в ноге — его ранило. Однако воин не растерялся. Он развернулся и сильным ударом приклада свалил второго фашиста. Третий автоматчик, вынырнувший из-за поворота траншеи, сзади навалился на Кунавина. Стоило упустить какую-то долю секунды, и враг мог расправиться с советским солдатом. Но не тут-то было. Кунавин напряг силы и резким рывком сбросил гитлеровца с плеч, затем схватил его за горло...

После боя Кунавин попал в госпитальную палату.

«Дорогая Катюша! — писал он жене из госпиталя. — Дела идут на поправку. Хочется скорее на фронт».

И то ли оттого, что пехотинец Кунавин скорее стремится попасть на фронт, то ли потому, что у него был крепкий организм, рана зажила очень быстро.

Григорий Кунавин снова прибыл на передний край, в боевые цепи наступающей пехоты. Верный воинскому долгу, советский пехотинец бил оккупантов со всей русской удастью, смекалкой, отвагой. Он бил их на дорогах Смоленщины, в районах Могилева и Минска, на рубежах родной земли.

Не завоевателями, а освободителями вступили на польскую землю воины Советской Армии. Был в их

числе и уральский железнодорожник, ротный парторг ефрейтор Кунавин.

Наступил знойный июль 1944 года. Советские войска повели бои за первые километры польской земли. Жестокий бой разгорелся за деревню Герасимовичи, что находится в Сокольском уезде Белостокского воеводства.

В течение трех дней деревня Герасимовичи шесть раз переходила из рук в руки.

На четвертый день рота, в составе которой был Григорий Кунавин, получила приказ приготовиться к решительному наступлению. Накануне боя парторг роты Кунавин собрал коммунистов и сказал:

— Наша рота будет участвовать в прорыве обороны врага, которая прикрывает подступы к Восточной Пруссии. Задача очень трудная. Помните, товарищи коммунисты, что в этой деревне под гнетом фашистов томятся наши братья по крови — поляки. Наш долг — освободить их из неволи.

Перед тем как начать штурм, Кунавин успел написать письмо своей жене Екатерине Андреевне на станцию Синарскую. «С сегодняшнего дня, — писал он, — начинаем освобождать народ Польши. Победа дается, конечно, нелегко. Но нас воодушевляет то, что после каждой схватки подвигаемся вперед. Все ближе тот день, когда враг будет разбит окончательно, и мы возвратимся с победой в родные уральские края».

И вот настал час жестокой схватки с врагом. Гитлеровцы засели на удобной высоте, прикрывавшей деревню. Наступление роты, попавшей под пулеметный огонь, замедлилось. Для успеха боя во чтобы то ни стало нужно было подавить огневую точку врага. Кто выполнит эту задачу? У кого больше смелости?

Первым вызвался пойти парторг Кунавин. За ним пошли другие. Ефрейтор выдвинулся вперед и, укрывшись в ржаном поле, в нескольких метрах от немецкого дзота, непрерывно стрелял по врагу из автомата. Он выпустил первый автоматный диск, второй... Расстреляны последние патроны, но фашистский пулемет продолжал действовать. Тогда Кунавин подполз еще ближе. Чтобы выиграть схватку и выручить боевых друзей, попавших в беду, бесстрашный советский воин коммунист Кунавин пошел на самопожертвование. Он

подкрался к вражескому дзоту и своим телом закрыл его амбразуру, повторив бессмертный подвиг русского солдата Александра Матросова. Пулемет заглох. Перестало биться сердце коммуниста.

— Вперед товарищи! Отомстим за смерть нашего парторга!— пронесся клич над полем боя.

Рота дружно поднялась в новую атаку и стремительным броском ворвалась в деревню, очистив ее от фашистских захватчиков.

«Мне очень тяжело сообщать это печальное известие,— писал Екатерине Андреевне фронтовой друг Григория — Александр Горбунов.— В боях за Родину погиб смертью храбрых наш любимый товарищ, ваш муж Григорий Павлович Кунавин. Тяжелое горе постигло нас. Но то, что сделал Григорий, никогда не забудется нами».

В польскую деревню Герасимовичи пришла долгожданная свобода. Ее принесли сюда советские воины.

У места героической гибели ефрейтора Кунавина состоялся митинг. Здесь собрались его боевые друзья, однополчане. Сюда пришли жители деревни Герасимовичи.

— Клянемся тебе, наш дорогой товарищ, что мы тебя не забудем. Мы довершим то, что ты не успел сделать. Враг будет разбит,— заявили воины.

— Твое имя, воин-освободитель, мы навечно сохраним в наших сердцах, — поклялись крестьяне польской деревни. — Ты пришел с далекого Урала и принес нам свободу. Вечная слава простому советскому солдату Григорию Павловичу Кунавину.

В знак благодарности русскому брату-освободителю общее собрание жителей деревни Герасимовичи постановило:

«1. Занести имя русского воина Григория Павловича Кунавина навечно в списки почетных граждан польской деревни Герасимовичи.

2. Просить о присвоении школе, где учатся наши дети, имени Григория Кунавина.

3. Учителям каждый год начинать первый урок в первом классе с рассказа о воине-герое и его соратниках, чьей кровью для польских детей добыто право на счастье и свободу. Пусть прослушают дети рассказ

стоя. Пусть их сердца наполнятся гордостью за русского брата, воина-славянина. Пусть их понимание жизни начинается с мысли о братстве польского и русского народов».

Советское правительство высоко оценило великий подвиг Григория Кунавина. Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Двадцатого сентября 1947 года председатель президиума Верховного Совета СССР писал Екатерине Андреевне Кунавиной:

«Посылаю Вам Грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Вашему мужу звания Героя Советского Союза для хранения как память о муже-герое, подвиг которого никогда не забудется нашим народом».

Со дня героического подвига Григория Кунавина прошло более десяти лет. Но какое бы время ни отдаляло нас от минувшей войны, слава героев не меркнет. Их имена живут в сердцах народа.

Уральцы свято чтут память своего земляка, воина-героя. Сейчас на станции Синарской нет такой семьи, которая не знала бы о бесстрашном подвиге Григория Кунавина. Именем героя названа одна из улиц Синарской, выросшая уже в послевоенные годы.

Весной 1953 года по просьбе трудящихся города Каменска-Уральского и железнодорожников Синарского отделения разъезд № 91, что находится в тех местах, где жил герой, переименован в станцию Кунавино.

Бессмертное имя Григория Кунавина продолжает служить живым примером и для тружеников Польши. Не так давно из деревни Герасимовичи, где похоронен прах Григория Кунавина, в Свердловск пришло письмо. В нем говорилось:

«Мы, жители деревни Герасимовичи, не забываем имя героя-уральца Григория Кунавина. Он погиб на окраине нашей деревни, сражаясь за освобождение Польши из-под ига оккупантов.

В настоящее время правительство народной Польши начало строительство школы-памятника в честь героя. Эта школа будет вечным живым памятником, выражающим благодарность польского народа герою, который отдал жизнь за наше освобождение».

Ныне эта школа построена. Ученики деревни Герасимовичи гордятся тем, что она носит имя Героя Советского Союза Григория Кунавина. Для них высшим отличием является вручаемый в день окончания занятий портрет героя.

Вечно будет жить в сердцах советских людей светлое имя героя-коммуниста Григория Павловича Кунавина.





О. СЕЛЯНКИН

ОН ВИДЕЛ

Р а с с к а з

Пятый час лежат матросы в развалинах дома! Широкая площадь преградила дорогу. Площадь «ничья». Гладкая, без скверов и памятников, она просматривается и простреливается со всех сторон.

Разгоряченные боем матросы попробовали с ходу пробежать через нее, но из отдушин в фундаменте и окон огромного дома, стоявшего на противоположной стороне площади, ударили враз пулеметы, автоматы, к ним присоединились минометы, рассыпавшие по мостовой дробь разрывов, и рота отступила. Она залегла в развалинах дома, в ожидании, пока артиллерия не подавит огневые точки противника.

Конечно, морская пехота могла преодолеть это препятствие. Ей приходилось брать и более укрепленные участки, но сегодня... Умирать сегодня, когда, кажется, даже воздух пропитан победой! Начали драться в Сталинграде, а сегодня перед глазами уже улицы Берлина! Сегодня только жить и жить...

Прижавшись щекой к холодному шершавому камню, Медведев время от времени бросает взгляд на раскиданные по площади тела. Это его бойцы. Еще утром, веселые, полные сил, выскочили они из развалин, а сейчас лежат неподвижно на иссеченных пулями и осколками чужих камнях.

Дом дрожит от взрывов, но не от того, что в него попадает много снарядов. Нет! В его крепкие стены только изредка ударяются мины. Дрожит он потому,

что дрожит вся берлинская земля. Невиданной силы молот бьет по земле, и от его ударов, как игрушечные, покачиваются большие каменные дома.

Матросы лежат у проломов в стене. Одни злыми глазами смотрят на площадь, другие, положив кирпичи под голову, пытаются уснуть. Лица хмурые, злые. Соседи давно ушли вперед, а они лежат тут и ждут, пока пушкари расчистят дорогу.

Вокруг валяются жалкие остатки мебели: разбитый стол, сломанные стулья, распоротый матрац. Все это чужое, ненужное. Берлинская пыль лежит на обмундировании, оружии, на лицах и вот уже которые сутки скрипит на зубах.

Дома рушатся то и дело, но тот, на дальней стороне площади, еще стоит. В его стенах огромные проломы, едва держатся изогнутые балки, но дом стоит.

Вот по его темной стене мелькнула огненная змейка. Мелькнула на мгновение и исчезла. В стене появилась маленькая трещина. Зигзагом пошла она от одного пролома к другому... Стала шире, шире, стена качнулась, вдруг наклонилась, и упал угол дома, рассыпался по мостовой битым камнем, взметнув столб пыли.

«Еще немного, и пойдем», — подумал Медведев.

— Посмотрите, товарищ лейтенант, как они ныряют! — говорит подошедший связной.

В небе очень много самолетов. Непрерывно летят к центру Берлина бомбардировщики, над самыми крышами проносятся штурмовики, а выше их, как орлы, высматривающие добычу, парят истребители. Они то взмывают вверх, то стремительно бросаются вниз. В их полете заметна закономерность. Самолеты носятся чаще всего парами. Один догоняет другого.

Выстрелов уже не слышно. Видны лишь светлые точки, летящие от самолета к самолету. Вот один самолет задымил и, выйдя из боя, пошел на восток.

— Наш! — как вздох, вырвалось у всех.

— Дотяни, милый! Дотяни!

И самолет «тянет». Пламя показалось на плоскости, но летчик бросил машину на крыло и сбил его.

— Еще немного! Дав-вай!

Повалил густой дым, и черный хвост потянулся за самолетом. Огненные языки переплелись с черными прядями дыма...

От самолета отделилась точка, понеслась к земле, и вдруг закачался человек на стропах под раскрытым парашютом. Видно, как летчик натягивает стропы и старается скользить к фронту...

Но светлые нити вдруг потянулись от земли к парашюту... Даже зенитная пушка выпустила в него очередь снарядов!

Медведев не выдержал. Он сорвал с телефонного аппарата трубку и закричал что есть силы:

— «Сирень»? Дай «Гром». Я тебе дам занято!.. «Гром»? Ты ослеп, что ли?.. Приказа нет?.. Ах, ты... Что?.. Даешь?.. Давно бы так. Всю душу вымотал,— положив трубку, Медведев вытер ладонью вспотевшее лицо.

И грянул «Гром». Новые столбы пыли встали там, где стояла зенитка, и она, таякнув еще раз, замолчала.

Летчик немного не дотянул до свонх. Он опустился на середину площади. Медведев отчетливо видел, как подогнулись ноги летчика, как он пластом упал на мостовую на несколько метров впереди матросских трупов. Тугой, упругий купол парашюта обмяк, сморщился и осторожно лег на землю, прикрыв собой летчика.

На той стороне площади словно только этого и ждали. Темные провалы окон замигали вспышками очередей. На этот раз пули не свистят, а как-то жалобно взвизгивают: они направлены в летчика и рикошетируют от камней.

Несколько минут моряки лежали неподвижно. Первым поднялся Медведев, большой грузный, со свисающими вниз седыми усами. Он рванул ворот кителя и крикнул:

— Ах, так!

Крикнул не командир, а человек, потерявший терпение, но для матросов это было как долгожданный сигнал. На площадь выскочил один, другой, третий!..

Пули и осколки мин, как град, падают на камни, высекая искры. Искрится вся площадь, но рота бежит. Бежит вперед, пересекая огромную площадь, и ничто, никакая сила не способна остановить ее сейчас. И вот уже Медведев подбежал к летчику.

Увидев, что ранение тяжелое, он заговорил тем тоном, каким уговаривают иногда родители маленьких детей.

— А мы сейчас перевязку сделаем, доставим в госпиталь, а месяца через два и полетишь...

Летчик, не открывая глаз, отчетливо проговорил:

— Не тронь... Я знаю... Не боюсь...

На лице летчика уже лежали предсмертные тени. И вдруг он открыл глаза, слабо улыбнулся и тихо сказал, глядя на кирку:

— Хорошо... Флаг...

Все быстро обернулись назад. Флага не было. Кирка еще яростно огрызалась. Бой шел внутри.

«Бредит», — подумал Медведев.

Но летчик продолжал смотреть в сторону кирки. Глаза его сияли. Было ясно: он видел там красное знамя победы.

Губы его вздрагивали, он беззвучно шептал что-то. Потом пальцы разжались, выпустили подол гимнастерки. Спокойная, торжествующая радость разлилась по всему лицу...

Медведев первый снял фуражку.

А когда он возвращался к своей роте, над киркой развевалось огромное красное полотнище, ветерок ласково перебирал его алые складки, и казалось, оно закрывало все небо.





АЛЕКСАНДР ИСЕТСКИЙ

ЗА МОСКВУ

О черк

Эту девушку мы встретили в австрийском городке Брук, когда еще над ним стоял гул артиллерийской канонады.

Она задумчиво сидела на небольшом возке, несколько похожем на русскую рудничную таратайку. На возке лежали два узла и мешок с овсом. В запряжке была старая изъезженная кобыла, то и дело приседавшая то на одну, то на другую заднюю ногу. Было что-то унылое во всей этой бедной повозке.

Девушка была одета «по-заграничному», но открытая русая головка с косичками, с вплетенными голубыми ленточками и округлый облик лица выдавали в ней русскую.

— Да, русская, — оживленно отозвалась она на наш вопрос, и лицо ее осветилось приветливой улыбкой.

— Домой собрались?

— Ой, скорей бы добраться, — вздохнула девушка, и снова на ее лицо легла тень грустной задумчивости. — Вы знаете, в этом городе, вон на той окраине, я прожила три года, и видеть тошно эти горы, эти дома и этих людей.

— Вы плохо жили?

— Плохо? — переспросила девушка и горько засмеялась. — Хорошо! Вот видите, до чего хорошо, — и, подняв рукав блузки, показала два глубоких сизых шрама выше локтя. — И вот еще, — стянула она чулок с икры ноги.

Почти детская нога была обезображена тоже двумя глубокими шрамами, отливавшими синим мертвенным цветом.

— За что это вас?

— За Москву! Москву хотела послушать. Хозяин мой всегда ложился спать в десять вечера. Обойдет двор, проверит, закрыт ли скот, все ли мы в бараке (нас работало у него шесть парней и две девушки), и, погасив свет в доме, уходит в свою комнату.

Я раза четыре уже слушала радио. Стоял радиоприемник в столовой, а комната хозяина почти рядом, через коридор. Ой, и страшно было, а хотелось услышать хоть капельку правды и немножко наших русских песен или кусочек музыки. Петь нам хозяин не давал. Пели тихо, в подушку.

Ну, подождала я полчаса, вышла тихо из барака и через окно влезла в столовую. Босиком, чтобы ни звука. Включила и скорей кручу на Москву, приложив ухо к приемнику, чтобы было едва слышно. И вдруг из-за печи в глаза мне ударил ослепительный луч электрофонарика. Я кинулась к окну, но кто-то сбил меня с ног и тяжело навалился. Ну что я могла сделать? Я была поймана. Ой, как они меня били, как били! И молча. Потом зажгли свет. Я лежала ничком. Тупо ныло все тело, саднили губы, на языке я чувствовала сладковатую теплую кровь. По башмакам я узнала хозяина, второй был чужой. Его ботинок был около моего плеча. Он толкнул им меня в плечо, и я перевернулась на спину. Это был ихний жандарм.

Хозяин сказал ему, чтобы он забрал эту «свинью», то есть меня, сейчас же, и доложил шефу. Я кое-как добрела до полиции, там меня засунули в темную камеру, а утром отправили в карательный лагерь, в Сант-Якоб. Это в восьми километрах отсюда.

Лагерь этот нарочно сделан для русских. На продолговатом острове среди реки такой низкий длинный каменный барак, совсем без окон и так устроен, что быстрая и темная река бежит возле его стен, и в бараке

от этого день и ночь шум. Можно сойти с ума от этого шума. Он еще до сих пор стоит в ушах. Чтоб товарищ тебя услышал, надо говорить ему громко, в самое ухо.

Когда меня туда привели, я получила двадцать пять ударов резиновой палкой куда попало и еще один на добавку, потому что я застонала. Кто кричал или стонал, тех били еще сильнее и без счета. Били голых, сорвут все и бьют.

Я не потеряла сознания. Вы не смотрите, что я такая худенькая, я крепкая. Многие умирали в этом лагере, а я вот выжила. Я, правда, смутно помню, как меня унесли и кто унес, только помню, что несли куда-то вниз, потом стало темно, и кругом стоял несмолкаемый шум рек.

Кто-то в темноте перевязал мне руку и ногу, и я уснула. Сколько я спала — не знаю. Мы не знали ни дня, ни ночи. Для нас в этом подвале была все время ночь. Иногда нас выводили на «прогулку» — на пять минут, на грязный двор. В дверях при выходе каждый получал удар резиновой палкой. Эта палка казалась свинцовой, и, когда я выходила, каждый раз все тело так напрягалось, что даже больно. И не знаешь, по чему тебя ударят, и не видишь, кто бьет, потому что после мрака в глазах первое время стоит какой-то непроглядный туман, и только потом начинаешь различать людей, горы и дворовые постройки.

Тех, кто не выходил на «прогулку», избивали до смерти. Нужно было идти, не падать, не стонать, не кричать при ударах.

Спали на полу так тесно, что повернуться без команды было нельзя. И только на боку. А если ты встал, ряд лежащих смыкался, и тебе долго не найти места.

Мы как-то решили сосчитать, сколько нас в этой могиле. Одна девушка ощупью насчитала двести сорок восемь. Парни были в других казематах, и уж только теперь я знаю, что их было четыреста двенадцать.

Как кормили? Как свиней. Кусочек хлеба с песком, две кружки воды и в продолговатых бачках какая-то жидкость из очисток картошки или квашеной порченой капусты. Мы не видели, какого цвета была эта жидкость.

Слабые не выдерживали и умирали. Это обнаруживали, когда надо было повернуться на другой бок, а соседка не перевертывалась, или когда выгоняли на

прогулку и считали нас. Каждый раз не хватало трех-пяти подружек.

Я пробыла в этом лагере два с половиной месяца и не знаю своих соседок дальше четырех-пяти в обе стороны, то есть я знаю, как некоторых зовут, которые лежали подальше, но никогда их не узнаю в лицо. На дворе и спросил бы, которая, например, Люба, а говорить нельзя, оборачиваться тоже.

Мы думали, что так и умрем в этой могиле. И так было страшно умирать в темноте. Обнимемся и плачем. Рассказываем друг другу о своих городах, о родных и знакомых. Некоторые сходили с ума, и их куда-то увозили.

Если бы вы побывали в этом лагере, вы прочитали бы там на стенках про всю нашу жизнь. Писали в темноте, кто чем мог: гвоздем, огрызком карандаша... Писали имена, кто откуда, как над нами издеваются, насилуют, кто умер, проклинали фашистов, как их, наверное, никто не проклинал.

И вот как-то долго-долго нам не давали воды. Новенькие, которых привели в лагерь за последние дни, говорили, что будто недалеко Советская Армия. Мы не верили, что так скоро наши могут прийти в эти проклятые горы.

Но вот мы слышим — кто-то бьет в двери. Этого никогда раньше не было. Все повскакали и столпились у двери. Снаружи били в деревянную дверь, наша была железная, гладкая, с пупырышками заклепок, за которые нельзя было уцепиться.

Кто-то сказал, что это, наверное, пришли эсэсовцы, чтобы всех нас перебить. Немцы последнее время часто говорили, что, если Советская Армия подойдет близко, они нас всех убьют.

Мы в ужасе кинулись от дверей в глубину подвала. Все вдруг поверили, что пришло самое страшное — смерть. Плакали, кричали, молились, прощались друг с другом.

Деревянные двери рухнули, раздались удары в нашу железную дверь. Били чем-то тяжелым по засову, по петлям.

Прижавшись друг к другу, мы напряженно смотрели в темноту, туда, где гремели железные двери. Раздался невероятный скрежет. Одна половина дверей от-

валилась, и несколько теней осторожно вошли в подземелье. По силуэтам мы видели, что они были с оружием. Мы молчали, следя с жуткой тревогой за движениями вошедших, ожидая, что вот-вот хлестнет огненная очередь автоматов.

— Кто здесь?— крикнул один по-русски.

Никто не ответил. Были и среди немцев хорошо говорившие на русском языке.

— Черт возьми! Кто здесь? Мы русские!

— Русские!— единым вздохом откликнулись двести наших голосов.

Словно подброшенные подземным ударом, мы кинулись к солдатам и, честное слово, знаете, сбили их с ног, смяли.

Мы обезумели от радости. Каждой хотелось обнять, поцеловать освободителей, пожать им руки. Вот теперь смешно, а тогда в этой дикой свалке двух товарищей красноармейцев потеряли в навалившейся куче. Хватали, тянули лежавших, а это оказывались свои девчата.

— Да это сумасшедший дом, ребята!— выкрикнул один солдат и бросился в двери.

Это спасло положение. За ним бросились девчата, и через миг все были на дворе. Бедные наши освободители были растерзаны. У некоторых не оказалось пилюток, погон и даже поясов. Ну, конечно, все потом нашлось. Мы помогли товарищам быстро привести в порядок их одежду, а сами не могли на них насмотреться.

— А комендант?— вдруг прокричала одна из девушек.— Коменданта надо поймать!

Все было кинулось в разные стороны, но один из солдат сказал:

— Птичка уже поймана, девушки. Это село мы окружили, и убежали немногие.

— Дайте, дайте нам его!— потребовали мы.

Коменданта привели на наш двор, где он еще вчера нас избивал и плевал нам в лицо. Был он теперь жалок, ссутулился, рыжие щеки впали, глаза слезились и часто мигали. Он не посмел посмотреть нам в глаза.

— Какой будет приговор, девушки?— выкрикнул кто-то в толпе.

Не надо было произносить этого слова. Оно было в нашем беспощадном взгляде, в гневных глазах всех девчат, выплакавших свое горе в этом дьявольском лагере.



Парни просидели в заключении на полчаса дольше нас, девчат. Мы на радостях о них забыли. Они сидели в четырех тоже темных камерах, по сто человек в каждой. Как и мы, все они были измучены и истощены и, понятно, бесконечно рады своему освобождению.

Вы знаете, мне все казалось, что стук наших деревянных башмаков слышно даже в Москве. Я везу эти башмаки и платье с желтым клеймом «ОСТ» домой, в Днепропетровск, на горькую память о неметчине...

Горестные воспоминания вновь омрачили посветлевшее было личико Нади Ивановой. В 1942 году, когда немцы схватили ее на днепропетровской улице, ей было четырнадцать лет. Годы тяжелой каторги не дали ей вырасти и расцвести. Перед нами сидела на унылом возке хрупкая девочка, с жиденькими косичками с вплетенными в них голубыми ленточками, бог знает как выжившая три года в страшной рабской неволе.

К возку Нади подошла ее подружка Фатьма, крымская татарка. Она ходила искать сборный пункт для советских людей, освобожденных из неволи, но не нашла. Мы указали им место сбора и дружески попрощались с девушками.

— Спасибо вам, товарищи! До свидания! — повеселев, сказала Надя и, подобрав вожжи, задорно крикнула на понурую лошадь:

— А ну, фрау Марта, шагай пошире!





П. МАКШАНИХИН

ХОЗЯЕВА

Рассказ

I

Сержант Орешин, к лейтенанту Суркову!— крикнул с улицы часовой.

Согнувшись, Федор Орешин вылез из землянки и рысью побежал снежной тропкой к лесной сторожке, где жили офицеры. Чудом уцелевший от обстрелов и бомбежек маленький домик с крутой нерусской крышей и двумя высокими узкими окнами выглядел среди наспех построенных землянок настоящим дворцом.

Командир взвода лейтенант Сурков сидел за столом и, держа в руке коптилку, читал книгу. На полу, укрывшись шинелями, спали два офицера, налево от дверей дремал в углу около телефона связист.

Орешин свободно, во весь рост, вытянулся и лихо козырнул:

— По вашему приказанию сержант Орешин явился.

Лейтенант захлопнул книгу, чуть не потушив коптилку, и поднял на сержанта усталые с красными веками глаза. Он как-то особенно внимательно, с головы до ног, оглядел плечистую высокую фигуру сержанта.

— Землянку строить закончили?

— Закончили, товарищ лейтенант.

— Люди ужинали?

— Ужинали, товарищ лейтенант.

— Чем заняты сейчас?

— Отдыхают, товарищ лейтенант.

— Хорошо, пусть отдыхают.

Отставив коптилку в сторону, он взглянул сержанту в глаза.

— Что произошло у вас в отделении с Кузовлевым?

— Не слышал и не знаю, товарищ лейтенант.

— Почему же вы не знаете? Мне вот рассказывали, что сегодня днем Кузовлев один сидел в лесу, за расположением, и плакал. Может быть, его кто-нибудь обижает?

Сержант спокойно выдержал испытующий и требовательный взгляд командира.

— Не должно этого быть, товарищ лейтенант.

— Или, может, у него случилось несчастье?

— Не знаю, товарищ лейтенант, ко мне Кузовлев не обращался и ни на что не жаловался.

— Плохо, сержант, когда солдат не видит в своем командире товарища и не хочет с ним делиться ни горем, ни радостью. Вы сами-то по крайней мере могли спросить у Кузовлева?

Обветренное темное лицо Орешкина потемнело еще больше, в серых навывкате глазах его застыла внятная растерянность.

— Мы находимся на чужой земле, не сегодня-завтра пойдем в бой, а вы не знаете морального состояния своих бойцов и не интересуетесь этим. Как же вы будете воевать?— строго допрашивал командир.

Он опустил голову и невыносимо долго молчал. Орешкин стоял, не шевелясь, не переводя дыхания. Лейтенант поднял, наконец, глаза и уже не приказал, а мягко попросил:

— Сегодня же выясните, что случилось с Кузовлевым, и завтра доложите мне.

— Есть, товарищ лейтенант, выяснить и доложить,— облегченно выдохнул Орешкин.— Разрешите идти?

— Идите.

На улице уже совсем стемнело. Тропку занесло снегом, и сержант шел к себе, не разбирая дорог. Щеки

его так горели, что даже ветер, морозный и пронзительный, не остужал их. Именно сейчас ему припомнилось, как в прошлом году лейтенант Сурков точно в такой же вьюжный вечер вызвал его к себе в землянку. Это было под Любанью, незадолго до наступления. Тяжелая тоска сжимала тогда Орешину сердце: родной город захватили оккупанты, и связь с семьей оборвалась. «Успел ли эвакуироваться завод, где работала жена? Уехала ли семья, и куда? А если осталась в городе, то живы ли все они — жена с дочуркой, старая больная мать?» Мысли эти неотступно жгли его днем и ночью. Попав из госпиталя в этот полк, Орешин не успел еще сообщить жене нового адреса. Может быть, она по старому адресу и писала ему, но письма до Орешина не доходили.

Помнится, когда он вошел в землянку, лейтенант сидел на корточках около печки и искал что-то в планшетке, перебирая бумаги.

— Сержант Орешин, — волнуясь, объявил он. — Вам письма от жены, целых пять...

Орешин, забыв обо всем, почти выхватил у него из рук треугольные конверты и долго не мог вымолвить ни слова, пряча их за пазуху. Не своим, охрипшим сразу голосом сказал тихо:

— Большое спасибо вам, товарищ лейтенант...

— За что же мне-то? Почту благодарите.

Но Орешин в ту минуту уже не только догадывался, но и убежден был твердо, что лейтенант не зря выспрашивал у него задолго перед этим адрес прежней его части и фамилию командира. Очевидно, он не раз писал туда, пока там разыскали и выслали письма на имя Орешина.

— Почему же вы не идете читать их? — закричал вдруг лейтенант на Орешина, чтобы скрыть свою радость за чужое счастье.

И сердито скомандовал:

— Кру-у-у-гом! В землянку шагом марш!

Тяжелый стыд ударил сейчас сержанта в сердце при этом воспоминании. «Почему же я-то проглядел, что произошло с Кузовлевым? — горько укорил он себя. — Неужели и в самом деле Кузовлев не захотел со мной поделиться, не видя во мне товарища?»

Про Кузовлева Орешин знал только, что он колхоз-

ник и с первых дней войны ушел на фронт, а сюда, в роту, явился месяца четыре назад из госпиталя.

Небольшого роста, широкий в плечах, с глубоко сидящими под крутым лбом умными зеленоватыми глазами, он был несловоохотлив, даже замкнут. Делал все с внушительной важностью и, казалось, не спеша, а получалось у него и скорее и лучше, чем у других. В трудных случаях сержант безотчетно искал его глазами: один вид бывалого солдата, подтянутого и невозмутимо спокойного, прибавлял молодому командиру уверенности.

«Удастся ли мне сегодня поговорить с ним?— озабоченно думал Орешин.— Все устали и, наверное, спят».

В землянке было тепло, дымно и темно. Крохотный огонек самодельной коптилки освещал только солдатские котелки, стоящие рядом у стены, да ноги лежащих на земле людей. Сняв шинель, сержант молча лег на свое место около выхода.

Солдаты еще не спали.

В углах землянки вспыхивали огоньки сигарок, выхватывая из темноты то стриженные усы, то розовый нос и пухлые губы, то задумчивые широко открытые глаза.

Сырые дрова в железной печурке гулко стреляли и шипели; в трубе, сделанной из пустых консервных банок, отчаянно голосил, переходя в яростный визг, ветер. Голоса солдат звучали в землянке глухо и устало. Только ефрейтор Осьминкин неумоимо продолжал рассказывать начатую еще до ухода сержанта нескончаемую житейскую повесть, пока слушатели не оборвали ее дружным храпом.

Нимало не смутясь этим, Осьминкин пообещал, зевая:

— Дальше, братцы, пойдет еще интереснее. Завтра уж доскажу...

И тут же сам засвистел носом.

II

— Не спите, товарищ сержант?

— Нет, не сплю, Кузовлев,— обрадованию отозвался Орешин.

Невидимый в темноте солдат откашлялся, собираясь, видно, что-то сказать, но чиркнул спичкой и стал прикуривать. Орешин увидел, что он сидит, опустив голову и опершись локтями на согнутые колени.

Сержант, не вытерпев, спросил:

— Дома, что ли, неладно? Замечаю, тоскуете который день.

Кузовлев взворохнулся на месте, и Орешину почудилось, что он горько усмехнулся, говоря:

— Сейчас, товарищ сержант, у всех дома неладно...

И лег на спину, тяжело вздохнув. Наступила долгая пауза.

Орешин растерянно молчал, досадуя на себя. Не умел он беседовать с людьми так просто и душевно, как лейтенант Сурков. Тому солдаты с первых слов открывали душу. А тут вот и хочешь помочь человеку, а не знаешь как.

— Елизар Никитич! — шепотом окликнул он Кузовлева, приподнимаясь на локте и вглядываясь в темноту. — Ты спишь?

— Нет, товарищ сержант, — шевельнулся в углу Кузовлев.

— Давай, брат, поговорим о чем-нибудь. Тоскливо что-то.

— И меня, Федор Александрович, думы одолели, — неожиданно и доверчиво признался Кузовлев. — Погоди, я сейчас поближе к тебе переберусь...

Он осторожно пролез между спящими к печке, подложил в нее дров и улегся рядом с сержантом.

— Я все думаю, Елизар Никитич, как до войны жил, — мечтательно улыбаясь, заговорил Орешин. — У нас город красивый, весь в садах. На реке стоит. Парк большой на берегу, в парке клуб, кино, театр летний, спортивные площадки разные. А с берега широкие луга видны, деревушки, рощи. Бывало, сядем в лодки да на ту сторону, в луга. На массовку. Народу много, и кто во что горазд. Старики те больше около пивной бочки толкуются, а мы танцуем, поем, игры да состязания разные устраиваем. Любил я одеться красиво, чтобы в настоящем виде на люди выйти — в театр, скажем, на вечеринку или там на гулянье. Да и возможность была: зарабатывал хорошо. Завод у нас

был большой, машины разные для сельского хозяйства выпускал. Я на сборке там работал. Горячее было время: то машину новую осваиваем, то с планом нас торопят — побольше машин колхозам дать к севу или к уборочной. Да мы и сами понимали — нужно! Иной раз по суткам из цеха не вылезает, лишь бы до срока все сделать. И устали не знали. Ну, и почет, конечно, за свой труд имел. И на собраниях о тебе говорят, и в газетах пишут, и премии дают. Очень это подымает душу. Чувствуешь себя первым на своей земле человеком, хозяином: все твое, и за все ты отвечаешь. На работу, бывало, идешь, как на праздник. А сейчас, как вспомню, что фашисты город наш и завод разбили, сердце кровью обливается.

— Хорошо жили, что и говорить! — согласился Кузовлев. — Конечно, в колхозе у нас не было еще того, что в городе: театров или клубов, скажем. Но тоже дело к тому шло, потому что у людей достаток появился. Веришь или нет, Федор Александрович, ни воров, ни нищих в деревне нашей не стало. Люди даже двери перестали запирать. Зайдешь в хату к кому-нибудь — все открыто, а хозяев нет. В праздники, бывало, нищих сколько по домам ходит! А тут — ни одного. Всем нашлись в колхозе и работа и угол.

Кузовлев качнул задумчиво головой.

— Не доведется, видно, Федор Александрович, поглядеть нам с тобой, как люди после войны жить будут. А хотелось бы!

— Жить как будут? Опять города, села, заводы, фабрики начнут строить, коммунизм, одним словом...

— Конечно. Не мы, так дети будут строить. У тебя, Федор Александрович, дети-то есть?

— Дочушка одна. Четвертый год. Я ее и в глаза не видел. Без меня родилась.

Кузовлев тяжело вздохнул.

— У меня двое сыновей было, да убили старшего недавно, — просто и спокойно сказал он, и Орешин понял, что солдат уже пережил и перестрадал свою горе.

Ветром отбросило палатку, закрывавшую вход в землянку. С передовой донесло яростный треск пулеметов.

— Нервничают сегодня фашисты, — озабоченно при-

слушиваясь, сказал Орешин.— Что-то затевают, видно... Чувешь?

Кузовлев не ответил. Суровая печаль застыла у него на осунувшемся лице и в неподвижно устремленных на огонь глазах.

— Зачем же, Елизар Никитич, горе от людей таил?— участливо спросил Орешин.— Одиому-то тяжело его носить.

— Моему горю никто не пособит. Хоть криком кричи.

Огонь в печке потух. Кузовлев подул на угли, и дрова занялись вдруг ярким пламенем, освещая его большелобую голову.

— У меня, товарищ сержант, сердце сейчас окаменело, мне теперь ничего не жалко— ни семьи, ни себя.

Передохнув, он со злобной решительностью добавил:

— Я Гитлера не трогал и к нему не лез. А если он захотел наш порядок, нашу власть свернуть да на шею мне сесть, тут уж держись. Раз он меня потревожил, я большой беды наделаю.

Кузовлев умолк и лег, тяжело дыша. И такая грозная тишина наступила в землянке после его слов, что Орешин не решился ни отвечать ему, ни спрашивать его больше.

III

Сержант был уверен, что успел только задремать, когда отчетливо услышал вдруг мерный мягкий стук, а затем тяжелые удары...

Постоянное ощущение опасности и ответственности приучило сержанта даже во сне чутко прислушиваться. Он понял: по мерзлой земле бежал к землянке часовой. Когда топот его разом смолк, а в землянку дунуло холодом, сержант уже вскочил на ноги.

— В ружье-е!

И первым выскочил на улицу. Гремя в темноте автоматами и касками, солдаты один за другим выбегали из землянок. Рота уже строилась на узкой просеке в две шерейги.

— Второй взвод, ко мне!— услышал Орешин тон-

кий голос лейтенанта Суркова и кинулся туда вместе с солдатами.

Рота немой застыла плотной серой стеной. Чуть повернув голову вправо, Орешин оглядел свое отделение. Лица солдат словно таяли, расплываясь в темноте. Сержанту хорошо видно было только лицо стоящего рядом Кузовлева, деловитое и спокойное, как будто он собрался на работу — копать землянку или рубить дрова.

Очевидно, начиналось уже утро, потому что в одном месте небо чуть-чуть посерело. Сверху не переставая сеялась снежная пыль, она залепляла глаза, набивалась за ворот и в карманы, оседала белыми околышами на шапки.

— Смирно! — раздалась отрывистая негромкая команда.

В желтом полушубке и серой шапке командир роты неторопливо прошел перед строем, оглядывая солдат.

— Сейчас мы пойдем в бой, — просто и спокойно сказал он, останавливаясь. Сержанту видны были только черные усы на его лице да белый воротник полушубка. Как всегда, перед боем Орешин почувствовал на какое-то мгновение щемящую тоску в сердце и холодок на спине. Но это ощущение тут же прошло, и он уже думал теперь только о том, чтобы не пропустить ни одного слова приказа.

— ...по данным разведки, у противника будет происходить на передовой смена батальона. Нам приказано воспользоваться этим и занять первую траншею. Требую во имя Родины от каждого из вас смелости и самоотверженности.

В настороженной тишине особенно четко и громко прозвучала команда:

— Нале-е-во! Шагом марш!

А через час рота, миновав сторожевое охранение, рассыпалась цепью и в белых маскировочных халатах пошла без шума вперед.

Очевидно, гитлеровцы заметили какое-то движение в мелком кустарнике перед траншеями. Большая красная ракета взвилась вдруг под облака и, вспыхнув там, начала медленно-медленно оседать кроваво-красным абажуром в зыбкую и розовую, как клюквенный кисель, снежную муть.

Солдаты припали к земле.

— Вперед! — тихо и скомаидовал кто-то.

Когда до траншеи оставалось не больше семидесяти метров, противник открыл пулеметный огонь.

Низко пригибаясь, падая, отползая в сторону и снова отрываясь от спасительной земли, Орешин первым добежал до траншеи и мешком свалился туда. Следом за ним сверху упали еще двое. В утренних сумерках Орешин едва узнал своего командира взвода лейтенанта Суркова и Кузовлева.

Траншея была пуста: видимо, сменяющий батальон замешкался. Над головой беспрерывно повизгивали пули, иногда они попадали в бруствер, поднимая желтые облачка пыли. Слышно было, как с шорохом скатываются на дно траншеи комки мерзлой земли.

Лейтенант молча потирал ушибленную при падении ногу.

— Товарищ лейтенант! — тихо окликнул его Орешин. — Наши, видать, залегли. Он им подняться не дает. Что будем делать?

Все еще потирая ногу и морщась, лейтенант приказал:

— Посмотрите, что там за ящики?! — и неторопливо стал проверять пистолет.

Кузовлев открыл крышку одного из ящиков.

— Гранаты! — радостным шепотом сообщил он.

Сунув пистолет в кобуру, лейтенант подошел к нему.

— Ваш сектор обороны, Кузовлев, — левая сторона траншеи, мой — центр, а ваш, товарищ сержант, — правая сторона. С этой гранатой умеете обращаться?

— Умею.

Стрельба то утихала, то продолжалась с новой яростью. Где-то впереди, совсем близко, начали рваться снаряды: наши били по ходам сообщения между траншеями.

Все трое с трудом подтащили ящики с гранатами, каждый на свою огневую позицию и, осторожно высунувшись из траншеи, молча и, напряжению стали вглядываться в серые утренние сумерки.

И вдруг в промежутке между разрывами снарядов явственно донеслась до них чужая речь. Впереди показались зеленовато-серые фигуры, перебегающие от куста к кусту.

Глянув на Орешина остро блеснувшими глазами, лейтенант глухо сказал:

— Идут.

Кузовлев все еще хозяйственно осваивал свою огневую позицию, утапывал вокруг себя землю, расставлял гранаты вдоль задней стенки траншеи, сделал наверху приступочек для автомата. Так же неторопливо он положил автомат на приступочек и дал первую короткую очередь; слышно было, как после этого совсем близко закричал кто-то животным, отчаянным криком.

Орешин, заметив напротив себя прячущиеся за кустами зеленые фигуры, тоже дал очередь.

— Стрелять одиночными!— сердито остановил его лейтенант.

Сколько это продолжалось? Может быть, час, может быть, два... Но автомат дал вдруг осечку. Орешин бросил его, не поняв сразу, что патроны кончились.

— Гранаты к бою!— скомандовал лейтенант.

Пока гитлеровцы подходили на дистанцию броска гранаты, прошло минут пять. В эти-то пять страшных минут и поседели, наверно, у Орешина виски, потому что потом уже его охватило ледяное спокойствие, какое бывает только в виду неотвратимой, смертельной опасности.

Тонко и протяжно лейтенант закричал, как показалось Орешину, где-то очень далеко:

— Ого-о-ны!

Деловито и быстро Орешин хватал гранаты одну за другой и бросал их вперед. Но стоило только умолкнуть разрывам, как вражеские солдаты снова поднимались и бежали к траншее.

И снова Орешин быстро и спокойно, как на ученье, бросал гранаты. Он даже заметил, что первая граната не успевала упасть на землю, как он бросал уже другую, и слышал разрыв первой, когда наклонялся за третьей. Попадал ли в цель, не было времени смотреть, но вой и стоны после разрывов слышал.

Не видел он и лейтенанта с Кузовлевым и только по грохоту справа и слева заключал, что те живы.

Отчаявшись, очевидно, взять траншею в лоб, фашисты решили действовать минометами: слева впереди послышался звон устанавливаемой минометной плиты...

Орешин протянул, не глядя, руку к ящику и нащу-

пал его дно. Взглянул и обмер: оставалось всего три гранаты. Это было так неожиданно, что он даже оглянулся кругом, думая, не взял ли их Кузовлев. Но тот спокойно стоял на своем месте. Гранаты у него тоже кончались. Пять штук их стояли у стенки траншеи. Перевернутый кверху дном, валялся рядом пустой ящик.

Отставляя в сторону одну гранату, Орешин подумал: «Эту для себя. Живым не дамся!..»

Лейтенант повернул к нему серое от пыли лицо. Светлая улыбка с трудом раздвинула его губы.

— Славно, сержант, повоевали!

То были его последние слова. Над головой зашуршала вдруг мина. Оба присели. Ахнул взрыв, и с жутким свистом во все стороны полетели осколки. Когда Орешин поднял голову и взглянул на лейтенанта, тот лежал на дне траншеи, и под ним расплывалось на буром песке большое вишневое пятно.

— Товарищ лейтенант! — кинулся к нему Орешин, и, схватив под мышки, посадил спиной к стенке траншеи, потом поправил ему для чего-то шапку.

Лейтенант смотрел перед собой утасажившими глазами, губы его шевелились, скрюченные пальцы скребли песок. Он маялся в смертной тоске. Подбежал с пакетом Кузовлев и молча стал снимать с лейтенанта мокрую от крови шинель. Но тот вдруг повалился на бок и, вытянувшись, замер. С лица его исчезло выражение тоски и боли, рот остался полуоткрытым, как у очень усталого и крепко заснувшего вдруг человека.

С минуту они растерянно сидели около командира на корточках, глядя в его побелевшее и сразу заострившееся лицо. Кузовлев снял шапку и вытер ею глаза.

Справа снова зашуршала мина и разорвалась где-то совсем близко. Комок сырой земли тяжело скатился сверху прямо на плечо мертвого лейтенанта. Орешин стряхнул приставшую к погону землю, пожал вялую руку лейтенанта и быстро поднялся.

Тут же он увидел, что Кузовлев, держась руками за стенку траншеи, медленно оседает вниз, ловя открытым ртом воздух и глядя вверх широко раскрытыми глазами.

Орешин охиул от страха и острой жалости, полоснувшей сердце. Дальше он уже смутно помнил, как со-

бирал гранаты, как вскочил из траншеи и, страшио ругаясь, начал швырять их в каждый кустик.

— Сволочь фашистская!— кричал он, со злобной радостью глядя, как летят от взрывов кверху вместе с черными кочками и прутьями зеленые шишелейные клочья...

Бросив последнюю гранату, Орешин хотел прыгнуть в траншею, но его ударило вдруг по ноге, словно поленом. Он упал на бок и скатился на дно. Лежа лицом вниз, услышал вдруг откуда-то сверху удивленно радостный крик:

— Товарищи, вы тут? Живы, стало быть?

Подняв голову, Орешин увидел над бруствером серую шапку и черные усы. В траншею съехал на спине маленький остролицый солдатик в новых желтых ботинках и с автоматом.

Не помня себя от радости, Орешин закричал что-то, порываясь подняться. А сверху уже прыгали вниз бойцы и разбегались вправо и влево, волоча за собой пулеметы.

— Товарищи, дорогие!— всхлипывая, приговаривал Орешин.

Кто-то закричал:

— Санитары, сюда! Раненые тут.

Два санитаря с носилками остановились около Орешина.

— Посмотрите сначала вон того солдата,— указал он им на Кузовлева, неподвижно лежащего на земле.

Когда Кузовлева уложили в носилки и подымали, чтобы нести, он с трудом повернул посеревшее лицо к сержанту. Губы его пошевелились, но сказать он ничего не мог и закрыл глаза.

IV

С полгода пролежал солдат Кузовлев в госпитале, думал, умрет. Но доктора сделали ему три операции и выходили его. К весне Кузовлев почувствовал себя совсем хорошо, а когда доктора сказали, что служить ему в армии больше не придется, затосковал вдруг и стал проситься домой. Его комиссовали раньше срока и отпустили по чистой.

Командира своего Федора Орешина Кузовлев пос-

ле боя и ранения так и не встречал ни разу и ничего не слышал о нем: увезли, видно, Орешина в другой госпиталь, а может быть, помер в дороге. Вспомнил его Кузовлев частенько, а как засобирался домой, не только про Орешина, а про всех на время забыл.

Двое суток ехал он в санитарном поезде, а на третьи сутки рано утром вылез из вагона на своей станции и тихонько побрел домой, благо до деревни было не больше четырех километров, да и имущество солдатское плеч не оттягивало: постукивали в мешке котелок с ложкой да лежала пара белья.

Над полями поднималось солнце, разгоняя туман. Небо было белое и теплое, как парное молоко.

Четыре года не видел Кузовлев такого мирного неба и не слушал такой ласковой тишины! Четыре года засыпал и пробуждался он под треск и грохот стрельбы да под гуденье самолетов; четыре года глаза его видели только обгорелые, развороченные дома, да черные скелеты садов, да обезображенную траншеями и снарядными воронками землю!

И теперь шел он, восторженно всему удивляясь: не пули цвинькаютверху, а с ликующей песней взлетают над полем жаворонки; не снарядами взрыта, а вспаханная плугом лежит на десятки километров теплая черная земля в немом ожидании плодоносного зерна; не таик, а трактор спускается навстречу с холма, и не вражеская пехота идет за ним редкой цепью, а это шагают по большаку телеграфные и телефонные столбы, разлиновывая небо тонкими проводами.

Вправо уже зачернел знакомый ельник, а слева затолпились на лугу зеленокосые, белоногие березки, из-за которых проглянули вдруг сизые крыши колхозных домов.

Все, все до боли памятию, дорого, мило! Сколько раз долгими ночами силясь ты, родимая сторонка! Увезут хоть за пять морей, хоть на край земли, а и туда унесешь ее в сердце своем. За тысячи верст видишь твои горбатые поля, каждый твой домик, каждую скворешню.

Открыл солдат Кузовлев скрипучие ворота околицы и остановился. И сюда, видать, дошла война: палисадники около домов покосились или упали, крыши ощерились старой дранкой, на мосту обвалились пери-

ла, вои у ближнего крылечка вылетела ступенька да так и валяется в канаве.

Мужчин нет, починить некому, а у баб руки не те, да и некогда заниматься этим. Вои и на улице только одни ребятишки да курицы. Нет, постой, кто-то у Зориных тюкает топором около дома! Не старик ли? Он и есть.

Не мог пройти Кузовлев мимо, хоть ноги так и несли его домой.

— Здорово, Тимофей Ильич!

Старик поднял голову, долго стоял, не говоря ни слова, потом бросил топор и пошел навстречу.

— Ты ли, Елизар?

— Я, дедко.

Ткнулся Тимофей сивой бородой Кузовлеву в щеку, прослезился.

— Руки-то иету, что ли?

— Есть, да перебита. В лангете, вишь, лежит.

— Хорошо, хоть сам-то живой остался.

Отвернулся в сторону и головой поник.

— Олешка вот у меня не вернется уж!

— Писали мне, дедко. Шибко я жалел его.

— И от Мишки письма давно нет.— Тимофей вытер глаза рукавом.— Поди, не жив тоже.

Вздохнули и замолчали оба.

— Мои-то как тут живут?— уважая чужое горе, спросил Кузовлев, погодя.

Тимофей почесал грудь, не сразу ответил:

— Старики, хоть и плохи шибко, да живы пока. Палашка твоя на скотном работает дояркой, а сыи — в бригаде у Савела Боева.

— Дома сейчас Палашка-то?

— Нету, должно, на ферме.

Вот и отчий дом. Еще больше почернел и покосился он за эти годы. До самой крыши вытянулись молодые тополя, посаженные перед войной. Зашлось у солдата сердце, когда ступил он на родной порог.

Никто не ждал его дома. Высокий старик с лысой трясущейся головой встретил сына чужими глазами. Вытирая руки о фартук, вышла с кухни посмотреть на незнакомого человека мать, седая и полусогнутая. Кузовлев молча смотрел на ее жилистую шею и словно измятое глубокими морщинами лицо.

Нет, ошибся солдат Кузовлев, думая, что окамене-
ло в нем за эти годы сердце: все поплыло у него вдруг
перед глазами и мешок выпал из рук.

— Здравствуй... мама!

Простучали на крыльце ступеньки, взвизгнула сзади
дверь. Не успел и оглянуться Кузовлев, как повис кто-
то на нем с плачем, уткнувшись лицом в шишечку.
Только по крутым круглым плечам да по дорогой ро-
динке на шее и узнал жену: когда-то длинные черные
волосы ее стали чужими, серыми от седины...

V

Раба у Федора Орешина оказалась легкой. Недели
через три он явился из медсанбата снова в свою часть,
прошел с ней до Кенигсберга и опять был ранен, на
этот раз тяжело. С загипсованной ногой его увезли
лечиться в глубокий тыл. И случилось так, что попал
он в госпиталь, расположенный около станции, до ко-
торой ехал домой Кузовлев.

Но Орешин не знал адреса Кузовлева, а помнил
только область, откуда тот был родом. Поэтому ему
и в голову не пришло разыскивать здесь своего боево-
го товарища.

Война огненным валом давила уже катилась по вра-
жеской земле и, видать, заканчивалась. Но Федор
Орешин все еще жил думами и чувствами фронта, пока
не повернуло их в другую сторону одно небольшое со-
бытие.

В палату пришли раз в воскресенье шефы — две
девушки из ближнего колхоза «Рассвет». Надев хала-
ты, они несмело ходили от одной койки к другой, ти-
хоночко разговаривая с тяжело ранеными. Каждому из
них девушки доставали из плетеной корзинки бумаж-
ные свертки со свежими продуктами, оставляя их на
тумбочках. Среди раненых много было колхозников,
и они жадно начали спрашивать девушек, как идет в
колхозе себ, хороши ли нынче озимые, много ли верну-
лось с фронта людей...

Орешин внимательно прислушивался к разговору,
хотя и мало понимал в колхозных делах. Его особенно
поразило, что в колхозе сеют вручную. Оказывается,
некому починить сеялки. В МТС не хватает тракторов,

некоторые из них поломались, а запасных частей нет, и поэтому в колхозе пашут на лошадях.

— Кто же у вас пашет?— спросил Орешин у высокой девушки с карими глазами.

— Мы и пашем...— смущаясь и робея, сказала она.

— А сеет кто?

— Да опять же мы...— засмеялась девушка,— старикам одним не управиться, так мы у них выучились и сеем.

Она все запахивала большими обветренными руками халат, очевидно, стараясь скрыть под ним полинявшее, заношенное платье. Туфли у нее были старые, уже стоптанные, а худые чулки заштопаны и зашиты в нескольких местах.

Подумав, что девушка, собираясь сюда, надела, наверное, все лучшее, Орешин тяжело вздохнул и молча сел на койку. Что-то сдавило ему горло, мешая дышать.

А она стояла рядом и весело рассказывала, как училась пахать и сеять, потом с гордостью заявила, что их комсомольское звено получило самый высокий урожай по району.

— Как вас зовут?— спросил Орешин, невольно улыбнувшись.

— Марусей.

К ней подошла толстенькая кудрявая подружка, они попрощались вскоре со всеми и ушли.

В палате долго молчали, потом кто-то вздохнул восхищенно:

— Геройские девушки!

А худенький рябой солдат, перекатывая на подушке круглую бритую голову, чтобы видеть лица соседей, совестливо заговорил:

— Трудно им. Мы, мужики, лежим вот тут, нас кормят, одевают, ухаживают за нами, как за малыми ребятами. А они, девчата эти, да бабы одни почти в поле бьются...

Задумался, глядя в окно, и улыбнулся вдруг светло.

— Без Маруси мы, братцы, пропали бы! Она нам и оружие делает, и шинели шьет, и хлебом кормит... Меня, раненого, санитарка из боя вынесла. И всего-то ей лет двадцать, курносенькая такая, волосы, как лен. Спрашиваю: «Как тебя, милая, зовут, чтобы знать, кому жизнью обязан?»—«Марусей. А ты, говорит,

молчи и лежи тут, а я за другим пойду». Ну, отвезли меня в медсанбат. Там попал я в руки хирургу. Лица не разглядел под маской, только вижу — женщина. Глаза большущие такие, строгие... Быстро она со мной управилась да так ловко, что я диву дался. А медсестра мне и говорит: «Нечему удивляться. Наша Марья Петровна, говорит, восемьсот операций уже сделала. Вот она у нас какая!» Ну, приехал я сюда, в госпиталь, и опять в Марусины руки попал. Няня Маруся вымыла меня, в кровать уложила. Другая — Марья Тихоновна — осколок мне из ноги достала...

— Нет, братцы, без Маруси мы — никуда! Ей бы, этой самой Марусе нашей, памятник поставить! Про нее бы песню сложить да спеть так, чтобы за сердце брала! Жалею горько, бесталанный я: не умею ни складывать песен, ни петь!..

Но песня про Марусю нашлась, хоть и не такая, о какой мечтал рябой солдатик, но душевная. Ее тихонько запели в углу двое пожилых солдат. В палате все призадумалось, притуманилось сразу, вспоминая кто жену, кто невесту. И вот уже вся палата запела, каждый встречал в песне свою любимую:

Здравствуй, милая Маруся,
Здравствуй, светик дорогой,
Мы приехали, Маруся,
С Красной Армии домой.
А ты думала, Маруся,
Что погиб я на войне,
Что зарыты мои кости
В чужеземной стороне...

Долго не спал Орешкин в эту ночь. А утром пошел к начальнику отделения.

— Прошу, товарищ майор, в колхоз часика на три отпустить, тут — совсем рядом. По ремонту хочу помочь, слесарь я.

Майор, грузный старик с белой щетинистой бородой, суровый на словах, но добрейшей души, молча осмотрел у Орешкина ногу:

— Хоть пляши,— бодро сказал Орешкин, крутя ногой.

— Что мне только с вами делать? Одиннадцатого сегодня отпускаю: кого в колхоз, кого на завод, кому, видите ли, доклад в цехе нужно читать, кому ремонтом

заниматься... Еле ходят, а туда же! Ох, подведете вы меня под трибунал!

И закричал сердито:

— Идите, да чтобы к ужину быть здесь!

Дорогу в колхоз указала Орешину женщина, ехавшая мимо госпиталя в телеге.

— Это в Курьевку, что ли? Прямо проселком так и ступайте, потом направо.

Орешин пошел проселком.

Пьяный от свежего воздуха и ослабевший от ходьбы, он добрался до колхоза часа через два. Отдохнув минут десять у околицы на траве, пошел переулком, приглядываясь, у кого бы спросить, как найти председателя. И вдруг остановился, словно его толкнули в грудь. На задворках, где чернели огороды, происходило что-то невероятное. Грузный черный старик в полосатой рубаше, босиком, тащил по земле за ручки плуг. Ему помогали две женщины, взявшись за постромки,— одна молодая, с высоко подоткнутым подолом, другая постарше, с темными руками и лицом, словно пропеченная на солнце.

Подняв плуг за ручки и воткнув его в землю, старик хрипло скомандовал:

— Ну, бабы, берись дружнее!

Женщины перекинули постромки через плечо и потянули за собой плуг, увязая в земле.

Когда Орешин подошел к изгороди, они тянули плуг уже обратно. Колесо плуга невыносимо взвизгивало и скрежетало, старик покрикивал на женщин, мелко семена босыми ногами за плугом по рыхлой бороде...

— Провались оно пропадом!— злобно приговаривала пожилая женщина, напрягаясь так, что жилы на шее у нее вздулись и лицо побагровело.

— Стой!— неистово закричал Орешин.

Все трое остановились и с молчаливым удивлением, даже с испугом, уставились на него.

— Вы... что это делаете?

Старик опустил ручки плуга и неторопливо подошел к Орешину, приглядываясь к нему круглыми ястребиными глазами.

— Участочек свой подымаем, товарищ военный. Лопатой проковыряешься тут неделю... А время-то не

ждет! Рассадку высаживать пора, да и картошки тоже хочется ткнуть маленько...

Бледнея от возмущения и внутренней боли, Орешин гневно спросил:

— Но почему же... на себе? Ведь это же, как бы сказать... позорный факт! Ведь люди же вы! Лошадей у вас в колхозе нет, что ли?

Губы его прыгали, руками он судорожно вцепился в верхнюю жердь изгороди.

Старик опасливо покосился было на Орешина, потом улыбнулся виновато, с жалостью глядя ему в лицо.

— Вы не принимайте близко к сердцу, товарищ военный. Все едино ведь, что лопатой, что плугом: и тут, и там хрип гнешь. Стыдно, конечно, а что же сделать? Лошади-то все на севе заняты. Не дают их...

Орешин перебил его сердито:

— Где у вас председатель?

Повернувшись вправо, старик долго всматривался туда из-под руки.

— Должно, не он ли там, около кузницы...

— Не тот, что в военном?

— Он, он самый...

Подтянув ремень и одернув гимнастерку, Орешин сказал грозно:

— Сейчас мы с ним поговорим. По-своему. По-солдатски.

VI

Плотный, широкоплечий солдат стоял спиной к Орешину около покосившегося навеса и, заложив руки за спину, глядел, как желтоволосый паренек запрягает лошадь в плуг.

— Пошевеливайся,— строго учил его солдат.— Не на гулянку едешь. Войлок-то под седелку подложил? А то холку лошади собьешь. Подпругу крепче подтяни.

Паренек молча и быстро исполнял, что ему говорил старший. Он уже хотел ехать, как солдат опять остановил его:

— Не так я тебя учил постромки завязывать. Завяжи как следует.

Помолчав, спросил:

— Куда пахать-то бригадир наряжал?

— За овражек,— сильным голосом отвечал паренек.

— Поезжай. Я приду потом, посмотрю.
Заслышав сзади шаги Орешина, солдат оглянулся.
Как только глянул Орешин на широкое, крутолобое
лицо с зеленоватыми глазами, так и остановился в
удивлении.

— Кузовлев!

Солдат развел руки, радостно улыбаясь.

— Товарищ сержант! Федор Александрович! Жив?!
Они обнялись и расцеловались. Минут пять напере-
бой расспрашивали друг друга, не успевая отвечать.

Когда первый пыл встречи прошел, Орешин дернул
Кузовлева за рукав.

— Садись. Не думал я, что при первой же встрече
нам, Елизар Никитич, придется ссориться...

— А что?— встревожился тот, усаживаясь на
бревно.

— Как ты мог допустить такой безобразный факт,
чтобы колхозники свой огород на себе пахали? Как,
спрашиваю?

— Где?— вскинулся Кузовлев.

Орешин молча махнул рукой в сторону задворок.
Обеспокоенно взглянув туда, Кузовлев нахмурился.

— Назар Гушин это. Экой мужик для себя жад-
ный. Да кто его заставляет?!

Орешин насмешливо взглянул на Кузовлева.

— А ты ему лошадь дал, чтобы огород вспахать?

Еще больше нахмурившись, Кузовлев упрямо
сказал:

— Лошадей никому не дам, пока колхозную землю
не запашем. А Назар Гушин этот не в колхозе дохода
ищет, а на приусадебном участке...

— Разве колхозу вред, ежели колхозник дополни-
тельно получит с приусадебного участка?

— Самый настоящий вред,— не сдавался Кузов-
лев.— Займутся люди своими участками, а колхозную
работу упустят.

— Нет, ты меня не убедил,— вставая, сказал сер-
жант.— Я ведь хоть и заводской человек, а колхозный
устав читывал. Приусадебный участок колхознику для
подспорья даден, как бы сказать, для сочетания лич-
ных интересов с колхозными... Вот поэтому должен ты
помочь колхозникам вспахать участок. А в это время
они пускай на колхозную работу идут.

Кузовлев молча жевал соломинку, тяжело раздумывая.

— Ладно, выделю завтра трех лошадей с полдня. Погляжу, что будет.

— Тогда пойди к Гущину и скажи, чтобы не мучился зря и людей не волновал.

Кузовлев сердито махнул рукой:

— Ладно, так и быть,— и пошел к Гущину.

Вернувшись от него, Кузовлев признался:

— До того я осерчал, товарищ сержант, на этого упрямого старика, что плуг из борозды у него выбросил, а постромки, те аж на крышу закинул...

Орешин посмеялся, но ничего не сказал больше.

— Ну, теперь, товарищ сержант, в гости ко мне прощу,— хлопнул его Кузовлев по плечу.— Пообедаем, со свиданием выпьем маленько...

— Спасибо,— улыбулся Орешин.— Успеем еще. Я не за этим пришел. Девчата ваши вчера были у нас, сказывали, что сеялки в колхозе стоят. Хочу глянуть, нельзя ли что-нибудь сделать...

— С сеялками беда, это верно!— пожаловался Кузовлев.— Одну хотя бы наладить, а то ведь по старинке из лукошка сеем...

— Показывай сеялки,— хмуро потребовал Орешин. Оба пошли под навес, где валялись разные поломавшиеся машины, побуревшие от ржавчины.

Осмотрев все неисправные сеялки, Орешин решил, что две из них можно наладить сейчас, если для них срезать недостающие годные части с остальных. У Кузовлева нашелся гаечный ключ и молоток. Орешин тут же взялся за дело. Хотя от слабости его одолевала одышка, а больная нога «скулила» так, что не раз приходилось садиться отдыхать, все же одну сеялку Орешин исправил довольно быстро.

— Ну и мастерица же ты, Федор Александрович!— дивился Кузовлев, оглядывая и проверяя готовую машину.

Зато с ремонтом другой сеялки получилась заминка: нечем было заменить одну негодную деталь. Совершенно расстроенный, Орешин долго вертел ее в руках, что-то соображая, потом приказал Кузовлеву:

— Разогревай гори. Попробуем сварить...

В маленькой прокопченной кузнице было сумрачно и

прохладно, пахло застоявшейся гарью, железом, землей. Посредин кузницы на толстом низком чурбане стояла наковальня, на другом чурбане, врытом в землю, укреплены были слесарные тиски. Растроганно перебирая руками немудрый инструмент, валявшийся в беспорядке около наковальни, Орешин улыбкался светло и грустно. И такая тоска по родному заводу прилила вдруг к сердцу, что, когда зашумел и застрелял искрами горн, слезы закипели у Орешина на глазах.

Глянув на него, Кузовлев ласково сказал в потемках:

— Настрадался и я, дружок, по земле. Как приехал, неделю по полям ходил, наглядеться никак не мог.

Сварив сломанную деталь, Орешин не утерпел, отковал еще и новую. Пока он опиливал, подгонял и ставил ее на машину, Кузовлев успел сбегать домой, потом к бригадире — сказать, чтобы вез обе сеялки в поле.

Обедать однополчане пошли усталые, но довольные. Пелагея, жена Кузовлева, высокая и статная, брови дугой, когда-то очень красивая, должно быть, молодо ходила по избе, накрывая стол и счастливыми глазами взглядывая на мужа. Видно было, что на душе у нее праздник. Да и в доме выглядело все праздничным: на полу пестрели всеми цветами новые половники, около зеркала висело ярко вышитое полотенце, старенькие, но чистые занавески белели на окнах. На столе уже шумел самовар.

— Угощать-то больше нечем, — виновато улыбнулась Пелагея, ставя на стол янчинцу. Отперев облупившийся посудный шкаф, она осторожно вынула пузатый графин, на дне которого поблескивала водка.

Поставив графин перед мужем, села поодаль, на лавку, жадно прислушиваясь к разговору.

Однополчане выпили по рюмке за встречу, помянули с грустью лейтенанта Суркова.

— Трудно, поди, жили тут? — спросил женщину Орешин, глянув на ее побелевшие виски, на горестные морщины около губ и под глазами.

Спросил и пожалел: лицо Пелагеи некрасиво сморщилось, она молча отвернулась и вытерла слезы концом платка.

— Я, Федор Александрович, думал, что разруха у них тут полная,— заговорил вместо нее Кузовлев, отодвигая пустую рюмку.— А приехал и вижу: колхоз-то не пошатнулся! Хоть и поослабили хозяйство, а скот сохранили, да и сеют не на много меньше, чем до войны. Недаром на фронте мы нужды в хлебе не видели! А без колхозов что стали бы делать?

Помолчав, вздохнул:

— Тяжело, конечно, им, женщинам, тут без нас, что говорить! Да и обносились все. Купить-то нечего стало...

— Кончилась бы только война, всего опять нарабotaем,— уверенно, снова повеселев, сказала Пелагея и заторопилась.— На ферму идти мне нужно. До свидания.

Она подала Орешину жесткую крепкую руку.

— Чуяли мы на фронте вашу помощь,— горячо сказал Орешин и поклонился низко Пелагее.

— Спасибо!

За ней вскоре и они пошли в поле глядеть, как работают сеялки. По свежесбороненному участку белели вдалеке платки и рубахи севцов. Кто-то ехал оттуда на сеялке к дороге. Оба сели в ожидании на траву около канавки.

— О чем запечалился, Федор Александрович?— спросил Кузовлев, видя, что сержант сидит, опустив голову.

— Домой, на завод скорее надо...— сердито заговорил Орешин.— Теперь уж, поди, и без меня доводят. Завтра же буду просить о выписке...

— Куда ты с такой ногой? Лечись, знай.

— А землю ты чем обрабатывать будешь?!— закричал вдруг Орешин, выкатывая на Кузовлева злые глаза.— Ведь ежели по одной только сеялке каждому колхозу дать, сколько же их сейчас нужно?.. А если еще по молотилке, по жнейке? Нам хлеба больше сейчас надо, народ-то натерпелся за войну. А без машин хозяйство быстро не поднимешь...

— Это верно. Трактором-то вон у нас один массив только обрабатывать успевают. Мало их сейчас, тракторов-то. Да и другие машины поломались все.

К дороге подходила лошадь, запряженная в сеялку. Уверенно держа в руках вожжи, на сеялке сидела де-

вушка в клетчатом платочке, красной майке и кирзовых мужских сапогах.

— Елизар Никитич!— еще издали закричала она.— Семена кончаются. Пусть Аркадий везет скорее, а то стоять будем...

Чем ближе подъезжала она, тем больше убеждался Орешин, что это Маруся. Здесь, в колхозе, она совсем не была, видать, тихоней.

— Сеялки-то хорошо работают? — поднялся навстречу ей Кузовлев.

Ловко спрыгнув на землю, Маруся взяла лошадь под узцы.

— Хорошо идут. Теперь мы, Елизар Никитич, по сельсовету раньше всех кончим...

В голосе ее было такое ликование, а глаза так живо блестели на загоревшем лице, что и Орешин не вытерпел, встал и подошел поближе, улыбаясь.

Она поздоровалась с ним, но по лицу было видно — не узнала, и это почему-то огорчило Орешина.

— Ой, какое вам спасибо!— услышал он ее голос над собой. Она уже влезла на сеялку и чмокала губами, дергая вожжи.

И пока красная майка девушки не исчезла за бугром, Орешин все стоял и смотрел туда.

— Савела Боева дочка, бригадира нашего...— говорил сзади Кузовлев.— Звеневая она тут у нас, и участок этот ихний, комсомольский...

Орешин встряхнулся, обеспокоенно взглянул на часы.

— Пора мне.

— Не торопись. Я тебя на лошадке доставлю.

— Нет уж,— запротестовал Орешин.— Ты лучше на ней Гушину огород вспаши.

— Дался тебе этот Гушин...— недовольно бурчал Кузовлев, идя за ним.

Вместе дошли до овражка, за которым молодые ребята пахали пар. Около дороги, понутив голову, стояла запряженная в плуг лошадь. Черноглазый паренек с желтыми кудрями, тот самый которого Орешин видел утром, стоял около плуга и устало вытирал пот с лица. Увидев Кузовлева, он бросил сигарку и затоптал ее ногой.

— Сын мой, Ленька,— пояснил Кузовлев, испытую-

ще наблюдая за ним.— Первый год пашет. Оно бы и рановато еще, да что сделаешь?!

Подошел к борозде, поковырял носком сапога шоколадную землю, взял ее в руки, растер, потом смерил пальцем толщину пласта.

Недовольно спросил сына:

— Давно куришь?

Ленька густо вспыхнул и, избегая взгляда отца, сумрачным басом ответил:

— С год.

— Курить-то выучился, а пахать не умеешь,— уже ласково пожурил его Кузовлев.— Борозду прямей держи.

Кузовлев отвинтил от плуга ключ и чуть опустил колесо, подвернул покрепче отрез.

— Пошел я, Елизар Никитич,— сказал Орешин.— Не хочу начальника своего подводить. Прощай, брат!

— Прощай, Федор. Спасибо за помощь. Не забывай. Пиши. А то в гости приезжай!

— Не забуду,— улыбнулся Орешин.— Вот как только новую машину колхозу дадут, так и знай: Федор Орешин прислал.

— Ежели на то пошло, и меня не раз вспомнешь,— хитро засмеялся Кузовлев.— Возмешь в руки хлеб нового урожая, помни: Кузовлев его вырастил.

— Во-во! Это правильно. Выходит, не обойтись нам друг без друга.

Помолчали оба в раздумье.

— Кто его знает, не пришлось бы нам лет через пять опять в своем полку встречаться,— вздохнул Кузовлев.— За морем погода-то больно неустойчива...

— Занедабится, так встретимся,— нахмурился Орешин, но тут же поднял голову.— Только, Елизар Никитич, лучше бы в другом месте нам свидания устраивать. То ли бы дело в гости друг к дружке ездить, а?

Боевые друзья обнялись и расцеловались на прощанье.

Вытирая кулаком глаза, Кузовлев быстро пошел к плугу.

— Н-ну, трогай!..— сердито закричал он на лошадь и ровно, не качаясь, пошел за плугом. Земля послушно ложилась вправо от него широким черным пластом. Борозда была прямой, как полет стрелы.

— Чувствуешь?— спросил Орешин Ленку.

Ленька улыбнулся, тоже восхищенно глядя отцу
вслед.

— Ага.

— То-то! Учись у отца-то.

Подмигнул Леньке и, потрепав его по плечу, неторопливо зашагал по дороге.

Пройдя метров сто, оглянулся. Пахарь с конем поднялись уже на вершину холма, резко означившись на вечернем небе. Видно было, как черный конь, мерно помахивая головой, твердо опускает в землю тяжелые копыта, а за ним, легко держа ручки плуга, задумчиво шагает солдат Кузовлев. Свежий ветер пузырем вздул у него на спине гимнастерку, растрепал и взвил черным вихрем гриву коня...

Сержант приложил руки ко рту трубкой и крикнул:

— До свида-а-ания!

Остановившись, Кузовлев снял пилотку и замахал ею над головой:

— Счастливого пути-и-и!





О. МАРКОВА

ВСТРЕЧА

Рассказ

Председатель колхоза «Красный боец» Илья Назарович Уваров возвращался в деревню с механиком машино-тракторной станции Андреем Новоселовым, который ездил по колхозам, проверял перед уборкой машины.

Вида Новоселов был необычного: высокий, широкоплечный, правый глаз закрыт черной повязкой, а выше по лбу, пунцовому от загара, шел лучистый розовый шрам. Пепельные волосы, жесткие, будто накрахмаленные, слегка вились.

Уваров радовался, что ему удалось первым заполучить к себе автомеханика: шофер в колхозе у него — молоденькая девушка, недавно окончила курсы, еще без опыта, и он тревожился.

Они ехали на шустром, вычнщении до глянца рыжем жеребце. Утром прошел дождь. Осколок широкой радуги висел вдалеке над лесом, пересекая небо. Трава дурманяще пахла. Дорога утонула в хлебах. Огромный массив ржи был похож на сизое озеро, по которому перекатывалась из края в край крупная зыбь. За рожью начинались светло-зеленые яровые, слева раскинулось синевенное клеверное поле.

— Богат будет урожай! — сказал Илья Назарович. — Такой у нас в сорок первом году был...

Колеса прогрохотали по мосту. Необычно остро замечал Илья Назарович в этот день все: облако тонуло в реке, на песчаных отмелях пестрые коровы стояли в воде по самое вымя. За рекой лохматый холмик тянулся, как непричесанный чуб; за ним узловатые горы, сennie сейчас, подернутые дымкой. Лес на холмике казался восковым и будто таял под ярким солнцем. Из синего шелка сверху вырвался жаворонок, повис в воздухе, покачиваясь. Всюду царили мир и спокойствие.

Въехали в село. Дети бежали по улице, шлепая босыми ногами по лужницам, и победно кричали, протянув вперед рук, словно стараясь поймать радугу.

— Хорошо! — неожиданно произнес Новоселов. — Горы и то плечи выпрямили.

В гараже колхоза он осмотрел стоящие там два грузовика. Машины были исправны.

К гаражу, тяжело фыркая и бряцая железными гусеницами, подошел странного вида тягач.

Несколько лет назад, будучи в гостях у заводо-шефа, Уваров выпросил для колхоза танк. Это была низкая, устойчивая машина, израненная и обгорелая, с широкими гусеницами. Илья Назарович попросил сиять башню танка.

— Водителю на колхозных полях нечего оберегать-ся, — говорил он тогда. По его заказу к корпусу танка приварили металлические стойки. На них установили деревянный кузов, чуть меньше, чем у грузовика. В него колхозники загружали зерно, бидоны с молоком и другую кладь. Весной, при пахоте, прицепляли к танку-тягачу десять лемехов, и он пахал сильнее и быстрее трактора, корчевал пни на площадке строительства Дома культуры, таскал бревна, кирпич и песок. Его бросали на самые тяжелые работы, и хоть съедал он много горючего, но оправдывал его вдвойне.

Колхозники любовно называли машину «работягой», а шофер Анята Лукачева старательно ухаживала за ней, долго, до боли в руках чистила вмятые, заржавленные бока.

В одной из вмятин Анята обнаружила какое-то слово. Оно было выбито чем-то острым. Тонкие линии букв стерлись, но все-таки Аняте удалось разобрать имя женщины — «Люба».

Было ли то имя любимой девушки или жены, или имя женщины-героя, Анюта не знала.

Девичья фантазия унесла ее на поля боя. Она представляла водителя танка таким, каким всегда рисует себе героя молодая девушка: красивым, с сильным мужественным взглядом, с решительными жестами, преисполненным отваги. Враги окружали его. В каждом дуле жила его смерть. Пули буравили землю. А он, ее танкист, всегда выходил из боя невредимым.

Водя «работягу», Анюта не могла отрешиться от созданных ее воображением картин.

То ее герой вел машину в бой по оврагам и рытвинам, не разбирая дороги. То враги, окружившие его со всех сторон, падали, горели. Но всегда водитель, ведя бой, думал о Любе.

Слово «Люба» Анюта частенько восстанавливала острым гвоздем, чтоб оно не износилось.

Девушка повела тягач к гаражу, стремительно остановила его. Она не знала, как трогательно выглядела ее светловолосая головка из суровой брони.

Выпрыгнув из машины, Анюта вытянулась перед Уваровым и, играя искрящимися смехом глазами, отрапортовала:

— Зерно отвезла. Какие будут указания дальше, Илья Назарович.

— Вот, знакомь с «работягой» механика...

Новоселов, увидя перед собой странный тягач, сильно заволновался, хрипло спросил:

— Танк? — и не дожидаясь ответа, бросился к машине, лихорадочно кружил около нее, ощупывая корявые бока. Анюта, обиженная тем, что председатель не доверял ей, привез с собой механика, скорбно сжала полные румяные губы и прикрыла ладонью обновленное на броне слово «Люба». Новоселов, все более волнуясь, отвел ее руку от брони и впился в слово единственным глазом.

— Моя «работяга» в порядке... Вот только здесь слово одно нацарапано... я его никак не могла стереть... — хитрила Анюта.

— Люба... — с нежностью произнес Новоселов. Анюта обернулась, хотела что-то сказать, но вдруг увидела, что механик трогает слово на броне рукой. На его лице, пересеченном розовым шрамом, было

столько мечтательной радости, словно он встретился с другом после долгой и безнадежной разлуки.

— Мой танк!

Илья Назарович почему-то побледнел и потянул механика в сторону, приговаривая:

— Ничего... ничего...

— Тысячу семьсот километров я на нём прошел... Вместе с ним горели... Пуля хоть и задела меня, а видно, жизнь есть впереди!— задыхаясь продолжал Новоселов.

Так вот он какой, ее танкист, с которым Аня не раз мысленно разговаривала, которого уводила от смерти, внушала ему храбрость и находчивость. Тот же рост, те же плечи и пепельные кудри. Строгое неуютливое лицо, пересеченное шрамом, задубело, может, еще на войне, и веко опалено тогда же.

«Как же ты глаз-то не сберег!»— мысленно нежно упрекнула его Аня. Здоровый глаз танкиста был ясен и красив. Никогда она не видела таких синих глаз. Казалось, синева второго, разбитого глаза, перелилась в этот единственный.

В груди стало тесно и больно.

Захотелось крикнуть на весь мир, чтобы все услышали ее, увидели горящего в бою танкиста и машину с нежным именем «Люба». Еще раз Аня заглянула в синюю глубину глаза танкиста и непонятно к чему сказала:

— А теперь танк стал «работягой»...

Из детского садика неслась на улицу нестройная песня:

Как у дяди Трифона
Было семеро детей...

На золотую от смолы стену будущего Дворца культуры канатами поднимали новое бревно. Слышались голоса:

— Сильнее бери... сильнее, говорю!..

Тукали топоры плотников. Мимо прошла грузовая машина с мешками зерна.

Все это был мир, который победил войну. Война была за него, за мир, поэтому и называют ее народы «Великой».

Илья Назарович принял от механика инструмент и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Будем работать.

Анюте захотелось немедленно сделать что-нибудь героическое, спасти человека, предупредить несчастье. Ей казалось, что на нее смотрят тысячи глаз, ее слышат и понимают люди всех стран и наречий. Она чуть не бегом бросилась к «работяге» и начала нагружать кузов дровами, которые нужно было подбросить к дому старой вдовы.

Из слесарной мастерской напротив раздавался скрежет разрезаемого железа, от лесопилки несло жужжание пилы. Дети в садике все еще тянули на разные голоса:

Как у дяди Трифона...

Неожиданно Новоселов громко скомандовал:

— По местам!

Илья Назарович хлопнул руками и быстро влез в кузов, на дрова, за ним легко вскочила туда Анюта. Обычно ласковые глаза ее озорно поглядывали на танкиста. Новоселов занял место водителя.

Танк взревел, рванулся, окутавшись голубым дымом, выскочил на дорогу и с грозным ревом помчался по улице, разгоняя телят и гусей. Через минуту он остановился около нового дома поварихи полевого стана тети Васи. Широкие окна, горя от солнца, казались, стреляли огнем, на них больно было смотреть.

Новоселов быстро выпрыгнул на землю:

— Экипаж к танку!

Уваров и Анюта соскочили вниз. Из дома выбежала седая женщина.

— Спасибо, Илья Назарович, не забываешь сироту... Чем я, старая, перед колхозом отчитаюсь?

— Ничего, тетя Вася, за тебя сын твой в войну отчитался!

С улицы набежали дети, влезли в кузов и начали скидывать на землю дрова.

Анюта, наскоса поглядывавшая на водителя, подвинулась ближе к нему и осторожно, почти шепотом, спросила:

— Товарищ Новоселов... а сейчас эта... Люба... ваша?

Лицо механика радостно вспыхнуло.

— Люба?— переспросил он.— Дождалась меня невеста...

Сколько лет уже вместе, сынишка растет...

С размаху подав руки председателю и девушке, механик еще раз любовно оглядел танк, погладил броню и, не оглядываясь, пошел от тягача по дороге к реке.

Уваров и Анюта смотрели ему вслед, пока он не скрылся за сиреневым клеверным полем.





Н. ТУБОЛЬЦЕВ

С Ы Н

Р а с с к а з

Перед глазами Айдара еще стояли лица друзей, звенели в ушах их голоса, а поезд уже мчал его по бескрайним просторам страны. Нет, не думал Айдар, когда получил отпуск, что придется ему ехать в эту сторону.

Да, отпуск!.. Об этом напечатали даже в газете. В заметке под заголовком «Подвиг» было написано:

«В полночь рядовой Айдар Муралиев принял пост. Сжимая в руках автомат, часовой чутко прислушивался к ночным шорохам. Вдруг он уловил легкий шум. Муралиев насторожился. Вскоре он заметил, что к охраняемому им объекту осторожно ползет человек.

— Стой, стрелять буду!—громко крикнул часовой, направляя на нарушителя свой автомат.

Неизвестный был задержан. Он предложил было комсомольцу большую сумму денег, прося отпустить его на свободу, но часовой с негодованием отверг это предложение.

Задержанный оказался крупным диверсантом. За бдительность и отвагу командир части предоставил комсомольцу рядовому Айдару Муралиеву краткосрочный отпуск с поездкой на родину.

Капитан П. Рыбин.

Итак, Айдар получил отпуск. А куда же поехать? Отец его погиб на фронте, мать умерла так давно, что даже сгладились в памяти черты ее лица. Запомнились навсегда только глаза ее — большие, черные, точно такие же, как у него самого.

Айдар в конце концов решил, что поехать ему есть куда: в детдоме, где он рос и воспитывался, в техникуме, где он учился, ему всегда будут рады, там много хороших, ставших ему родными людей.

Нехитрые солдатские вещи аккуратно уложены, и вот уже Айдар подготовился в путь.

В это время дверь открылась, и в комнату вошел низенький чернявый Тукаев, полковой почтальон. Десятки глаз устремились на него.

— Уже собрался, Айдар! Хорошо, что я застал тебя.

— А что?

— Тебе тут письмо есть... Вот оно,— и Тукаев подал Айдару небольшой синий конверт.

«От кого бы это?»— вскрывая письмо, думал Айдар.

Тихо, очень тихо стало в казарме, товарищи выжидательно смотрели на него.

Недаром говорит пословица, что лицо — зеркало души. Чем дальше читал Айдар, тем светлее и светлее становилось его лицо, тем сильнее блестели его глаза.

— Товарищи! Ребята!— закричал он наконец.— Я нашел родных! Отца, мать! Вот слушайте, что они пишут...

Шум в казарме стоял оглушительный. Айдара тискали, хлопали по плечам.

— Ну довольно же, довольно! — смеясь просил Айдар. Но друзья не хотели успокоиться так быстро, ведь они радовались за Айдара, как могут радоваться солдаты: все — за одного, один — за всех.

...Резкий гудок паровоза прервал его воспоминания. Вагон вздрогнул и остановился...

От железнодорожной станции до деревни Осиновка, куда нужно было попасть Айдару, расстояние немалое, добрых километров пятнадцать, если не больше.

Расспросив о дороге, он поправил вещмешок за плечами и твердыми солдатскими шагами пошел по узенькой тропинке напрямик через лес.

Тропинка вывела Айдара на большую укатанную са-
нями дорогу. Сзади послышался скрип полозьев, фыр-
канье лошади, и подвода поравнялась с Айдаром.

— Тпру!

Натягивая вожжи, сидевший в санях седой, с боль-
шой бородой дед крикнул солдату:

— Эй, служивый! Садись, подвезу. Далече ли
путь-то держишь?

— До Осиновки,— Айдар прыгнул в санн. Дед
взмахнул кнутом, и лошадь побежала.— А вы откуда?

— Э-э!— голубые, по-молодому ясные глаза деда
весело блеснули.— Нам по пути. Я пчеловод из колхо-
за «Рассвет». А деревня наша действительно называет-
ся Осиновкой. Ну, а зовут меня Матвей Ильич Крапив-
ников, попросту — дед Матвей.

— Меня зовут Айдар Муралнев.

— Родом, смотрю, не из Казахстана ли будешь?—
осматривая Айдара, заинтересовался дед.

— Из Казахстана,— подтвердил Айдар.

Словоохотливый старик понравился Айдару.

— Так в Осиновку, говоришь, путь держишь? А к
кому же это, интересно знать?.. Н-но, милая, н-но! —
прикрикнул дед Матвей на приостановившуюся было
лошадь.

— К отцу я еду,— хитро взглянув на старика, отве-
тил Айдар.— Животновод Лазарев Павел Андреевич
есть у вас?

Как и ждал Айдар, слова его привели деда в недо-
уменье: седые брови его поползли вверх, глаза недовер-
чиво скосились на солдата.

— Ой, служивый, путаешь ты что-то.

— Нисколько,— улынулся Айдар.— Хотя, правда,
я его ни разу не видел, но уверен: человек он хороший.

— Верно,— живо согласился дед.— Человек он у
нас всеми почитаемый. Недаром наш «Рассвет» на весь
район и даже на всю область славится. Взять вот хотя,
к примеру, наш колхоз и «Путь к коммунизму». Соседн.
А наш скот никак нельзя с нашим сравнить. Лазарев —
человек понимающий, хозяин. Много работает. Да
ведь без труда не вынуть и рыбки из пруда. Недаром
же мы на областную выставку попали... Ну, а ты, зна-
чит, серьезно к нему?

— Конечно, серьезно.

Дед был догадливый, немало повидавший на своем веку.

«Вот так штука,— размышлял он.— Не иначе, как нажил Лазарев сына незаконным образом. В молодости-то ведь тоже на Амур ездил, город строить. Там, поди, и нажил сынка. И что у них теперь с женой-то будет?.. Нет, не верится».

Но взглянув на Айдара, дед Матвей покачал головой: «Не верится, а факт-то — вот он».

Показалась вся в снегу Основка. С пригорка она выглядела длинной черной лентой, извивающейся по белому полю. За ней, вдали, темнел лес.

— Красное место!— привстав на сани, воскликнул Айдар.

— Подъедем ближе—еще лучше покажется,— польщенный похвалой, снова оживился дед.— Богато живем. Сейчас у нас десятилетка есть, клуб свой, радиозул, электростанция...

Но Айдар слушал его рассеянно. Чем ближе они подъезжали к деревне, тем больше он волновался. Может быть, и не так уж ласково примут его здесь, как ему кажется?

Лошадь, разбрасывая комья снега сильными копытами, бежала уже по деревенской улице. Основцы, завидя подводу, останавливались и с некоторым любопытством смотрели на незнакомого солдата. Перебрасывались короткими фразами, гадали: к кому бы это он приехал?

И, пожалуй, не меньше взрослых заинтересованы были мальчишки. Они уже мчались наперегонки рядом с санями, цепляясь сзади, стараясь прокатиться вместе с «настоящим» солдатом. А мальчик с облупленным носом и серыми глазенками на безбровом лице, должно быть, самый смелый, уже задавал Айдару вопросы, пытаясь узнать, почему он едет на сани, а не верхом и где у него спрятан наган.

Тем временем дед Матвей, отвешивая поклоны старым знакомым, важно поглядывал по сторонам, как бы всем своим видом желая показать, что знает он что-то необыкновенное.

— Тпру!— крикнул он звонко, когда подвода поравнялась с небольшим, чисто выбеленным, аккуратным домиком с двумя березками под окнами.

— Вылезай, служивый, приехали.

Дед направился было к двери, но Павел Лазарев с женой Настей уже спешили навстречу.

«Ну, сейчас начнется»,— тревожно поглядывая на собравшихся соседей, подумал дед Матвей.

Лазарев, высокий, седовласый, подошел к Айдару, взял за плечи и внимательно посмотрел ему в лицо своим пристальным взглядом. Серые глаза животновода радостно заблестели.

— Если не ошибаюсь, Айдар Муралиев?

— Так точно,— по-военному ответил Айдар.

Голос Павла чуть дрогнул.

— Ну, здравствуй, милый сын! — и он крепко прижал Айдара к своей груди.

Но что самым удивительным было для деда Матвея, который по своей природной словоохотливости успел уже шепнуть «тайком» о «незаконном» сыне Лазарева,— Настя также радостно обняла молодого солдата.

К вечеру в избу Лазаревых поздравить Айдара с приездом собралось много колхозников.

— Ну, как вам, Айдар, наше село понравилось или нет? — интересовался низенький скуластый Андрей Дымов.

— Село хорошее,— ответил Айдар.

А восьмидесятилетняя бабка Митрофановна, узнав, что Айдар задержал крупного шпиона, приблизилась к нему и, приложив ладонь к уху, чтобы получше слышать, спросила, как это он, такой молодой, ростом невеликий, мог «крупного-то» удержать? На это Айдар серьезно ответил, что, хотя он мал ростом, да на своей земле сила ему дана.

— В своем доме и стены помогают,— понимающе вставил оказавшийся тут же дед Матвей.

— Вот, вот! — поддержал деда Дымов.

Разговоры продолжались. Но и Лазаревы и Айдар чувствовали, что многих, если не всех, мучит любопытство. Всем было известно, что единственная дочь животновода учится в городе, а сыновей у него никогда не было... А тут вдруг откуда ни возьмись сын явился, солдат уже, да вдобавок еще казах, а Настя принимает его так же, как и сам Лазарев. Поди-ка тут разберись!

Тем временем Настя, невысокая и ловкая, поставила на стол дымящиеся вкусные щи, закуски и, ко всеобщему одобрению мужчин, четверть водки. Павел ей помогал.

— Прошу, товарищи,— жестом указывая на дверь в горницу, пригласил Лазарев собравшихся.— Встретим моего сына Айдара так, как это издавна повелось.

— Чем богаты, тем и рады,— поклонилась Настя.

Гости с шумом повалили в горницу, заняли места. Павел наполнил стаканы.

— Ну, что ж, товарищи, поздравим моего сына с приездом в родной дом.

— Павел Андреевич,— не вытерпел, наконец, Дымов.— Не мучай ты нас, объясни: в чем тут дело? Хотя, может быть, и неудобно спрашивать, а все-таки...

— Во-во,— приподнялся дед Матвей.— А то я тоже тут никак в толк не возьму, что к чему...

Заволновались, оживленно зашумели и другие колхозники.

И сразу шум стих, как только заговорил Лазарев.

— Ну что ж, друзья, расскажу я вам, кто такой Айдар и почему он приехал сюда.— Лазарев на минуту замолк, глядя в одну точку, словно собираясь с мыслями, потом вскинул голову...

Они сражались вместе. Павел Лазарев и Кадыр Муралиев.

Лазарев был командиром воздушного корабля, Кадыр — борт-механиком.

Шли жестокие бои на Курской дуге. Советские воины в упорных боях уничтожали врага, умирали сами, но не хотели уступать ни пяди земли. И на помощь пехоте взмывал в небо тяжелый воздушный корабль Лазарева.

Однажды, когда самолет, сбросив свой смертоносный груз, возвращался на аэродром, его резко потрянуло, и почти тотчас же густой черный дым потянулся за машиной от правого мотора. Осколками зенитного снаряда штурман был убит, а радист ранен. Лазарев, тоже раненный, напряг все силы, чтобы удержать самолет, «дотянуть» до своих, но тяжелая машина, хотя и медленно, но неуклонно приближалась к земле.

— Кадыр!— стараясь перекрыть шум мотора, закричал Лазарев.— Спаси их! Быстрей!

Но Кадыр и без того уже знал, что делать: подхватив на руки обмякшие тела товарищей, он подтащил их к люку и помог выбраться с парашютом.

— Теперь готовься сам,— приказал Лазарев.— Живо!

Как всегда в минуты опасности, Лазарев был спокоен. Лишь серые глаза блестели сильнее обычного, да нервно дергалось правое веко.

Кадыр, широкоплечий, коренастый, остановившись сзади Павла, тронул его за плечо. Он уже догадался о намерениях летчика, но все-таки спросил:

— А ты, как же ты, Паша?

— Попытаюсь посадить самолет, тут ведь недалеко,— спокойно ответил Павел.— Но не погибать же обоим, если посадка вдруг окажется неудачной.

— Ну, что ж, прощай, Паша.

— Прощай, Кадыр...

Борт-механик отвернулся. Но как раз в ту минуту, когда он приготовился к прыжку, самолет резко тряхнуло. Кабина летчиков наполнилась дымом.

Кадыр бросился туда.

— Павел, Паша!— закричал он.— Что с тобой? Ты жив?

Стон, слабый, сдавленный, был ему ответом. Кадыр наклонился над окровавленным другом. Лазарев открыл глаза, взгляд его остановился на борт-механике.

— Ты еще здесь, Кадыр? Скорей же прыгай, скорей! Смотри...—Он хотел сказать еще что-то, но голова его поникла, и он снова потерял сознание. И только тут Кадыр с ужасом увидел, что лямки парашюта Лазарева перебиты чем-то острым, должно быть, осколком.

Медлить, раздумывать было некогда. Кадыр решительно начал снимать свой парашют. Когда он, прицепив свой парашют летчику, подтащил его к люку, Лазарев очнулся.

— Ты... ты что это сделал?— Глаза Павла засверкали. Он попытался приподняться и снять с себя парашют, но не смог.

— Кадыр!

Но Кадыр бледный, словно мел, казалось, застыл на месте. Полуприкрытые глаза его смотрели через голову Лазарева, зубы крепко сжаты. Потом вдруг, словно очнувшись, он решительно приподнял Лазарева.

— Нет, товарищ капитан. Не тому учила меня партия, чтобы бросать командира в беде.

Видя, что Лазарев пытается возразить, он опередил его.

— Нет, нет, товарищ капитан. Самолет должны покинуть вы. Об одном только прошу тебя, Паша. Сын у меня, Айдар, жена больная. Найди его... прощай, Павлик,— и долго сдерживаемая, скупая солдатская слеза упала на лоб вновь потерявшего сознание Лазарева...

Сильная струя воздуха бросила его под стабилизатор машины, завертела, словно игрушку, но в следующее мгновение над ним развернулся большой белый купол. Он упал на землю, так и не приходя в сознание. А неподалеку, в лесу, ломая столетние, но уже тронутые войной великаны-дубы, рухнул его пылающий самолет. И все стихло. Лишь дымились, догорая, обломки машины...

Очнулся Лазарев в госпитале. С трудом припомнил пережитое. Уж не страшный ли это сон? Но это был не сон: он больше никогда уже не увидел Кадыра.

Лазарев принялся за поиски семьи друга. Но жена Кадыра, и без того больная, узнав о смерти мужа, слегла и больше уже не поднялась, а найти мальчика он так и не смог. Знал Павел, что Советская власть не забудет сына Кадыра, но все-таки на душе у него было беспокойно, он чувствовал себя виноватым перед другом...

Шли годы. И вот недели две назад Лазарев встретил в газете имя отличника боевой и политической подготовки Айдара Муралиева. Надо ли говорить, как он этому обрадовался. Вот тогда-то и решили они с женой Настей пригласить Айдара в отпуск к себе. Они так и написали ему, чтобы ехал он, как домой, к отцу, к матери...

Гости задвигались, зашумели. Андрей Дымов жал руку Айдару, приговаривая:

— Молодец, Айдар Кадырович, правильно сделал, уж поверь ты мне.

Поздравляли Павла, Настю.

А дед Матвей, вытирая набежавшую слезу, тихо сказал Лазареву:

— Уж, ты Паша, прости меня, старика. Я было по глупости своей нехорошо про тебя подумал.

— За дружбу,— провозгласил Лазарев.

— За наших отцов и матерей!— добавил Айдар.





ЛЕВ СОРОКИН

СОЛДАТСКИЕ БУДНИ

НАГРАДА ИЗ НАГРАД

Да, коммунист за все в ответе!
Ну чем его измерить труд?
Нет выше звания на свете,
Его не всякому дают.
...У обожженного танкиста
Хватает сил едва-едва
Шепнуть: «Хочу быть коммунистом!»—
Свои заветные слова.
И партсобрание после боя,
И, как награда из наград:
«Он коммунистом быть достоин!»—
Слова заветные звучат.
Вот на краю земли целинной
Сидит у яркого костра
Над заявлением недлинным
Солдат вчерашний
до утра.
Он знает:
быть за все в ответе
И беспокойней и трудней!
Но сколько есть таких на свете,
Жизнь отдающих для людей!

Пусть после смены,
 после боя
Для них наградой из наград
«Он коммунистом быть достоин!»—
Слова заветные звучат.

СОЛДАТ РАБОТАЕТ

Солдат работает лопатой.
«Зарыться в землю!»—
 дан приказ.
День жарким кажется солдату,
Хоть очень холодно сейчас.
Земля промерзла.
 Словно камень,
Она тверда и холодна,
Но под упрямыми руками
Покорной сделалась она.
Устал.
 И, может, с полминуты
Смотрел на снежные поля.
Он любит землю.
 потому-то
И сил прибавила земля.
И он опять окопы роет,
Глядит внимательно вперед.
Земля в бою его укроет,
И он в бою ее спасет!

РАВНЕНИЕ

Вот команда последняя отдана,
И на Знамя
Равняется строй.
И зовет первогодков
В поход оно,
И влечет их сердца за собой.

Словно память о давних сражениях,
Ордена и рубцы —

у древка.

И берут первогодки равнение
На бессмертную славу полка!

ТРЕВОГА

Повисла луна над дорогой,
Над лагерем —

слой тишины.

Но краткое слово:

«Тревога!»

Ворвалось в армейские сны.

Тревога!

Суровые лица!

И топот тяжелых сапог!

Кому она может забыться

За далью гражданских дорог?!

Пусть каждый сегодня устанет

(Дневная работа трудна!),

Но громче тревога —

и встанет

Не взвод и не полк,

а страна!

Тревога!

Нелегкий экзамен.

Равняется сомкнутый строй.

И держит часы пред глазами

Полковник немолодой.

...Опять тишина.

За дорогу

Бесшумно скользнула звезда.

Но краткое слово:

«Тревога!»

У нас наготове всегда.





Л. РУМЯНЦЕВ

СТРАНИЧКИ ЖИЗНИ

Из дневника капитана Волошина

Рассказ

24 февраля.

Сегодня исполнилось 37. За завтраком Аннушка не удержалась от своей традиционной шутки: время, мол, идет, Михаил, а ты не стареешь — так же, как прежде, на год и день моложе своей армии...

Милый друг мой, а седина на висках, а лысина, наступающая с височных флангов? Это не в счет?.. Впрочем, не спору. Называй молодым. Мне приятно. Я ведь и сам порой поражаюсь несоответствием: из зеркала на меня смотрит вполне солидный муж, а сердце такое же бойкое, как у мальчишки.

Дочь подарила рисунок — цветок невероятных оттенков, внизу подпись печатными буквами «папе». «Е», конечно, в обратную сторону. Аня подарила прекрасный кожаный портсигар с монограммой. Не забыл и командир полка. Во второй половине дня вызвал к себе. Вначале поздравил с днем рождения, а потом тоже преподнес подарочек — объявил, что переводит в мою батарею крайне недисциплинированного солдата Юрия Зудова. «Ваша задача, — говорит, — перевоспитать его. Прежний командир капитан Никифоров,

как видно, не справился». Хорошее дело! А где уверенность, что я справлюсь?

По сведениям, Зудов боек на язык, знает массу анекдотов, легких песенок. Знает и многое такое, что рановато бы знать. Словом, «развит» во всех отношениях.

Такому «опытному» ничего не стоит совратить с пути истинного трех-четыре еще недостаточно стойких солдат. Это самое опасное.

Нелегкая, очень нелегкая наша работа... Так, видимо, и появляются раньше времени морщины. Как это дочка назвала их сегодня? Ах, да — «ручейки». Водила, водила пальчиком по моему лбу и говорит:

— У тебя, папа, много ручейков.

— Много, — отвечаю, — текли заботы — след оставили...

25 февраля.

Состоялось официальное знакомство.

Явился ко мне, как на парад: сапоги блестят, гимнастерка заправлена по всем правилам, пряжка сияет, подворотничок белее первого снега.

— Товарищ капитан, рядовой Зудов прибыл для прохождения дальнейшей службы!

Отчеканил и поднял на меня глаза, серые, настоженные. Попробуй, проникни такому в душу — не пустит и на порог.

Среднего роста, широкоплечий, волосы светлые, лицо загорелое, скуластое и, я бы сказал, волевое. Молча выдерживаю его взгляд, задаю несколько официальных вопросов и вдруг замечаю над верхней губой моего нового подчиненного коротенькие усики, вернее, пучки волос цвета ржавчины. Никогда не видел такой отталкивающей растительности.

— Усы рекомендую сбрить, — твердо и спокойно произношу я.

Брови у Зудова дрогнули, глаза сузились.

— Не могу, товарищ капитан, — ответил он, — раздражение кожи.

Как бы соглашаясь с его доводом, киваю головой, встаю из-за стола, собираю бумаги в сумку.

— Разрешите идти? — спрашивает Зудов.

— Вместе, — говорю, — пойдем. В санчасть.

Нарочно медлю, открываю ящичек, перекладываю в нем стопку уставов, словно ищу что-то. Вижу, Зудов переступил с ног на ногу.

— Я не болен, товарищ капитан,— в голосе его чуть слышный оттенок удивления.

— Знаю.

— Почему же в санчасть?

— А там есть электробритва у фельдшера. Бреет без раздражения.

Лицо Зудова становится непроицаемо упрямым.

— Не пойду, товарищ капитан,— говорит он сквозь зубы.

— То есть, как?!

— Не пойду.

Сдерживаю себя, чтобы не вскипеть, не наговорить чего-либо лишнего. Конечно, никаким уставом не запрещено носить солдату усы. Официально Зудов имел на это право. Но, во-первых, его усики никак к нему не шли, придавали лицу какое-то шутовское выражение. Во-вторых, меня покорибила ложь Зудова, когда он, не моргнув, придумал «раздражение кожи».

Сложное положение. Ведь невозможно насильно сбрить ему усы. Невозможно и другое — изменить сейчас тон. Начать с приказа, а кончить увещанием — это значит навсегда потерять свой авторитет в его глазах.

А секунды бегут. Молчание становится невыносимым. Чувствую, что кровь приливает к лицу, непроизвольно сжимаются кулаки. Будь он моим сыном, так бы проучил, что запомнил бы на всю жизнь, как перечить старшим... «Спокойно, спокойно, капитан,— урезониваю сам себя.— Ищи выход». И вдруг соображаю — не для красоты разводит он свою рыжую растительность. Не так глуп Зудов, чтобы не понять этого. Усы ничуть не красят его. Следовательно, тут нечто другое.

Поворачиваюсь к Зудову, смотрю на него в упор и спрашиваю:

— Интересно, на сколько вы договорились?

На лице Зудова явное недоумение. Я повторяю вопрос:

— На сколько вы поспорили, что отрастите усы?

Замечаю, как недоумение сменяется минутной растерянностью. Неужели я угадал?

Зудов отводит глаза. Он пытается «держать себя в руках», но это у него плохо получается.

— Не спрашиваю пока,— уверенно и настойчиво говорю я,— с кем вы поспорили. Спрашиваю — на сколько?

— Откуда вы знаете? — бормочет Зудов. Он старается вернуть утраченные позиции.— Может быть, не спорил...

Пропускаю мимо ушей это «может быть», бью в одну точку.

— Отвечайте,— десять рублей, двадцать, тридцать?

Зудов лизнул пересохшие губы. Он, видимо, почувствовал, что я не отступлюсь, а ему не на что опереться.

— Полсотни,— цедит он, злясь на свое бессилие. Выдерживаю паузу и подвожу итог.

— Как будто вы смысленный парень, Зудов, а не понимаете, что вас просто-напросто разыграли. Да, да,— повторил я, наблюдая, как снова изменился в лице солдат,— разыграли самым явным образом... Тому, кто с вами спорил, не холодно и не жарко. Он в стороне, а вы...

Во взгляде Зудова и удивление и недоверие. Секунда, и он снова опускает глаза, стараясь скрыть свое состояние от меня.

Надо кончать.

— Так вот, — говорю я,— даю вам тридцать минут. Обратитесь к старшине, возьмите у него бритву и побрейтесь. Через тридцать минут зайдете ко мне и доложите.

Повернувшись не особенно четко, Зудов вышел.

Наедине с самим собой анализирую все, что произошло. Добился ли я победы? Трудно сказать. Эти несчастные усы — первое, несложное, хотя и непредвиденное столкновение.

Позвонила Аннушка, спросила, почему задерживаюсь. Потом передала трубку Леночке.

— Папа, приходи быстрее. Будем рожденческий торт доедать.

Эх, сладкоешка маленькая. Как мне тепло бывает дома, когда ты на коленях, когда Аннушка рядом.

Положил трубку и невольно подумал: мы часто говорим, что армия должна стать родной семьей для

солдата. Именно родной семьей. Задача эта верная, но сложна она тем, что имеет ровно столько различных решений, сколько солдат в подразделении.

28 февраля.

Усы Зудов сбрил. Но установить с ним нормальные взаимоотношения, какие должны быть между командиром и подчиненным, не удалось. Впрочем, если говорить откровенно, Зудов с самого начала был мне не симпатичен.

Впервые я о Зудове услышал полгода назад. Рассказывали, что он сидел на гауптвахте, когда батарея Никифорова выезжала на учения. Через несколько дней, встретившись с сослуживцами, Зудов не упустил возможности покрасоваться. «Ползали?—спросил он с ухмылкой.—Пузом грязь шлифовали? А я отдыхал». Многие возмутились, но нашлись и такие солдаты, которые одобрительно восприняли эту издевку.

Допустить повторения чего-либо подобного я не хотел.

Желая предотвратить возможное дурное влияние Зудова на первогодков, заранее поговорил об этом со старшиной и сержантами. А те рассказали о нем солдатам. Зудов сразу же почувствовал недоброжелательность по отношению к себе со стороны коллектива и догадался, от кого исходит инициатива. При встрече со мной он, торопливо козырнув, старался быстрее пройти мимо. Приказания выполнял, но нетрудно было заметить, что каждое мое слово рождало у него внутренний протест.

Первые два дня я не придавал этому какого-либо значения. «Подумаешь, принц какой. Неужели он рассчитывал, что и таких, как он, у нас принимают с распростертыми объятиями? Нет, братец, такого не было и не будет...» Честное слово, не лежало у меня к нему сердце. И если бы командир полка отменил свое решение, с радостью передал бы Зудова кому угодно...

Сегодня весь день провели на стрельбище. Возвращались с песнями. Результаты стрельбы у всех были неплохими, и настроение поэтому бодрое. Зудов тоже выполнил упражнение. Признаться, я был приятно удивлен этим. Но тут же сказал себе: «Должен же был

Зудов хоть чему-нибудь научиться за время службы».

Вечерело. Заснеженная дорога вела в гору. Осталось миновать вершину, а там до нашего городка рукой подать. Посмотрел на часы. Времени было еще мало, и я решил дать вводную. Громко, так, чтобы все слышали, крикнул:

— «Противник» справа! Батарея к бою!

Командиры взводов быстро отдали приказы.

Строй мгновенно рассыпался. Воины то ползком, то короткими перебежками стали приближаться к опушке чернеющего справа леса.

Отделению разведчиков сержанта Подгорного я сам поставил задачу: зайти в тыл «противника», отрезать пути отхода!

Солдаты побежали, пригибаясь, вдоль дороги в гору, потом резко свернули вправо, маскируясь за редколесьем. Я обратил внимание, что Зудов бежал как-то неестественно,— подпрыгивая и прихрамывая. «Бежать даже не может, как все нормальные люди»,— подумал я. А после ужина узнал истинную причину. Оказывается, Зудов, идя еще на стрельбище, натер ногу. Но не сказал никому ни слова. Только вечером снял сапог и размотал сбившуюся портянку. Большая водянистая мозоль на пятке лопнула, и кожа краснела, как от ожога. Пришлось старшине доставать нашу аптечку.

«Странный человек,— размышлял я о Зудове.— Мог бы еще на стрельбище перемотать портянку, наконец, мог сказать о мозоли после стрельб... Но смолчал... Вытерпел...»

Что-то теплое шевельнулось в душе по отношению к Зудову. Я подумал о том, что и он вполне может стать отличным солдатом... Маловато только я знаю его. Анкетные данные, нелестные характеристики — вот и все, пожалуй.

1 марта.

Попробовал поговорить с Зудовым, расспросить подробнее о его житье-бытье до армии. Юрий сидел напротив меня, глядел куда-то в сторону и отвечал односложно, словно его тяготил разговор и хотелось скорее уйти.

...— Значит, отец ваш погиб на фронте?

- Да.
- Мать работает?
- Да.
- Кем?
- Геолог.
- Часто в разъездах?
- Часто...

Разговор явно не клеился. Я узнавал не более того, что было в бумагах.

— А во время войны где вы жили? Ведь ваш город был оккупирован?

— В Алма-Ате.

— Объясните мне, Зудов, почему вы не закончили семилетку и поступили работать...— я глянул на листок, лежавший передо мной,— учеником в артель по ремонту электроприборов? Тяжелое материальное положение вас заставило?

— Нет.

— Что же?

— Запустил занятия.

— Почему?

— Долго рассказывать.

Зудов прерывисто вздохнул.

— А вы расскажите... Нас никто не торопит.— И тут же, отвлекаясь от основной темы, спросил участливо:— Может быть, у вас нога побаливает?

— Нет. Уже лучше.

— Ну, тогда все в порядке. Можно спокойно беседовать... Так почему пришлось оставить школу?

— Несколько месяцев дома не был. Хотел к старшему брату в Горький съездить, на Волгу, а попал в Новосибирск... Вот и запустил учебу... Остался на второй год в седьмом. Показалось скучно... Пошел в артель...

— А мать как посмотрела на это?

— А что ей... У нее своя семья.

Я помолчал. Зудов истолковал это по-своему.

— Разрешите идти, товарищ капитан? Мне автомат чистить надо.

Чуть приоткрывшись, он снова старался уйти в себя, обрезать какие бы то ни было «ниточки» между командиром и собой, за исключением чисто служебных. Было очевидно, что дальнейший разговор ни к чему не

приведет. Я разрешил Зудову идти, оставшись один, попытался представить его короткую, но как видно, уже достаточно путанную жизнь.

Мать часто бывала в разъездах. Зудов рос предоставленным самому себе. Новое замужество матери, видимо, совсем отдалило его от семьи. Несколько месяцев бродяжничал по железнодорожным станциям. Неизвестно с кем знакомился, на что жил. Слишком рано почувствовал самостоятельность... Потом артель, взрослые, не всегда серьезные товарищи, свои деньги, полная независимость. Возможно, были и пьянки, и кое-что похуже... Да, у одного жизненный путь складывается ясно и прямо, у другого — такой он извилистый, что пойдй догадайся, где сам споткнулся, а где увели в сторону.

Между прочим, Аннушка, когда я ей обо всем этом рассказывал, горестно посочувствовала Зудову. Понятно — женское сердце! Оно помягче, чем наше. А мне пока ничуть не легче.

6 марта.

Вечером батарея отправилась в клуб смотреть фильм. (Кстати, нам уже третий раз показывают его за полгода). Зудов вместе со всеми вошел в зал, потом попросил разрешения выйти покурить. Кино началось, а Зудов в зал не вернулся. Сержант Подгорный сразу же сказал об этом старшине. Тот моментально послал одного из солдат в библиотеку, в спортзал — поискать Зудова. Но солдат вернулся ни с чем. Тогда старшина Николенко доложил об исчезновении Зудова мне.

Я был готов к тому, что Зудов может что-нибудь натворить. И все же сообщение старшины меня расстроило.

— Ваше решение? — спросил я Николенко.

— Какое же может быть решение, — ответил старшина, пожимая плечами. — Одно решение: вернется — наказать по всей строгости.

— Наказать-то недолго...

Старшина уловил в моем голосе нотку несогласия и, немного подумав, добавил неуверенно:

— Конечно, и поискать можно...

— Ветра в поле?

— Не совсем так, товарищ капитан. У меня тут записано...— Николенко сунул руку за отворот шинели и достал маленький блокнот, который солдаты в батарее шутя называли «чепичкой»— по начальным буквам ЧП (чрезвычайное происшествие). Действительно, из небольшой записной книжечки в потертом темно-синем переплете можно было узнать о всех погрешностях солдат за всю их долгую службу. Так же пунктуально отмечал Николенко и успехи воинов, но, поскольку характер у старшины был не особенно мягкий, мало кто знал об этой «положительной» стороне блокнота. И совсем не подозревали солдаты, что в книжечке, заполняемой бисерными прямыми буквами, есть сведения о том, как зовут их родителей, где до армии солдаты работали или учились, у кого какие склонности и привычки... Правда, старшина не всегда умел всем этим правильно воспользоваться, но мне, как правило, оказывал неоценимую помощь своими исподволь накопленными наблюдениями.

— Вот,— произнес Николенко, перелистнув «чепичку»,— Вокзальная, 17, зовут Нюра.

Оказывается, «на всякий случай» старшина разузнал у прежних сослуживцев Зудова, где тот чаще всего бывал, когда уходил в город.

— А кто она, эта Нюра?

— Трамвайная кондукторша. Приехала из деревни к тетке. Тетка умерла, домик ей оставила...

Через двадцать минут мы были на улице Вокзальной у деревянного, почти до окон заметенного снегом дома. Под самой крышей тускло освещался железный крашенный полукруг с цифрой 17 посередине.

Николенко подошел к калитке и направил луч карманного фонаря на дорожку.

— Здесь,— сказал он негромко.

Я и сам увидел на снегу четкий свежий след солдатских сапог.

Мы вошли во двор. Дверь в сени была не заперта. Зато другая дверь, обитая клеенкой и войлоком, на дежно защищала вход. Пришлось постучаться.

— Кто там?— послышался женский голос.

— Откройте, пожалуйста.

— Кто вы такие?

— Откройте! — повторил я тверже.

Звякнул массивный крючок, дверь открылась. На пороге стояла девушка лет двадцати трех, небрежно причесанная, в халатике и тапках на босу ногу. Прищурившись, она старалась разглядеть нас.

— Кто вы такие будете?

Не отвечая на вопрос, я шагнул в комнату. Николенко последовал за мной.

Зудов мог предположить все, что угодно, но нашего появления он не ждал. Он настолько опешил, что даже не пошевелинулся. Щеки его побледнели, глаза широко открылись.

Своим приходом мы прервали только что начавшийся ужин. На столе, позванивая крышкой, бурлил электрочайник. На мелкой тарелке лежали конфеты, на тарелке побольше — кусок колбасы, несколько ломтиков хлеба.

Нюра уже поняла свою оплошность и, закусив губу, молча наблюдала за нами.

— Встать! — приказал я Зудову.

Он повиновался.

— Застегните ворот!

Он выполнил приказание и снова замер, опустив руки по швам.

— Товарищ старшина, — обратился я к Николенко, — доставить Зудова в расположение батареи.

Старшина козырнул и щелкнул каблуками. Затем, повернувшись к Зудову, сделал рукой вполне понятный жест — собирайся, мол, живо. Зудов шагнул к вешалке.

По-видимому, еще ни разу в жизни не приходилось ему так очевидно быть застигнутым врасплох. И если полчаса назад он, может быть, мнил себя героем, когда, торопясь и озираясь, перелезал через ограду части, то сейчас и сам себе и своей знакомой он казался маленьким и бессильным.

Я уловил во взгляде трамвайной кондукторши еле заметную иронию, когда ее кавалер, не попрощавшись, не взглянув на нее, скрылся в сопровождении старшины за дверью.

— Ну что ж, — сказал я и, пройдя к столу, снял шапку. — Чай готов. Может быть, хозяйка пригласит на стаканчик.

Нюра попробовала улыбнуться.

— Садитесь, пожалуйста.

Зябко скрестив на груди руки, она отошла к печке и прислонилась к ней.

Я сел.

Трудию, конечно, догадаться, о чем она думала в этот момент. Во всяком случае, чувствовала она себя достаточно неловко. И вряд ли судьба Зудова беспокоила ее сейчас. Я спросил.

— Вы что же, замуж за него собираетесь?

Нюра повела худеньким плечиком и хмыкнула. По-видимому, ей не терпелось доказать свою непричастность ко всему, что здесь произошло.

— Нужен он мне...— проговорила она с явной недоброжелательностью по отношению к Зудову.

— Почему же тогда приглашаете?

— А я не приглашала. Сам пришел...

«Что же тянет сюда Зудова?»— думал я, разглядывая довольно убогую обстановку комнаты: две бумажные розы сомнительной свежести, засунутые за плакат о пользе сберегательной кассы, аляповатый клеенчатый коврик над кроватью с изображением какой-то целующейся пары на фоне коричневых деревьев и бледно-розового замка. Все это достаточно говорило о примитивных вкусах хозяйки. Зудов же казался мне более развитым, более разборчивым... И все-таки он ходил сюда, даже самовольно отлучаясь из части... Да, есть на свете почти необъяснимые явления. Безусловно, ни о какой дружбе, а тем более любви, здесь не могло быть и речи.

На подоконнике мое внимание привлекла искусно выпиленная из толстой фанеры рамка для фотографии. Затейливый узор, иззаурядное мастерство. Эта рамка никак не гармонировала с общим стилем комнаты.

Нюра перехватила мой взгляд и брезгливо скривила губы.

— Можете взять. Подумаешь, подарок. Барахло всякое...

Она явно боялась меня и твердо решила во избежание каких-либо неприятностей отмежеваться от Зудова.

На всякий случай я уточнил.

— Значит, это он вам подарил?

— Он, он. Не иужию мне. Забирайте.

Я встал и надел шапку.

— Вот что, Нюра,— проговорил я внушительно.— Советую серьезней относиться к своим знакомствам. То же самое я постараюсь объяснить и Зудову.

Нюра промолчала.

— Вот так! Прощайте.

...В тот же вечер я доложил о случившемся командиру части. Мы долго с ним говорили и нашли, как мне кажется, правильное решение.

9 марта.

Я не наказал Зудова в тот вечер. Не вызвал его к себе и на другой день. Со стороны могло показаться, что ничего не произошло. Но Зудов, как я понимаю, не мог отделаться от щемящего чувства неизвестности.

Раньше все было просто. Он нарушал дисциплину. Его распекали по всем правилам. Объявляли внеочередные наряды или арестовывали. Словом, все шло обычным порядком. Теперь же все резко переменилось. Во-первых, Зудов не мог не понимать, что допустил грубейший воинский проступок, но, неизвестно почему, никто не кричит на него, никто не наказывает. Во-вторых, в отделении разведчиков, в котором числился Зудов, во всей батарее не нашлось ни одного человека, кто хотя бы взглядом выразил Юрию симпатию или сочувствие.

Шила в мешке не утаишь. Все войны отлично знали, что Зудов ходил в самовольную отлучку. Неведомо откуда знали они и о бесславном завершении этого похождения. Я сам краем уха слышал, как солдат Сизов — наш батарейный весельчак — живо описал эту историю в таких подробностях, каких и не было на самом деле. Дружный хохот прерывал каждую фразу Сизова. Трамвайная кондукторша в его переложении выглядела чуть ли не гоголевской Солохой, а сам Юрий смахивал на того дьячка, который искал спасения за ее юбкой.

Надо полагать, не только я, но и Зудов слышал все это.

Он уже не мог отделаться от мысли, что где-то за его спиной сгущаются тучи — решается (и, видимо, совсем необычно) вопрос о наказании. А рядом потешались солдаты, повторяя на все лады его имя. Положе-

ние, прямо скажем, было не из приятных. За сутки Юрия так перевернуло, что трудно было узнать в нем прежнего самоуверенного Зудова. Он побледнел, щеки ввалились.

Сержант Подгорный доложил мне, что Зудов почти всю ночь не спал. Несколько раз поднимался, уходил в уборную и там курил...

На следующий день я был в городе, покупал подарки своим женщинам к 8 марта. Аннушке — отрез на платье, малышке — большую куклу с закрывающимися глазами.

В магазине случайно столкнулся с Нюрой. Она шла об руку с каким-то пестро одетым парнем и громко смеялась, но, заметив меня, вздрогнула, сделала вид, что не узнала, и поспешила затеряться в толпе...

Вечером в клубе состоялся концерт. Личный состав моей батареи был в зале. Ребята аплодировали горячо и задорно нашим артистам из коллектива художественной самодеятельности. Настроение у всех было праздничное.

Подошел капитан Никифоров. До него, без сомнения, тоже дошел слух о проступке Зудова. Я это сразу почувствовал.

— Как жизнь, капитан? — осведомился он, улыбаясь.

— Так себе, помаленьку... — ответил я спокойно.

— Что-то не вижу среди твоих орлов моего бывшего подопечного. Не заболел ли? — с деланной заботливостью спросил он.

Я принял его тон и сказал сочувственно:

— Ты угадал, Зудов болен.

— Жаль, жаль! Как же это ты не досмотрел за парнем? А? Наверное, грипп?

— Что-то вроде.

— А сколько суток, если не секрет, дал ему на выздоровление?

Намек, как говорится, был достаточно лобовым.

— Видишь ли, — ответил я, пристально глядя на Никифорова. — Как прежний лечащий врач ты, мне кажется, плохо знал историю болезни своего пациента, прописывая ему одно и то же лекарство. А как известно, это вырабатывает в организме невосприимчивость к лечению. Поэтому я несколько изменил рецепт...

В моем ответе, возможно, было много чепухи, с чисто медицинской точки зрения, но с педагогической — вряд ли. Никифоров, во всяком случае, понял, что я хотел сказать, и, проглотив пилюлю, снова улыбнулся, как ни в чем не бывало.

— Никогда не подозревал в тебе таких глубоких знаний. Желаю успеха, — Никифоров подчеркнуто вежливо поклонился и отошел.

А Зудова действительно не было в зале. Перед самым уходом в клуб Сизов при всех ребятах осведомился у Юрия, послал ли он поздравительную телеграмму своей очаровательной кондукторше. Зудова буквально затрясло. Он еле сдержался. Прошел, съездившись, мимо солдат и уединился в комнате политпросветработы.

Я не сделал Сизову замечания. Но, отозвав в сторону сержанта Подгорного, приказал не спускать глаз с Зудова. Затем зашел в комнату политпросветработы.

Зудов стоял лицом к окну, но, услышав скрип двери, повернулся.

— Возьмите это изделие, — сказал я и поставил рамку для фотографии на стол. — Ваша знакомая не оценила подарка и без особого сожаления возвращает...

Юрий быстро подошел к столу, взял рамку, сжал ее, и она с хрустом рассыпалась на кусочки. Затем он опустил руки по швам и вызывающе посмотрел прямо на меня.

— Отлично, — произнес я, выдерживая его взгляд. — В клуб можете не ходить. А этот мусор, — я указал на обломки рамки, — уберите... Впрочем, что касается меня, то я очень высоко оценил ваше умение выпиливать... Возможно, что оно поможет нам со временем еще лучше оформить хотя бы эту комнату.

Сколько противоречивых чувств я прочел в эти минуты на лице Зудова, сколько переживаний! Но удержал себя от дальнейшего разговора и вышел.

10 марта.

В два часа ночи полк был поднят по тревоге. Сильнейший снегопад парализовал работу соседней железнодорожной станции. Нам было приказано расчищать пути.

Вся территория станции была залита светом прожекторов. Снега нанесло столько, что казалось, у вагонов нет колес, просто выстроились на белой равнине ровные улицы стандартных маленьких домиков.

Снегоочистители пробивали дорогу на главной магистрали, а нам надо было воевать со снегом вручную на запасных путях.

Быстро вооружились лопатами, распределили участки. Отделению Подгорного я приказал расчищать снег у депо и поворотного круга.

Фронт работы батареи оказался довольно широким. Только перед утром я пришел снова к депо, чтобы проверить, как гудят солдаты, и увидел такую картину. Все отделение, в том числе и сержант Подгорный, сложив лопаты, отдыхало, и только один Зудов продолжал отбрасывать снег. Оказывается, Подгорный каждому солдату дал определенное задание и все уже закончили работу. Участок был расчищен от снега, и осталось метров десять нетронутой снежной целины возле самого поворотного круга. Там и работал Зудов.

По всему было заметно, что он выбился из сил. Может быть, сказались волнения последних дней, бессонные ночи. Даже лопату он не мог уже крепко держать в руках.

Я видел, как Юрий, зачерпнув снег, не сумел его отбросить. Лопата вывернулась, и снег упал у ног. Зудов снова нагнулся, снова подобрал снег и опять не донес его до места.

— Почему не поможете Зудову?— спросил я сержанта.

— Пытались, товарищ капитан,— ответил Подгорный.— Он даже слушать не захотел. Сам, говорит, управлюсь.

Я поднял лопату и подошел к Зудову.

Он взглянул на меня и опустил глаза.

— Подгребайте-ка снег, а я буду отбрасывать.

Зудов ничего не ответил и стал подгребать снег. Работа закипела.

Подошел Подгорный.

— Разрешите помочь, товарищ капитан?— спросил он.

— Помогайте!

Отделение дружно кинулось на последний сугроб. Замелькали лопаты.

Зудов вдруг выпрямился и, спотыкаясь о шпалы, быстро пошел к депо.

Подгорный хотел было окликнуть Юрия, но я удержал сержанта, воткнул лопату в снег, пошел следом за Зудовым.

Нашел его в депо. Он стоял, прислонившись спиной к холодной закопченной стене, и тяжело дышал. Шапка сдвинулась на затылок, мокрые волосы прилипли ко лбу. Лицо было перекошено, как от боли. Увидев меня, Зудов медленно отстранился от стены и хрипло произнес:

— Делайте, что хотите, товарищ капитан... Не могу так больше!.. Не могу!

— Прежде всего приведите себя в порядок, — сказал я. — А вечером, после ужина, зайдете ко мне...

* * *

И вот мы снова сидим в моем кабинете. Через дощатую дверь доносится глухой голос Николенко, пересчитывающего саперные лопаты. Завтра выход на тактические учения, и старшина готовит имущество.

Зудов сидит, наклонив голову, водит пальцем по колену, вырисовывая какой-то замысловатый узор, и тихо роняет слова.

— Сам не знаю, товарищ капитан, почему мне хотелось идти поперек. Сейчас понимаю, что глупо... неверно поступал... Мать говорила «пропащий», здесь говорили «пропащий». А во мне бродит что-то... Порою обидно, а порою зло берет, такое зло, всем насолить хотелось... К Нюрке потому и пошел, что ласковое слово услышал. Может, и не от сердца сказала, по-привычке, а ласково... Теперь я все понял, товарищ капитан. Хочется мне человеком быть, чтобы уважали...

Он поднял на меня глаза, грустные и честные.

— Верю вам, Зудов,— сказал я негромко.— Верю!.. По закону за совершенный проступок я мог бы вас арестовать. Но, учитывая, что вы искренне раскаялись, заменяю гауптвахту двумя нарядами вне очереди.

Зудов поднялся и даже повеселел как будто.

— Слушаюсь!

Я подошел и, хотя это не положено при таких обстоятельствах, протянул ему руку.

— Последние два наряда, Зудов.

— Последние! — ответил он и улыбнулся, совсем как мальчишка, доверчиво и смущенно.





А. ГОЛИЦЫН

ПАТРУЛИ

Хоть туч и нет, но слышен грохот грома,
Гремит он не из тучи, а с земли:
Со взлетной полосы аэродрома
Взмывают ввысь стальные патрули!

Растаяли, звеня, в лучах рассвета,
Блеснув на солнце огоньками звезд,
Как часовые, в синей дали где-то
Под небосводом заступив на пост.

УТРО

Опустились тучки-парашюты
За далекий синий горизонт,
Загорелось, загремело утро,
Словно там за горизонтом — фронт!

Набежал и кинул ветер резкий
Гул турбин к ангару, будто гром,
Сделав четкий круг над перелеском,
За звеном растаяло звено.

Финишер застыл с флажком сигнальным
У начала взлетной полосы.
Проводив машины в вылет дальний,
Подполковник смотрит на часы.

Командир волнуется немного
И сжимает карандаш в руках:
Тех, кто нынче мчится в облаках,
Вывел он на светлую дорогу.





П. НЕФЕДЬЕВ

ДОРОГА К СЕРДЦУ

О черк

Мне, офицеру штаба округа, по долгу службы часто приходится бывать в летних лагерях. Однажды, возвращаясь со стрельбища в расположение артиллерийского полка, довелось наблюдать довольно необычную картину: между редкими высокими березами не спеша, вразвалку шел огромного роста солдат, сопровождаемый дневальным; пройдя несколько шагов, солдат останавливался, медленно поворачивался назад, монотонно произносил:

— Который раз говорю — не ходи за мной, как теленок, не срами своим сопровождением, дорогу и без тебя найду!

Потом так же медленно поворачивался, шел дальше. Шел и сопровождающий, держась от солдата на почтительном расстоянии.

Заметив меня, арестованный снова обернулся и тихим, умоляющим голосом сказал:

— Не ходи, будь другом, не сопровождай, никуда я не денусь.

Я подошел к солдату, поздоровался. Он был выше меня на целую голову. Воспаленные его глаза смотрели на меня сверху с огорчением. Это был поистине детина. Все на нем казалось явно малым: обшлага

гимнастерки находились совсем не на месте, туго облекая руки; верхние пуговицы воротника расстегнуты и висели на толстых нитках; брючные наколенники находились выше колен, а из коротких сапожных голенищ виднелись разрезы шаровар.

«Вот это богатырь»,— подумал я.

— Как звать и величать?— неофициально спросил я солдата.

— Рядовой Медведев, звать Михаилом. А по батюшке Иванович,— так же неофициально ответил солдат.

— Заработал, значит?

— Заработал, пятерку получил.

— За что же?

Медведев замаялся, переступил с ноги на ногу. Под его сапогами треснули сухие ветки.

— За дело, конечно, не зря же... Одному бы идти— еще туда сюда. А с ним (он кивнул на дневального)— терпенья нету. Легкое ли дело через весь лагерь под конвоем шагать? Глаза ни на что не глядят. Говорю ему — не ходи. Дорогу найду. Ходил уже, знаю...

— Значит, не первый раз?

— Третий. Первый раз двое суток отбыл. Потом трое. А теперь на пять иду.

— Этак все лето на гауптвахте пробыть можно?

Медведев чуть заметно улыбнулся. Потом сказал.

— Выходит, так. Хлопцы дела делают, а я на губе отсиживаюсь...

На этом мы и расстались. Всю дорогу меня не покидали размышления о Медведеве. Было ясно, что человек он разболтанный. Ведь не будет же командир батареи систематически наказывать человека из-за какой-либо неприязни к нему. Арест — серьезный шаг. И, чтобы сделать его, нужны веские основания. И их не может не быть у командира. В то же время в суждениях Медведева проскальзывали здоровые нотки. Он тяготился своим положением, наверное, искал выхода, но не находил его.

С командиром пятой батареи капитаном Банниковым я встретился в тот же день, под вечер. Учеба уже закончилась, и мы могли подробно обо всем поговорить.

Я спросил капитана, что он может сказать о рядовом Медведеве.

— Это же невыносимый человек, товарищ подполковник. Разгильдяй первой марки. И как таких земля носит! Ни с чем не считается, упрямый, как бык. За чем только таких в армию берут!

Капитан волновался. Он откусывал промокший мундштук папиросы, сплевывал небольшие обрывки, как шелуху семечек.

— Невыносимый, говорите?

— Именно, товарищ подполковник. Прихожу как-то в батарею — старшина докладывает, что Медведев на дивальстве уснул. «А что, говорит, тут страшного. Кого, говорит, нам бояться в своей стране — шпионов, диверсантов? Они, говорит, не дураки, чтобы ночью по лагерю ходить». Вы посмотрите, какое разгильдяйство!.. Приказал старшине арестовать Медведева на трое суток... Батарея имела все шансы за первый месяц лагерной учебы выйти на первое место в полку. А тут такой сюрприз... Позавчера приказание командира расчета не выполнил. Спрашиваю его: «До каких пор вы будете разгильдяйствовать и дисциплину нарушать? Ни стыда, ни совести, говорю, у вас нет! А он и ухом не ведет. «Ничего, говорит, особенного я не сделал». Пришлось наложить арест... Скажите, товарищ подполковник, что с таким человеком делать?

— Вам, капитан, никогда не приходилось разговаривать с Медведевым?

— Что с ним разговаривать, все равно бесполезно. Вот посидит под арестом, так узнает, что такое служба... С такими не разговаривать надо, а требовать, да так, чтобы дрожь до пяток пробирала...

Капитан вдруг быстро встал и, извинившись, отошел к палаткам.

— Это что еще такое?! — слышался его громкий голос. — Немедленно убрать, разгильдяи!..

Я подумал, что слово «разгильдяй» — любимое в лексиконе капитана: он употребляет его без меры, употребляет и в единственном, и во множественном числе, не задумываясь над тем, к месту оно сказано или просто по привычке. Прилипчивым и оскорбительным показалось мне это слово.

Капитан вернулся, и мы смогли продолжить нашу

беседу. Волнение в нем еще не улеглось, и он снова закурил.

— Даже мусора не могут убрать как следует, несли и рассыпали.

— Вот вы о требовательности говорили, товарищ капитан. Требовать надо. Это, пожалуй, самое главное в работе командира. Но требовательность не может жить без своей сестры, которую мы называем заботой, заботой о людях. Требовательность сама по себе нередко превращается в голое администрирование. В сочетании с заботой о людях, она, пожалуй, ни с чем не сравнимая сила. Иной солдат переживает чувство обиды не потому, что требуют. Он удручается тем, что о нем забывают. Да, именно, забывают как о человеке, с его чувствами и собственным достоинством.

Банников промолчал. И не понятно было, согласен ли он со мной. Скорее всего — не согласен. Но я и не пытался убедить его и тем более навязывать свое мнение. Хотелось лишь вникнуть в суть дела, понять сложившиеся отношения.

Я спросил капитана, не может ли он рассказать, где Медведев родился, чем он до призыва в армию занимался, кто его родители?

— Да, рассказывали о нем... Кто это мне говорил?.. А, вспомнил, сержант Колосков, земляк Медведева. Оба они из Сталинградской области. Колосков рассказывал, что Медведев долгое время беспризорничал. Да это и похоже. Потом учился, работал... Мне кажется, — заключил капитан, — вольной жизнью жил человек, не был в мялке, как говорят. Вот теперь и выкидывает фортели разные... Если можете, товарищ подполковник, помогите избавиться от Медведева. Пусть откомандируют его из батареи. Видеть его не хочу!

Я посоветовал капитану не горячиться. Горячность вредна в любом деле, а в военном — тем более. Мудрое ли дело отчислить солдата? Приказ — и делу конец! Но, выходит, расписался человек в собственном бессилии и немощи...

— Сдается мне, товарищ капитан, что с Медведевым надо поработать, повозиться... Попробуйте-ка потолковать с ним не языком сурового начальника, а

языком отца. Может быть, в этом путь к сердцу Медведева... Кстати, попытайтесь переодеть солдата. Сапоги, гимнастерку, брюки по росту подберите.

Капитан не сказал мне при этом ни обычного в таких случаях «слушаюсь», ни «будет сделано». Да и не было в этом необходимости.

— А знаете, товарищ подполковник, — обратился капитан, — не поговорить ли нам с земляком Медведева, сержантом Колосковым?

Я искренне обрадовался этому предложению, видя в нем хорошее предзнаменование. Капитан угадал мои мысли. Мне теперь нужен был именно сержант Колосков.

• • •

Колосков оказался довольно разговорчивым и рассудительным человеком. То, что рассказал он нам о Медведеве, невозможно забыть. Оказывается, Медведев — круглый сирота. Его отец в июле 1941 года ушел на фронт и в первых же боях сложил свою голову. В воображении шестилетнего Миши отец был непобедимым. Высокий, сильный, он казался Мише великаном, о которых пишется в сказках. Миша думал, что такого богатыря не возьмет ни пуля, ни бомба. И вот — на тебе! Отца не стало. Несколько дней видел мальчик слезы матери и порой, не вытерпев, забирался на чердак дома и подолгу плакал сам. А вскоре, при отступлении, Миша потерял и мать. Воспринимчивая детская память навсегда запечатлела разбойные налеты вражеских стервятников на колонны отступавших людей, треск пулеметных очередей, потрясающие разрывы бомб. При очередном таком налете Мишина мать бросилась с дороги в сторону и упала, как подкошенная...

Все годы войны Миша с такими же, как он, осиротевшими ребятами скитался по разным местам. Беспризорная жизнь глубоко изранила детскую душу, и эти раны долгие годы давали о себе знать, проявляясь в беззаботности, непослушании, упрямстве, болезненном отношении даже к полезным советам. Миша забыл о родительском внимании и ласке, стал черствым, раздражительным мальчишкой.

Когда война кончилась, Медведев некоторое время находился в детдоме. Потом работал учеником в небольшой сапожной мастерской. Мастер, с которым ему пришлось работать, был резким и грубым человеком. Он никогда не интересовался, как Миша живет, что делает в дальнейшем. Мастер знал одно — побольше заработать.

Так прошли годы до призыва в армию.

Вполне взрослым Михаил Медведев почувствовал себя только на медицинской комиссии. Военный врач, низенький и полный, внимательно осмотрев новобранца, сказал: «Медведев, говоришь? Похоже, похоже, детинушка. Добрый солдат будет из тебя. Годен по всем статьям. Иди, брат, служи верой и правдой!»

С мыслью «быть добрым солдатом» Медведев прибыл в часть.

— На службу в армии Медведев большие надежды возлагал, — продолжал Колосков. — Теперь, говорит, развернись, покажу свою силу... А вышло не так, как думал. С первых дней пошло все наоборот, шиворот-навыворот. Кто в этом повинен — сказать трудно... Помню один случай, после которого Медведев стал неузнаваем. Шли мы в парк на уборку. Впереди Медведев. Шагает редко, размашисто, шаг широченный, по метру. Трудно к такому шагу пристроиться. Старший сержант Мухин подошел к Медведеву и со злостью сказал: «Эй, ты, дылда, отостил ноги, а управлять ими не умеешь. Иди как следует». Медведев крепко обиделся на эти слова. Ничего не сказал, но как-то сразу осунулся весь и посерел. И улыбка с лица его исчезла, и вялость в нем появилась, точно после тяжелой болезни. А тут этот случай с дневальством. Вздremнул, конечно, это ясно. Наказать надо было. Но так, чтобы Медведев понял, что правильно наказан. А он не понял, потому что толком ему никто не объяснил... Обида в человеке — что инфекция. Не обрати на нее внимания — она так разгуляется, что не сразу удержишь. Вот в Медведеве и сидит эта обида... Он все свое детство прожил без хорошего ласкового слова... И у нас такого слова не услышал...

Мне понравилась рассудительность Колоскова — искренняя, смелая и, как видно, правдивая. Я подумал: действительно, в жизни бывает так. Люди далеко

не одинаковы по своей восприимчивости. Одни на грубость не обращают никакого внимания. Может, по привычке. Другие возмущаются, выражают свою неприязнь к ней открыто и порой тоже грубо. Третьи воспринимают ее болезненно, даже теряются перед грубостью, ждут возможности хоть как-нибудь отомстить за нанесенную обиду.

Пока Колосков рассказывал о Медведеве, капитан не проронил ни слова, выкурил две папиросы. И когда кончилось это повествование, он глубоко вздохнул, словно хотел освободиться от какой-то невидимой тяжести, давившей его.

* * *

Служебные дела не позволили мне еще раз встретиться с капитаном Банниковым. На следующий день я был вызван в штаб округа. Вскоре пришлось уехать в один из отдаленных гарнизонов и пробыть там почти месяц. Время приближалось к осени, лагерный период закончился, и мысли мои о Медведеве, которые так неотступно преследовали вначале, постепенно отдалались, и я в конце концов забыл об этом солдате. Да это и не удивительно. Мы, штабные офицеры, мало касаемся подобного рода жизненных явлений. Нас интересует больше всего состояние дел в масштабе подразделений, частей в той или иной области боевой подготовки...

Как-то зимой вместе с газетами на мое имя принесли небольшой пакет в синем конверте. Вскрыв его, я немало был удивлен. Это писал капитан Банников. «Уважаемый товарищ подполковник!

Извините, что отвлекаю вас от важных дел. Но я не мог вам не написать. Ваш разговор со мной навел на многие размышления. Действительно, непонимание между людьми создает серьезные препятствия и в отношениях, и в работе. Почему оно возникает? Потому что мы, командиры, занятые по горло служебными делами, за общим числом людей не замечаем порой отдельного солдата. Чем он живет, о чем думает, о чем мечтает. Эта, можно сказать, вторая и очень важная сторона дела остается для нас подчас неизвестной. Помните, вы спросили меня о Медведеве? А я о нем

ничего путного не мог сказать. Если бы я знал о нем все, что положено мне знать, если бы я хоть раз поговорил с ним как старший товарищ, как друг, вам, наверное, не пришлось бы так долго убеждать меня.

После Вашего отъезда говорил с Медведевым. Ваши предположения оказались верными. Какая все же большая сила таится в живом слове, в товарищеском обещании. Я понял, что любого человека поднять можно при помощи этих средств. Медведев встанет на ноги. Точно говорю.

Спасибо, товарищ подполковник, за советы. Надеюсь, еще встретимся».

Свидеться нам довелось. Это случилось через год, когда мне снова пришлось быть в лагере. Дни стояли знойные, и только по вечерам западный ветер приносил прохладу.

На третий день своего пребывания в лагере я решил сходить на батарею капитана Банникова. Вот знакомая мне небольшая лощина, поросшая мелким кустарником, вот кудрявый березняк, а за ним по опушке небольшой густой рощи раскинулся лагерь артиллерийского полка. Перед фронтом полотняного городка, в артпарке стоят дальнобойные орудия. Их стволы, словно колодезные журавли, устремлены в небо. Меня поразила необыкновенная чистота в лагере. Все линейки посыпаны желто-красноватым песком. Белые палатки, ружейные парки и другие помещения в сочетании с зеленью и цветами радовали глаз. У полкового клуба мое внимание привлекла Доска отличников. Один портрет показался очень знакомым. Это был Медведев. Из текста под снимком я узнал, что рядовой Михаил Медведев — отличник учебы и службы, инициатор социалистического соревнования за чистоту лагерного городка. Кратко и скупно рассказывалось и о других хороших поступках молодого солдата, который проявил себя и в караульной службе, и в огневой подготовке, и в общественной работе.

Неужели произошло то, о чем когда-то мечтал Медведев, — «быть добрым солдатом»?

Дежурный по батарее сказал мне, что весь личный состав находится в парке, и я отправился туда. Капитан Банников, увидев меня, поспешил навстречу. Мы поздоровались.

— Давненько не были у нас, товарищ подполковник,— сказал капитан. И, не дождавшись моего объяснения, сообщил, что сейчас состоится комсомольское собрание батарейной организации, на котором будет разбираться заявление Медведева.

— Тот самый Медведев вступает в комсомол?— спросил я.

— Да, тот самый Медведев,— подтвердил капитан.

Когда мы подошли к артиллеристам, они дружно встали. Медведев сразу обнаружил себя своим ростом — высокий, стройный, на целую голову выше своих товарищей.

Собрание началось. После обычных формальностей, какие бывают в таких случаях, к столу подошел секретарь комсомольской организации, зачитал заявление Медведева и анкетные данные. Потом слово было предоставлено Медведеву. Он коротко пересказал свою жизнь. Казалось, вот и все. Но Медведев не уходил. Видно, он хотел еще что-то сказать.

— А последний год моей биографии,— заговорил он после продолжительной паузы,— у всех у вас на виду. Вначале служба моя неладно шла. Несколько раз нарушал воинскую дисциплину. Взыскания за это получал серьезные. Вы можете спросить: почему так вел себя? Много думал над этим вопросом, ломал голову. И вот что могу сказать. Перво-наперво, сам виноват. Не сумел побороть в себе обиду, сидела она во мне, как заноза. Виноваты и вы, мои товарищи. Обиду нанес мне Мухин. А вытравить ее сразу никто не помог...

Дело это прошлое, давнее. Можно было бы и не говорить. Но сегодня, в такой день, надо сказать все.

Мне думалось, что вот сейчас раздадутся голоса: «все ясно», «есть предложение принять». Проголосуют — и делу конец. Я ошибся. На собрании долго шел откровенный и довольно поучительный разговор.

Небольшого роста солдат, выступивший первым, сказал, что по своему поведению Медведев уже давно находится в среде комсомольцев, что у него только не было комсомольского билета.

Потом выступил старший сержант Мухин.

— Что правда, то правда. Нанес я обиду Медведеву. Признаюсь в этом. И верно говорится, что язык

мой — враг мой. Иной раз погорячишься и болтнешь такое, что и самому потом тошно становится. Но так было тогда, кажется, в последний раз. Медведев — мой подчиненный. И если отбросить первые дни его службы, все остальное время он был примерным солдатом. Кто у нас в батарее самый сильный и выносливый? Медведев. Кто лучше всех умеет беречь оружие? Медведев. А кто о товарищах не забывает в трудную минуту? Опять же Медведев. Я за то, чтобы принять такого человека в наши комсомольские ряды.

— Мне дайте слово! — поднимаясь с места, сказал рядовой Битуев. Битуев (как узнал я позднее) по национальности бурят и в своих суждениях был прямолинеен и резок.

— Скажу так, — продолжал Битуев, — Сначала Мишка был шибко плохим. Все время на губу ходил. Стыдно, а ходить надо было, куда денешься, раз наказан. Теперь так нет. Мишка хорошим солдатом стал. И как много он мне помогал! И всем нам помогал. Если бы не Мишкина сила, долго нам пришлось бы сидеть у застрявшей пушки, когда мостик провалился. Как навалился Медведев, уперся — и вышла наша пушка на дорогу... Вот сила, так сила! Примем его в комсомол, пусть шагает с нами вместе.

Выступил на собрании и капитан Банников.

— Товарищи комсомольцы! Хорошо, что говорили вы здесь откровенно. Так и должно быть в комсомольской семье. Если мы будем таить свои мысли, чувства друг от друга, то никогда не найдем общего языка, и всегда у нас будут недомолвки. Именно так произошло с Медведевым. Он затаил чувство обиды. А мы не сумели сразу вникнуть в его переживания. К чему это привело, вы знаете. Пусть прошлое послужит для всех нас хорошим уроком...

Теперь о наших делах. Если бы вы меня спросили, как нам надо жить, учиться, служить, я бы ответил: учитесь и служите, как Медведев. И тогда первое место в полку будет принадлежать нам... Согласны ли со мной, товарищи?!

— Согласны! — хором ответили комсомольцы.

За принятие Медведева в комсомол голосовали все присутствующие. Когда председатель закрыл собрание, солдаты подошли к Медведеву, чтобы поздравить

его. Сержант Колосков, крепко пожав руку Медведеву, вдруг неожиданно обхватил его за шею.

— А ну, ребята, прижмем Медведя к земле!

Несколько солдат повисли у него на плечах. А Медведев, расставив ноги, стоял, не сгибаясь под тяжестью.

В этой солдатской шалости проявилось большое чувство дружбы, искреннее уважение к человеку, к товарищу.

Меня тронула эта забавная картина. Я подошел к Медведеву и тоже поздравил его. Теперь и я почувствовал медведевскую силу. В железной его руке моя рука показалась мне вялой и малосильной. И с огорчением пришла мне в голову мысль: «Пора посерьезнее заняться спортом».

...На этот раз я покидал батарею Банникова не с чувством досады, как год назад, а с чувством уверенности, в том, что Медведев и Банников поняли друг друга, что между ними на деле сложились те самые отношения, которые порождают крепкое войсковое товарищество.





ИВАН ГРИБУШИН

ПОГОНЫ

На гимнастерку пристегнул погоны,
Стараясь не погнуть их, не помять.
И вдруг припомнил, как мне на перроне
На плечи руки положила мать.

Гудел гудок, в вагоны нас зовущий,
И мать одно лишь мне могла сказать:
«Пиши скорей, служи, сынок, получше»,—
И строго посмотрела мне в глаза...

Пусть в странах, океаном отделенных,
Грозятся пушечные короли,—
Мы помним, что на плечи нам погоны,
Как будто руки Родины, легли.





В. САМСОНОВ

САМОЛЕТ ИДЕТ НА ПОСАДКУ

Р а с с к а з

В тот день у начальника поста ВНОС старшины Хорошина и летчика гражданского воздушного флота, участника Отечественной войны Николая Слесарева были основания по-разному расценивать погоду.

Поглядывая из окошка радиолокатора на небо, которое плотно заволокли серые тучи, старшина Хорошин искренне радовался возможности тщательно проверить и вычистить аппаратуру, которая давно уже требовала этого. Радиолокатор на соседнем посту, который подменял на время профилактики пост Хорошина, был уже довольно поношенный и частенько «капризничал». Поэтому Хорошину приходилось иногда нести дополнительное дежурство, как говорится, выручать соседей.

— Можете делать профилактику, — передали с командного пункта части и предупредили, чтобы радиолокатор к сроку был в полной боевой готовности.

— Слушаюсь! — прокричал Хорошин в телефон.

Иное чувство вызвал начавшийся дождь у Николая Слесарева. Он вел пассажирский самолет из Москвы в город К. Непогода застала самолет на полпути. Спер-

ва на лазурном небе стали появляться кучевые облака, потом они как-то незаметно слились в серое сплошное поле.

Пассажиров было немного — всего шесть человек, не считая трехлетнего карапуза, сладко спящего на коленях у матерн. В начале пути этому малышу было все интересно. Он смотрел в окно, вслух выражая свой восторг. Потом мальчик немножко вздремнул, а когда проснулся, то земли внизу не увидел.

— Мамоchка, а где же земля? Мы ее пролетели? Да, мамочка? — удивленно спросил он у обеспокоенной матери.

— Она под тучками, Юрочка. Ты ее скоро опять увидишь, — успокоила она сына, тревожно поглядывая в окно, где под крылом самолета плыла грязная каша облаков. Юрик вздохнул и снова задремал на теплых коленях матерн.

Остальные пассажиры тоже беспоконились. Их опасения несколько рассеял второй пилот.

— Самолет идет своим курсом. Скоро будем на месте, — объявил он, появляясь в дверях, и весело, как ни в чем не бывало подмигнул открывшему глаза Юрику.

По стеклам били косые капли дождя. Стало сумрачно и сыро. По расчетам Слесарева, через несколько десятков километров должен быть аэродром. Но сквозь плотную завесу тумана землю не было видно. Снижаться опасно. Увеличив обороты, самолет пошел в высоту. И здесь случилось то, о чем меньше всего думал Слесарев, — перестал работать радиокompас. По спине Николая пробежал холодок, и так сжалось сердце, что стало трудно дышать.

Однако Слесарев тут же овладел собой. Он повел самолет на снижение. Теперь ему во что бы то ни стало нужно было увидеть землю, чтобы ориентироваться. Но все усилия оказались тщетными. Земли увидеть не удавалось — настолько плотным был туман. Тогда, чувствуя ответственность за жизнь пассажиров и экипажа, Николай радировал на аэродром, который должен был его принять: «Потерял ориентировку, радиокompас не работает».

...Пост ВНОС старшины Хорошина считался одним из лучших в части. И это было вполне заслуженное

мнение. Радиолокатор здесь всегда работал безотказно и точно, в чем была немалая заслуга старшины. Хорошин сумел привить солдатам горячую любовь к прекрасной боевой технике.

Сейчас личный состав поста вместе со старшиной чистил и проверял блоки, радиолампы и узлы, не спеша, с чувством и толком. Особенно кропотливо и вдумчиво трудился ефрейтор Гранкин.

— В такую погоду самолеты не летают. Времени много, успею вычистить нашу коробочку, как часики,— приговаривал ефрейтор, осматривая блок.

Маленький, худощавый, с добродушными, удивительно синими глазами Гранкин был на редкость медлителен. Он любил все делать основательно, на совесть. Гражданская профессия его была — часовых дел мастер, и при разговоре у него часто вылетали слова вроде: «У нас, часовщиков», «Работает, как часики».

Радиолокатор он с первого же дня стал называть «коробочкой», произнося это слово с любовью и уважением. Постепенно все на посту стали называть радиолокатор тоже коробочкой.

Оператором же Гранкин был прекрасным. Там, где другой нервничал, торопился, он все делал не спеша, обстоятельно, со знанием дела. За это и ценил его старшина.

Рядом с ефрейтором Гранкиным, у окошка, мурлыкая себе под нос, чистил электрические моторчики сержант Котов. В его могучих руках маленькие моторчики казались детскими игрушками. Тем не менее чистил он их очень аккуратно, ловко и умело. Сам старшина Хорошин, вооружившись измерительным прибором, проверял параметры вычищенных блоков.

Погода продолжала портиться. Маленькие окошки радиолокатора тускнели, слезились.

— К телефону вас! — крикнул из дальнего угла самый молчаливый из всех рядовой Завражный. Старшина взял трубку.

— Вот тебе и не спеша, — укоризненно заметил сержант Котов Гранкину. — Наверное, конец нашей профилактики, — указал он глазами на ставшее вдруг суровым лицо старшины.

— Прекратить чистку, собрать радиолокатор! —

негромко приказал старшина, опуская трубку.— Пассажирский самолет терпит бедствие,— объяснил он дрогнувшим голосом.— Потерял ориентировку и блуждает. Мы должны навести его на аэродром, если, конечно, успеем собрать. Подменяющий нас радиолокатор вышел из строя, и командир приказал обеспечить сопровождение самолета нам. Вы понимаете, что нам нужно спешить.— Старшина кивнул на груды разложенной аппаратуры.

— Так чего же мы ждем! — вскочил с места взволнованный Гранкин.

* * *

И Слесарев, и второй пилот прекрасно понимали, какая опасность грозила машине. С аэродрома передали, что через некоторое время им поможет один из радиолокаторов, но пока он еще не готов к работе... надо держаться в воздухе.

— Иди к людям,— сказал Николай второму пилоту.— Они уже догадываются, что мы в опасности. Ведь по времени давно пора быть на аэродроме.

Второй пилот шагнул к двери.

— Только, смотри,— никаких объяснений. Совершаем, мол, особый маневр и... побольше шуточек...

Когда пилот вышел, Николай долго и пристально смотрел на плывущую под носом корабля темноту-серую пелену. Потом перевел взгляд на доску приборов. Горючее подходило к концу.

* * *

Воины поста работали молча и сосредоточенно. Только иногда тишина нарушалась командами: «Соединяй!», «Включай!». Хорошину ни разу не пришлось сделать кому-либо замечание: операторы работали с предельной быстротой. Беспокоило его другое: после разборки и чистки блоков радиолокатор мог «закапризничать» и, кто знает, сколько потребуются времени на его регулировку. Впрочем, опасения оказались напрасными. Радиолокатор не подвел и на этот раз.

— Включайте же, включайте! — нетерпеливо выкрикнул Гранкин из-за шкафа, где он подключал по-

следине кабелн к блокам.— Не бойтесь, я сейчас вылезу.

— Молодцы! — невольно вырвалось у старшины, хотя больше всего на свете он не любил хвалить своих операторов, считая, что похвалами можно лишь испортить человека.

Время, за которое полуразобранный на блоки радиолокатор был собран, включен и проверен, было поистине рекордное...

И вот в густом тумане высокая антенна радиолокатора делает оборот за оборотом, нащупывая невидимый заблудившийся самолет. Второй, третий, четвертый оборот, а экраны индикаторов по-прежнему чистые. У индикатора дальности сержант Котов. Острый взгляд немигающих глаз его изучает малейшее изменение картины шумов на развертке индикатора. Ему нужно отыскать затерявшийся в шумах импульс, отраженный от блуждающего самолета. Отыскать во что бы то ни стало!

Рядом за индикатором кругового обзора, как обычно, спокойно сидит ефрейтор Гранкин, но на этот раз спокойствие его чисто внешнее. Выдают руки, чуть-чуть вздрагивающие, сжимающие ручки линейки дальности.

— Поиск произведен, цель не обнаружена, — доложил по телефону старшина.

— Не докладывайте, обождите, ведь должны же обнаружить, — шептал Гранкин, умоляюще скашивая глаза на старшину.

— Прекратить разговоры, — резко оборвал его старшина. — Продолжать поиск.

Напряженную тишину оборвал захлебывающийся от волнения голос сержанта Котова:

— Есть цель!

Маленький всплеск чуть-чуть выше уровня шумов мелькнул перед его глазами и исчез. Однако этого было достаточно. Антенна вздрогнула и, подчиняясь воле оператора, остановилась. Импульс от самолета снова появился, на этот раз уже более уверенный и яркий.

— Дальность сто двадцать километров! — определил расстояние Котов. Ефрейтор Гранкин облегченно вздохнул и спокойным голосом стал считать координаты самолета на командный пункт, где они превра-

шались в курс, нанесенный на карту. Оттуда координаты в виде команд передавались на самолет по радио. Словно зоркий глаз, радиолокатор следил за самолетом, и это давало возможность вести его на аэродром, поправляя малейшие отклонения от правильного направления.

Вскоре импульс от самолета стал сливаться с импульсом от местных предметов: самолет снижался, идя на посадку. Затем импульс пропал, потом еще несколько раз промелькнул и исчез совсем.

— Сел,— облегченно вздохнул старшина.

Радиолокатор выключили. Стало слышно, как по крыше стучит дождь. Вздволенные, радостные лица операторов красноречивее слов говорили о том, что они пережили.

Раздался резкий телефонный звонок. Старшина взял трубку и замер, прижимая ее к уху. Говорил командир части. По глазам старшины все ясно видели, что командир хвалит их.

— А сейчас с вами поговорит самый молодой пассажир самолета,— теплым голосом сказал командир, и Хорошин услышал, как он приказывал телефонисту на коммутаторе соединиться с аэродромом. Некоторое время в трубке что-то методически потрескивало, где-то глухо слышалась музыка, затем послышался женский голос:

— Ну, скажи, скажи же, Юрик! Не бойся! — уговаривала женщина кого-то. Вслед за этим приглушенный расстоянием детский голосок пролепетал:

— Дядя, спасибо!

Старшина поперхнулся и заморгал глазами. Надо было, наверно, что-то ответить, но он не нашел подходящих слов и почему-то приложил руку к головному убору.





С. ХАРЧЕНКО

У СМОЛИСТЫХ СОСЕН

Снова видно утром неба просинь
В сетке веток, что раскинул бор.
На прицел берет верхушки сосен
Солица луч, летящий из-за гор.

Тишина вокруг. Еще не жарко.
Пять минут — и прозвучит подъем.
Ходит часовой у стен ружпарка,
И стоит дневальный под грибком.

Да, у этих, у смолистых сосен
Дышится и легче, и бодрей...
Жаль, что все же увезет нас осень
В городок из летних лагерей.





А. ТРОФИМОВ

МАЙОР МАКАРЫЧЕВ

Р а с с к а з

Михаил Николаевич пошарил рукой под дощатым крыльцом, отыскивая ключ, куда Нина клала его обычно. Пальцы натыкались на щепки, гнутые гвозди, кусочки засохшей глины, но ключа не было. Макарычев разогнулся, раздраженно стряхнул приставший к рукаву мусор.

— Вечно эта история, черт бы побрал...

Майор достал портсигар, нервно размял папиросу и, кинув ее в подрагивающие губы, огляделся. Солнце стояло высоко. Дощатые офицерские домики, окруженные густым березняком, притихшим и безмолвным, были пустыни. Лишь в глубине леса, ближе к дороге, играли в войну ребяташки. Макарычев потер ладонью шуршащий щетиной подбородок и решительно подошел к окну, чтобы открыть его и, может быть, таким путем пробраться в свою комнату. И уже тут, увидев торчащее в щелке наличника кольцо ключа, вспомнил: жена предупредила, что ключ будет класть теперь только сюда. Майор, успокаиваясь, пожевал папиросу, не докурив, бросил ее в противопожарную бочку и открыл дверь.

Навстречу дохнуло приятной прохладой. Гладко струганный пол чисто подметен, на единственном окне

занавески, простенький, с облезшей краской стол накрят белой скатертью. На примитивно сложенной солдатскими руками плите рядом стояли кастрюльки и поставленная на ребро стопка тарелок. Бросив на кровать фуражку и ремень, Макарычев подошел к плите. Холодный борщ, подернутый желтоватой пленкой, чистый вареный картофель.

Майор вздохнул, присел на корточки перед дверцей печурки, взялся за лучины. Не хлебать же холодное!

Когда в комнату вбежала запыхавшаяся Нина, Макарычев стоял, отвернувшись, у шкафа и зубами вытеребивал из пальца занозу.

Нина поставила на пол сумку, притронулась к мужу. Встретив угрюмый взгляд, сникла, засуетилась у плиты.

— В военторг масло привезли... Вот и задержалась.

Вызывая аппетит, зашипело на раскалившейся сковороде масло, Нина повязала передник и стала нарезать вареный картофель, искоса поглядывая на мужа. Потрогав чайник и убедившись, что вода согрелась, она приготовила бритвенный прибор, присела рядом с Михаилом.

— Устал?

— Не особенно, Нина. Тебя вот жаль. Докопает работа. В перерыв отдохнуть бы надо, а ты — в очереди.

— Миша, — робко перебила Нина, — а дома одна я совсем изведусь. К библиотеке уже привыкла; к солдатам. Умные, начитанные ребята. Из твоего батальона много. Ефрейтор Тимкин — хороший ведь парень, верно?

Макарычев, соскребавший со щек намыленную щетину, неопределенно промычал. Нина прошла к плите, поворошила ижом картофель и продолжала:

— Это его затея — провести разбор книг о танкистах. Сегодня соберемся.

— Опять до отбоя?

Нина замолчала. Подавая флакончик с одеколоном, она пристально посмотрела на осунувшееся лицо мужа, на новые паутинки седины. Даже из брови завитком выбился белый волос. Жалостью сжало

сердце. Она положила руку на голову мужа и, заглядывая в глаза, сказала:

— Уволюсь я, Миша, ладно?

Макарычев встревоженно заморгал. Скрывая появившееся оживление, он заговорил:

— Не знаю, не знаю, что и сказать, Нина... Библиотека, конечно, никуда не уйдет. На зимние передем, легче будет. Все же город...

— Ну хорошо, я уйду из клуба,— печально произнесла Нина.

Кушали молча. Нина думала о своем, Макарычев же не находил слов: какие-то противоречивые мысли барахтались в голове. Разобраться в них сейчас было трудно. Молчание нарушила Нина.

— Миша, ты бы зашел сегодня в библиотеку. Ведь я в вашем деле ничего не смыслю. Ты очень занят?

— Не очень.

— Приходи, ребята рады будут фронтовика послушать.

— Им хватает времени меня слушать. Каждый день видимся... А некоторым бы не книжки, а встряску хорошую...

Нина не раз была случайным свидетелем нелестных отзывов о своем муже. Нельзя сказать, что солдаты не любили его, но и не питали особой привязанности. Угрюмый взгляд из-под лохматых бровей неразговорчивого майора отпугивал воинов, и все личное они всегда старались разрешить с замполитом.

...И все же майор Макарычев зашел вечером в библиотеку.

«Нечего до полночи засиживаться»,— раздраженно думал он по дороге.

«Амбразура», как в шутку называли солдаты окно, через которое ведется выдача книг, была прикрыта изнутри ставней. Но Нина была там. Он слышал, как она напевала вполголоса, перекладывала какие-то тяжелые книги.

Командир батальона только что беседовал с механиком-водителем сержантом Струковым. Сегодня пришел приказ о присвоении ему звания мастера вождения. Кажется, давно так просто и дружески не говорил Макарычев со своими подчиненными. Сер-

жант, радостный, шел с ним до самой библиотеки. Макарычев с удивлением узнал, что Струков один, «как перст», все родные погнбли во время войны, что осенью, когда придет приказ о демобилизации, он думает подать на сверхсрочную. Только пойдет в рембазу. «Не хочет со мной работать», — отметил Макарычев.

За дощатой стеной библиотекн слышались возбужденные голоса. Служивцы тискали в объятиях Струкова, поздравляли. Майор подошел к окну. Солдаты толкались в курилке.

— Прекратить восторги! — раздался притворно строгий голос ефрейтора Тимкина. — Это же обычное дело у танкистов — быть молодцом. Чего же галдеть? Вот, пожалуйста, тоже танкист. Пишут о нем...

Зашелестела газета.

— А ну, рассказывайся.

— Кто там такой, о каком танкисте говоришь?

— Выключай свой громкоговоритель и слушай.

— У Тимкина дед в гражданскую танк бачил, не о нем ли пишут?

Наконец, шутки смолкли, и майор Макарычев услышал громко прочтанный заголовок газетной статьи: «Экскаваторщик Федор Матвеевич Дубов».

Из книгохранилища вышла Ннна и встала рядом с мужем.

Сгрудившись около Тимкина, танкисты слушали. Ефрейтор читал:

«Это были трудные для стронтелей дни. Песчаные смерчи столбом поднимались в мутное небо, а затем с силой обрушивались на землю, сбивая с ног людей, засыпая машины. Экскаваторщик Федор Дубов, изучивший особенности этих мест еще в дни войны, многое предусмотрел. Надежно было укрыто большинство трущихся механизмов, подвезены запасные детали и тросы. На работе в такое время могло случиться всякое».

Макарычев взял потухшую папиросу, взволнованно раскурил. Жена недоуменно посмотрела на его подрагивающие руки.

— Ты что?

— Все объясню, Ннна. Мысль дикая, но мало ли что бывает...

«Сейчас,— продолжал Тимкин,— когда идут завершающие работы, Федор Матвеевич Дубов готовит трассы для отводных каналов. Он часто шутит:

— Снова траншею рою, снова в бою.

Эти слова Дубов произносит не напрасно. В степях, выжженных беспощадным солнцем, бывший танкист дрался с врагами нашей Родины, а теперь строит Волго-Донской канал. О его боевых заслугах красноречиво говорят два ряда орденских ленточек на отвороте пиджака...»

Макарычев взял жену под локоть, отвел от окна.

— Сегодняшняя газета?

— Да, только что принесли.

Майор прошел следом за Ниной, прикрыл дверь.

— Дай-ка мне.

Отыскав очерк о Дубове, он прищурился.

— Нинуся, ты поминшь Федора Дубова?

— Какого?

— Того, что на нашей свадьбе был, а потом уснул за столом.

Нина засмеялась.

— Рябоватый такой? Все какой-то анекдот рассказать пытался. Только начнет, расхохочется и забудет.

— Да, и за тобой немножко ухаживал.

Нина по-девичьи зарумянилась.

— Так вот, это о нем.

Нина взглянула на портрет.

— Не узнать. Ого, какой стал!

В дверь постучали.

— Нина Сергеевна,— ворвался ефрейтор Тимкин, но, увидев командира батальона, примолк, смущенно вытянулся.

— Ну, что у тебя? — мягко произнес Макарычев,— говори, не обращай на меня внимания.

— Я вот насчет чего, Нина Сергеевна. Ребята говорят, надо письмо написать Дубову. Наш брат — танкист. Вот бы сегодня, когда все соберемся. Поможете?

— А вы майора попросите,— Нина лукаво улыбнулась.— Дубов его хороший приятель.

Ефрейтор недоверчиво покосился на командира,

вопросительно поглядели друг на друга солдаты, стоявшие за дверью.

Разговор налачился не сразу. Пришлось трижды сказать «садитесь», пока солдаты набрались смелости сесть в присутствии командира батальона. Все казалось, что сейчас он у кого-то заметит слабо пришитую пуговицу или несвежий подворотничок, вспомнит какую-нибудь прошлую оплошность или выговорит за грязное оружие.

Нина Сергеевна сидела неподвижно, сжав в кулачках газету. Заметив, как пульсирует на виске Миханла вздущаяся жилка, она встала, подошла ближе.

— Федора Дубова я тоже немного знала... Он на нашей свадьбе уснул.

Солдаты улыбнулись. Тимкин удовлетворенно хохотнул.

— Проснулся уже под утро, пожевал огурец и спрашивает: «Чего замолчали, давайте песню споем». Ему никто не ответил. Тогда он убежденно заявил: «Вот, говорил же: пейте помаленьку, иначе спать завалитесь».

Напряженность растаяла. Макарычев смеялся вместе со всеми.

— Веселый парень был,— подхватил он разговор жены.— Любили его в батальоне.

Беседа затянулась. Офицер вспоминал боевые эпизоды, в которых главным героем был механик-водитель старшина Федор Дубов.

— Танк водил — дух захватывает! А каким пришел ко мне в экипаж... Сердце екнуло: обмундирование на нем мешком, вида никакого, взгляд вроде растерянный. Ну, думаю, навязали гирьку на шею... После обеда смотрю — новнчок танк ощупывает. Ходит, заглядывает всюду, любопытствует. Не выдержал, подхожу и спрашиваю: «Трудная штука?» — «Очень», — отвечает. — «Боишься?» — «Чего бояться-то?» — «Как чего, — рассердился я, — а вдруг ничего не поймешь, ничему не научишься?» — «Нет, — говорят, — товарищ старший лейтенант. Как это можно не изучить, когда желанье есть?» И взгляд у него сразу другой стал — строгий, с упрямнкой.

Поверил я. Нельзя человеку не верить, если у него желанье есть, любовь к делу. Позже мы много бе-

седовали, подружились. Я ведь с малолетства с техникой возжусь.— Майор улыбнулся.— Пяти лет у матери швейную машину портить научился, а в десять — исправлять. До армии механиком в МТС работал... Так вот, он все слушал, расспрашивал. Задумается иногда и скажет: «Был портным, теперь — танкист. Смехота...»

— Так вот, это тот самый Федор Матвеевич, с которым шел я по фронтовым дорогам... Да, были дела, ребята... Вспомнишь — и молодеешь вроде.

— А вы уж и не так стары,— набрался храбрости Тимкин.

Нина благодарно улыбнулась. Макарычев похлопал его по плечу.

— Был сноп казист, да вымолочен, кажись.

— Ну уж, придумаете... А как вы, товарищ майор, насчет письма? Нина Сергеевна поддерживает.

— Коли Нина Сергеевна за, то мне-то давно надо соглашаться. Вы, комсомолыцы, и сделайте это. О себе расскажите: как учитесь, как трудности преодолеваете. Примеров много. Вот хотя бы о сержанте Струкове. Порадуйте строителей. Есть чем.

Возвращались Макарычевы домой вместе. Нина то и дело спотыкалась на кочковатой, пролегшей по высохшему болоту тропинке. На душе у нее было легко. Лишь вспомнив свое обещание уйти с работы, она хмурилась, переставала смеяться. Майор, разговарившись с солдатами, не переставал говорить и сейчас. На память приходили новые эпизоды, подробности того или иного случая.

* * *

Горячее июльское солнце безжалостно припекало. За ночь земля не успевала остывать. Пыль на дорогах так и лежала теплым, рыхлым покровом. Постепенно испарения насыщали воздух, солнце едва проглядывало сквозь пылевую завесу, но его жаркое дыхание доставало всюду. Понурились жухлыми ветвями молодые березы, под серым налетом пыли скучали сосенки. Даже всегда трепещущий осинник замер в тишине.

Ждали дождя. Но проходил день, наступал другой,

и снова раскаленный воздух начинал испытывать крепость солдатских душ. Танкистам на учениях доставалось больше всех: трудно в такую жару в стальной коробке. В ожидании дальнейших распоряжений они, поставив машины на опушке леса, забрались в кустарник, отбрасывающий мало помогающую тень.

С поля неся неумолчный стрекот цикад. Тимкии лейво ворчал:

— Что растрещались эти самые кузнечики... Кому обрадовались?

— Тебе, наверно, — пошутил сержант Струков.

Тимкии не ответил, задумавшись о чем-то.

— Интересно, — спросил его сосед, — на Волго-Доне сейчас тоже жара или лучше стало?

— У воды всегда прохладней. Вон у Цимлянского моря, пишут, роса всю ночь лежит, а раньше в тех краях и выпадала-то часа на два.

— На канал бы сейчас, — мечтательно проговорил лежавший навзничь небольшого роста танкист.

— Комбинезон отстирать? Влепить тебе пару нарядов — без канала бы обошелся.

— Не трожь его, Тимкии, видишь, человек сомлел, — заметил Струков.

— Сомлел? Жаль, майор Макарычев его в этом одеянии не видел. Иметь бы ему бледный вид.

— Да-а, от комбата не поздоровится.

С дороги послышался треск мотора. Все разом вскочили и высыпали на проселок. Поднимая клубы пыли, в их сторону мчался мотоцикл. А позади него на темном небе уже играли молнии. Зашевелился воздух. Потянуло прохладой.

— Ну, хлопцы, радуйтесь. Письмо от Дубова! — объявил приехавший письмоносец.

Накаленное небо враз прохудилось. Хлынул дождь и загал танкистов под брезент. О чтении письма нечего было и думать.

Собрались после ужина. Через поднятые полы палатки тянуло нежной прохладой. У входа стояли солдаты других рот.

— Тимкии, майору говорил о письме? Надо бы пригласить его.

Предложение, высказанное сержантом Струковым, на этот раз никого не поразило. Раздались голоса:

— Чего раньше думали?.. Человек, может, отдыхать лег...

— Тихо, братва, мигом слетаю,— вскопнул Тимкин, но в палатку уже входил майор Макарычев.

— Садитесь, садитесь... Читайте, ефрейтор, слушаю.

Тимкин развернул письмо.

«Дорогие друзья! Крепко жму ваши руки, руки дорогих мне таикунов, и передаю искренний привет от моих товарищей — строителей Волго-Донского канала. Сейчас, когда вы читаете это письмо, пароходы идут из Дона на Волгу, уходят к Москве и Астрахани, в Одессу и Севастополь, к десяткам других портов пяти морей нашей Отчизны.

Много вспоминаете о моих фронтовых делах. Догадываюсь, чья это работа. Но, честное слово, ваш командир и мой друг преувеличил. Так и передайте ему. Любит он, ребята, свои заслуги приписывать другим. Мои боевые подвиги — его заслуга, мои сегодняшние успехи — также его заслуга. Он — мой командир и воспитатель. Благодаря Макарычеву я полюбил по-настоящему труд, нашу технику.

Для таикиста, пожалуй, самое трудное — вождение машины через препятствие с закрытым люком. Танк на больших оборотах взбирается на вал, и ты видишь только узкую полоску неба в ряби облаков. Затем эта полоска скользит вверх: значит, таик начал переваливаться. Вот здесь-то водитель должен почувствовать центр тяжести машины. Опоздаешь сбавить обороты — с сильным ударом машина суется вниз, рано сбавишь — скатишься обратно. Уловить нужный момент не просто!

Вы прекрасно знаете состояние танкиста, идущего на препятствие, понимаете и чувствуете центр тяжести машины. Михаил Николаевич Макарычев учил меня чувствовать центр тяжести и в жизни. Центр тяжести у танкистов — это самый ответственный момент в преодолении препятствия.

Он рассказал вам о моих делах, а о себе, конечно, нет. Возьмите-ка в своей библиотеке вашу солдатскую газету за фронтовые годы. Прочитайте в ней, как ваш командир во главе группы таиков первым ворвался в сильно укрепленный город, как однажды он, сам ра-

ненный, трое суток ташил на себе из вражеского тыла обожженного Федора Дубова, как старший лейтенант Макарычев своим танком уничтожил батарею противника. Многие можете вы узнать из газеты о своем командире. А приеду — расскажу кое-что сам».

...Выйдя из палатки, майор Макарычев закурил, жадно вдыхая дурманивший дым папиросы. Недовольство собой овладело комбатом. При чтении письма чувствовал он себя неловко. Но нельзя же было встать и ни с того ни с сего уйти. Подчиненные же не замечали состояния майора. С каждой новой прочитанной строкой они становились оживленнее, то и дело слышались восхищенные восклицания. Сидевшие в отдалении перешептывались, с любовью поглядывая на командира.

После чтения письма солдаты забросали майора вопросами.

— В другой раз, в другой раз, ребята, — отмахивался он, желая поскорее остаться один.

Выручил сигнал горниста.

Когда Макарычев подошел к своему лагерному домику, Нина возилась у двери, тщетно пытаясь попасть ключом в замочную скважину. Михаил Николаевич осторожно обнял ее сзади, отстранил и быстро отомкнул замок.

Вошли, Нина скинула шляпку, заторопилась к печке.

— Миша, я в одну минуту... Пока умоешься — все будет готово. Ужин я в столовке взяла, только подогреть.

— Угломоньсь, Нинуся, посиди.

Макарычев повесил китель на спинку шаткого стула, усадил на него жену.

— От Дубова есть что?

— Ох, — спохватилась Нина, — забыла совсем. Ребятам твоим от него было и тебе.

Нина Сергеевна достала из сумки письмо.

— Вот.

— Полей, пожалуйста.

Макарычев, подвернув воротничок сорочки внутрь, склонился над тазиком. Нина, черпая из ведра эмалированной кружкой, стала лить воду на широкие ладони

мужа. Держа письмо в другой руке, она быстро пробежала его глазами.

— В отпуск собирается, к нам в гости.

Майор стряхнул ладонь над тазом, взял с плеча Нины полотенце.

— Молодчина. Не забыл все же...

В печке гудел огонь, съедая сухие, смолистые чурки. Его красноватые языки виднелись сквозь щели треснувшей чугунной плиты.

— Боже мой, как же мы его встретим,— женщина растерянно оглядела тесную, оклеенную обоями комнату. — Еще хорошо, что заявление написала. Завтра же и отдам начальнику клуба.

Макарычев подошел к жене.

— Тебе не хочется работать?

— Не могу видеть тебя вот так... Больно... И ты же сам хотел этого, Миша.

— Тяжело мне что-то... Тянешь ляжку, а все, как у той бабки,— ни на печку, ни на лавку. Это лето и в батальоне дела паршивые. Нервы, что ли... Пойдем-ка, Нина, на воздух. А насчет работы... Брось, Нинуся, не думай об этом. Понимаешь — надо работать, надо...

Макарычевы вышли на крыльцо; обнявшись, глядели, как после некоторого перерыва в небе снова с яростным грохотом сталкивались тучи, рвались в клочья и омывали запыленный березняк дождевыми потоками.





Е. РУЖАНСКИЙ

НАШ ПОВАР

Ш у т к а

Первый запедала,
Весел и речист
Полковой наш повар,
Лучший баянист.
Почему же, братцы,
Ходит тучей он?
Почему не в меру
Нынче борщ солен?
Как, бывало, в руки
Он баян возьмет,
Льется-льется песня,
За сердце берет.
Почему ж он нынче
Песен не поет?
— Девушка с Кубани
Весточки не шлет...
Трудно жить без песен,
Да и парня жаль:
Залегла у парня
На душе печаль.

Мы совет держали,
Думали, как быть,
Как себе и другу
Можно пособить.
И у нас однажды
Был решен вопрос:
Написали просьбу
Девушке в колхоз.
Дескать, помогите
Нашему полку:
Весточку пришлите
Вашему дружку...
Дни прошли, недели.
И однажды вдруг
Грянул на баяне
И запел наш друг.
В этот день и борщ наш
В меру был солен...
В это утро роздал
Письма почтальон!..



И. БЕЛЯЕВ

ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ

Слегка ударило отдачей,
Забилось сердце горячо.
И от волненья — не иначе —
В тот миг чуть вздрогнуло плечо.

Пробит лишь самый край мишени,
Но будь настойчивым, солдат:
От неудач до достижений
Не так уж путь далековат!

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ, СОЛДАТЫ

Приезжайте к нам, солдаты,
После службы на Урал:
Мы вам будем очень рады,
Дела много, край не мал.

К нам тому приехать стоит,
Кто тоскует по труду:
Будет здесь дома он строить,
Добывать стране руду.

Будем вам мы очень рады,
Дела много, край не мал.
Приезжайте к нам, солдаты,
Приезжайте на Урал!



Б. ЯРОЧКИН

ХИЩНЫЙ ЗВЕРЬ

Рассказ

1

Уходя в выходной на охоту, старший лейтенант Кузьмичев явился к дежурному по частн.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться! — сказал он.

— Пожалуйста! — ответил капитан.

— Скажите, в какую сторону пошли наши охотники? — и, поясняя свой вопрос, добавил: — Не хочется никому мешать.

— Идите в любую сторону, вам никто не мешает, — улыбнулся капитан. — Вы сегодня первый. Только далеко не забирайтесь: прогноз неблагоприятный.

— Слушаюсь! — весело ответил старший лейтенант. — Я буду в районе Теплого ключа. Разрешите идти.

— Ни пуха, ни пера! — напутствуя, взял под козырек капитан.

Стоял хмурый зимний день. Тучи нависли над островом. С Охотского моря дул холодный ветер, курнулись легкой поземкой покрытые снегом сопки и холмы.

Старший лейтенант идет быстрым, широким шагом. Он невысокого роста, щупл, узкоплеч. Темные, широко открытые глаза на узком бледном лице кажутся ог-

ромыми, а черные, чуть приподнятые брови придают лицу удивленное выражение.

От долгой ходьбы он устал, но Теплый ключ уже рядом, его хорошо видно с сопки. Кузьмичев останавливается и смотрит в бинокль. Ручей, начинаясь у подножия скалы, извивается среди камней и бежит к морю. Но ни в устье ручья, ни на плесе уток не видно.

«Ничего, — успокаивает себя Кузьмичев, — прилетят!»

Он спускается с сопки и подходит к плесу — обычному месту кормежки уток. Вырыв в снегу яму, затаивается в ней. Проходит час, другой, а уток нет. Мерзнут в резиновых сапогах ноги, хотя на них шерстяные носки и теплые байковые портянки. Зябнут в варежках руки. Тело пробирает озноб.

«Наверно, не прилетят, — вздыхает старший лейтенант, — зря сижу».

Немного подождав, он вылезает из укрытия, стряхивает с маскировочного халата и шинели снег и, раздумывая, стоит у плеса.

Скоро полдень, а до следующего ручья далеко. «Домой», — решает Кузьмичев.

2

Усиливался ветер, крепчал мороз. Кузьмичев шел не спеша, сердитый из-за неудавшейся охоты.

Но вот в зарослях березняка мелькнула рыжей шубой лиса. Старший лейтенант приседает, прячась за камень, и следит за зверьком, но тот спокойной трусцой бежит мимо. А стрелять нельзя — мешают кусты.

«Может, повернет на меня?» — мелькает у охотника обнадеживающая мысль. Но нет, лиса уходит дальше. Идет следом за ней и Кузьмичев. Вот лиса, обойдя сопку, спустилась в распадок, потом мелькнула среди запорошенных снегом зубчатых обломков скал, прошла, оглядываясь, редким березняком, поднялась на увал, с минуту постояла, как бы раздумывая, куда идти, и скрылась в зарослях карликового кедрача.

«Сейчас к бухте повернет, — думает старший лейтенант, — впереди и слева скалы, там ей делать нечего — нет корма. Надо успеть перехватить ее!»

И он спешит наперерез.

Продираясь через перепутанный кедрач, Кузьмичев внезапно останавливается. Он смотрит на полузанесенные снегом следы от резиновых сапог, и в его глазах отражается недоумение.

«Странно,— думает он, приседая и изучая след,— недавно кто-то прошел. Но кто? Дежурный по части говорил, что на охоту я отправился первый, значит, наших здесь не должно быть. Если б и собрался кто, так капитан сказал бы, что я в этом районе, и сюда бы не направился».

Старший лейтенант сравнивает найденный след со своим. Сапоги одинаковые.

«Человек моего роста,— приходит он к заключению,— но тяжелее меня — его след немного глубже. А из наших охотников никто не носит такие маленькие сапоги».

Кузьмичев внимательно осматривает местность в бинокль, но никого не обнаруживает и решает по следу незнакомца спустится в бухту. След идет с побережья среди россыпи каменных глыб, через заросли кедрача, спускается в распадок, местами уже занесенный поземкой, подходит к маленькому ручейку и пропадает в нем.

«Ого! — закрадывается в сознание старшего лейтенанта подозрение. — Охотник прячет свои следы. От кого же?»

Кузьмичев тщательно застегивает белый маскировочный халат, опускает капюшон и, пригнувшись, берегом ручейка идет к морю. Нигде больше не находит он следов, только в устье, на берегу океана, среди огромных камней виднеется на песке полусмытая морской волной бороздка.

«Шлюпка была. Утром, — размышляет старший лейтенант, — это бороздка от кнля осталась. Да-а-а, из-за моря «охотник» приплыл... Хитрый... Но и мы не лыком шиты!»

Решение приходит мгновенно: эту «лису» упускать нельзя!

Кузьмичев вытаскивает из кармана шинели широкий бинт, имеющийся у него всегда на всякий случай, обматывает им для маскировки свои сапоги и идет по ручейку вверх.

Следы ведут через остров, «охотник» явно избегал открытых мест.

«Не первый раз он в этих местах, знает остров,— думает старший лейтенант,— к старым японским дотам направился».

И вдруг шагах в тридцати пяти среди камней что-то зашевелилось. Старший лейтенант мгновенно припадает к снегу и одновременно подает вперед двухствольное ружье, заряженное картечью. Пуль у него с собой нет.

Отчаянно стучит сердце. Щеки Кузьмичева загораются румянцем, слезятся глаза — это остервенелые порывы ветра пригоршнями бросают в его лицо поземку. Стрелять старший лейтенант не спешит.

«Нужно доставить «охотника» в часть живым,— приказывает себе Кузьмичев,— стрелять в крайнем случае!» — и он, приминая локтями снег, по-пластунски ползет к камням.

Приблизившись к ним на десяток метров, старший лейтенант быстро вскакивает и, выкидывая ружье, ищет взором врага, собираясь крикнуть: «Руки вверх!» — но... врага нет, а перед ним — оцепеневшая от неожиданности черно-бурая лиса.

— Чтоб ты провалилась, окающая! — шепчет с досадой Кузьмичев, вздыхая и опуская ружье, и с сожалением смотрит на уходящую к Охотскому морю роскошную добычу.

Потом старший лейтенант переводит взгляд на изрытый снег, где мышковала лиса, на ружье, и только теперь думает о риске, на какой пошел. Но что делать?

«Пойти в часть за подмогой нельзя: следы «охотника» может совсем занести снегом, да и не успеешь — вечер близко,— рассуждает он.— Идти с охотничьим ружьем против хорошо вооруженного врага?.. Опасно, но выхода нет... Что ж, придется брать его хитростью».

Дальше идти по следам старший лейтенант не решается — доты близко, и его может обнаружить враг, который, конечно, наблюдает из своего укрытия за местностью. Но в дотах ли он? Не ушел ли через скалы дальше, на север? Кузьмичев, прижимаясь к скалам, где ползком, где пригибаясь, обходит их у подножия, но выходящих следов не видит. Значит, «охотник» наверху.

Выбрав в скале расщелину, старший лейтенант, маскируясь, забирается в нее.

Мучительно тянется время в ожидании вечера.

Злится ветер. Он с своим визгом обрушивается на скалы, сметая с них тучи снега, и вершины дымятся поземкой, словно вулканы. Начинается снегопад. С каждой минутой он усиливается, и вскоре снежная мгла окутывает остров.

Холодно в расщелине.

«Ноги — ничего, — успокаивает себя Кузьмичев, — лишь бы руки ружье держали!» — и он, попеременно стягивая с рук варежки, дышит на пальцы, согревая их.

Расползаются по острову долгожданные сумерки.

«Пора!» — решает старший лейтенант и выбирается из убежища.

Он подходит к террасе и ищет следы, но коварная вьюга, точно языком, слизала их.

«Трудненько будет, — говорит себе Кузьмичев, — но не беда. Расположение дотов я знаю на память».

Он, хватаясь за камни, влезает на первую террасу, потом на вторую, третью, прижимаясь к скалистой стенке, осторожно подходит к разбитому доту. Несколько минут стоит у входа, прислушиваясь. Но, кроме стонов вьюги, ничего не слышно.

«Здесь никого нет, — думает старший лейтенант, — следов не видно».

Но он знает, что хитрый, бывалый враг мог проникнуть в дот, не потревожив сугроба. Представляя себя на его месте, Кузьмичев аккуратно перебирается через снежный нанос и, готовый ко всему, спускается в провал, тихо следует по извилистому ходу сообщения.

«Эх, фонарика нет», — жалеет он, останавливаясь у полуоткрытой стальной двери дота.

Зажигает спичку, заглядывает внутрь. Он был прав: сюда никто не приходил. Не оказалось «охотника» и во втором доте. Третий и четвертый располагались выше, амбразурами к морю, два других находились по ту сторону скал. В каком же из них враг?

Старший лейтенант уже не чувствует боли в почти онемевших ногах и с усилием поднимается на следующую террасу. Он обходит по узкой кромке выступ скалы и вдруг чувствует запах дыма.

«Здесь!»

Бушует разгулявшаяся метель, мокрая снежная крупа залепляет глаза. Отворачиваясь, старший лейтенант подходит к доту и, приподнявшись на цыпочках, заглядывает в амбразуру. Она заложена камнями, из нее валят клубы дыма. Ничего не видно. Тогда Кузьмичев спускается в ход сообщения и осторожно подходит к плотно закрытой стальной двери.

«В доте светло — костер горит, — думает он, — надо рывком открыть дверь и... А если там двое? Ведь враги могли идти след в след... Пусть — в одного стреляю, другой поднимет руки... А если дверь закрыта на засов? — Кузьмичев задумывается, не зная, что ответить себе, но через минуту приходит к решению: — Тогда придется караулить до утра».

Он нащупывает ручку, легонько тянет на себя дверь, но та не поддается.

«Заперта... Фу-у, мерзнуть всю ночь придется, а эта гадина в тепле сидит!» — скрипит зубами Кузьмичев и топчется на месте, стараясь хоть немного разогреть онемевшие ноги.

Минута проходит за минутой, но старшему лейтенанту кажется, что время остановилось. Он ходит взад-вперед мимо двери, изредка останавливается, слушает. Но стальная дверь слишком толста — ни один звук не доходит до слуха. Но вот послышался какой-то скрежет. Кузьмичев отскакивает за дверь и, прижимаясь к стене, ждет. Щелкает задвижка. Массивная дверь, скрипя ржавыми петлями, медленно закрывает Кузьмичева. Слышатся неторопливые шаги. Кузьмичев поднимает ружье, выглядывает из-за двери и видит в нескольких шагах от себя силуэт невысокого, плотного человека.

Кузьмичев приседает. Он шарит рукой и находит увесистый камень. Поднимается. Кошачьим шагом выходит из-за двери, мельком заглядывает в дот, — там больше никого нет. Прыжок, глухой удар — и человек валится на бок.

«Не убил ли невзначай?» — пугается старший лейтенант и, схватив жертву за ногу, быстро тащит ее в дот.

Нет, не убил. Дышит.

«Очухается», — думает Кузьмичев. Обыскивает

пленника, вытаскивает из кобуры пистолет, связывает руки его же ремнем.

Закрыв дверь, старший лейтенант осматривает помещение.

У амбразуры горит костер, над ним на камнях котелок — в нем что-то кипит. Старший лейтенант глотает слюну и только теперь чувствует сильный голод. Но взгляд его скользит дальше — вот прислоненный к стене японский автомат. Тут же лежат гранаты, чуть дальше — спальный меховой мешок, объемистый ранец, в углу стоит раскрытая портативная рация.

«Экую тяжесть тащил, бедняжка, — усмехается Кузьмичев, — долго собирался «охотиться».

Он садится на спальный мешок и, кривясь от боли, с трудом стягивает резиновые сапоги, разматывает портянки, сбрасывает носки. Пальцы на ногах побелели. Кузьмичев добирается до амбразуры, хватает комок снега и начинает ожесточенно растирать им ноги. В пальцах появляется боль, постепенно они розовеют.

Застонал на каменном полу пленник, шевельнулся, открыл глаза. Оглядывая дот, увидел Кузьмичева.

— Замерзли малость, оттираемся, — подмигнул ему старший лейтенант. — Сейчас ужинать будем!

Пленник молчал. Только в его узких, черных, как уголь, глазах мелькнули в бессильном бешействе злые огоньки.

Кузьмичев отогрел ноги, высушил портянки и носки, обулся. Потом принялся за ужин. Вкусным и ароматным показался ему суп из свиной тушонки. Остаток он предложил пленнику.

— Будешь есть? — тот отвернулся. — Как знаешь, — равнодушно проговорил Кузьмичев. — Впрочем, и не следует кормить. Промерз из-за тебя, да и чериобурку упустил. Эх!

Утро улыбалось солнечными лучами.

Ветер, умаявшись за ночь, присмирел, затих. Только свинцовые воды моря все еще шумели прибоем, как бы вспоминая бесновавшуюся ночью вьюгу.

Старший лейтенант возвращается с охоты.

Впереди шагает со связанными руками пленный, нагруженный привезенным с собой добром.

Внезапно где-то впереди за сопками раздаются подряд три выстрела.

«В кого это стреляют?— недоумевает Кузьмичев, но вскоре догадка озаряет его бледное лицо улыбкой.— А-а, меня ищут!» — и он трижды стреляет в воздух.

Через несколько минут из-за сопки показываются на лыжах несколько человек. Они замечают Кузьмичева и один за другим спешат к нему. Подъезжают.

— Так, понятно!— глядя на пленника, произносит один из взводных командиров.— А мы думали, вы заблудились.

Придя в штаб, старший лейтенант оставляет задержанного на попечение дневального и, постучавшись, входит в кабинет командира.

— Товарищ подполковник, разрешите доложить!— обращается он.

— Докладывайте,— коротко отвечает командир части.

— Находясь вчера на охоте, наткнулся на следы нарушителя границы. Выследил его, добыл,— говорит старший лейтенант.

— Приведите пленного,— приказывает подполковник.

Вводят задержанного. Подполковник рассматривает трофеи, потом обращается к старшему лейтенанту:

— Удачная у вас была охота. Хищного зверя добыли... За бдительность, находчивость и отвагу от лица службы объявляю вам благодарности!

— Служу Советскому Союзу!— отчеканивает старший лейтенант.



СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	2
Н. Попова, Подвозчая, <i>уральская быль</i>	3
Е. Фейерабенд, Как в селе хлеб пекли, <i>стихи</i>	59
Д. Алексеев, Дорогой легендарного рейда, <i>очерк</i>	61
Е. Хорнская, Дочь комиссара, <i>стихи</i>	94
К. Боголюбов, Шапка, <i>рассказ</i>	96
И. Беляев, В степи Зауральской, <i>стихи</i>	105
Н. Куштум, Подвиг, <i>рассказ</i>	106
Е. Хорнская, Партизан, <i>стихи</i>	139
Ол. Коряков, Вредная старуха, <i>рассказ</i>	140
Б. Рябинин, Два шофера, <i>рассказ</i>	145
Е. Ружанский, Фонарь, <i>рассказ</i>	161
М. Гроссман, Трое суток, <i>рассказ</i>	166
Е. Ружанский, На полуострове, <i>стихи</i>	172
Ю. Хазанович, Флаг свободы, <i>рассказ</i>	174
А. Савчук, Большое сердце, <i>рассказ</i>	179
А. Савчук, Розовый конверт, <i>рассказ</i>	184
П. Толстобров, Взвод отважных, <i>очерк</i>	190
М. Найдич, В Сталинграде, <i>стихи</i>	196
Ю. Хазанович, Человек № 10 920, <i>рассказ</i>	203
В. Станцев, Книжка, <i>стихи</i>	235
В. Стариков, Прорыв, <i>повесть</i>	237
Н. Куштум, Солдатская честь, <i>стихи</i>	285
Я. Резник, Галочка, <i>очерк</i>	287
Ю. Левин, Н. Мыльников, Почетный гражданин польской деревни, <i>очерк</i>	301
О. Селянкин, Он видел, <i>рассказ</i>	307
А. Исетский, За Москву, <i>очерк</i>	311
П. Макшанихин, Хозяева, <i>рассказ</i>	317
О. Маркова, Встреча, <i>рассказ</i>	343
Н. Тубольцев, Сын, <i>рассказ</i>	349
Л. Сорокин, Солдатские будни, <i>цикл стихов</i>	358
Л. Румянцев, Страницки жизни, <i>рассказ</i>	361
А. Голицын, Патрули, Утро, <i>стихи</i>	378
В. Нефедьев, Дорога к сердцу, <i>очерк</i>	380
И. Грнбушин, Погоны, <i>стихи</i>	391
В. Самсонов, Самолет идет на посадку, <i>рассказ</i>	392
С. Харченко, У смолистых сосен, <i>стихи</i>	398
А. Трофимов, Майор Макарычев, <i>рассказ</i>	399
Е. Ружанский, Наш повар, <i>стихи</i>	410
24 И. Беляев, Первый выстрел, Приезжайте к нам, солдаты, <i>стихи</i>	411
Б. Ярочкин, Хищный зверь, <i>рассказ</i>	412

1958 г.



жирота.

Кеу на мота

Супотина 88,88 = 88x

Бисини мо 19,119 = 58x

Накоржикота

Белениота 48,48 = 68x

Шелениота

Бисини мо 98,98 = 9,2x

Бисини мо 87,87 = 87x

Бисини мо

Бисини мо

Бисини мо 329,329 = 3,39.

Бисини мо 154,154 = 1,2.

Бисини мо

Бисини мо 1

Бисини мо

Бисини мо

Бисини мо 270,270 = 2,70.

Бисини мо

Бисини мо 155,155 = 1,52

Бисини мо

Гитко

Киевск. м.
Киевск.

нер

150

нер

Грива бего.

7 p. 30 2.

